



ROBERT JUNGK

STRAHLEN AUS DER ASCHE
GESCHICHTE EINER WIEDERGEBURT

Scherz
Bern-Stuttgart-Wien
1959

Роберт Юнг

ЛУЧИ ИЗ ПЕПЛА

ИСТОРИЯ ОДНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

Перевод с немецкого

Л. Черной

Редактор

Н. А. Захарченко

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва 1962

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

«Лучи из пепла» — книга о трагедии Хиросимы. Она принадлежит перу видного западногерманского публициста Роберта Юнга, который уже известен советскому читателю как автор «Ярче тысячи солнц». Свою новую книгу Юнг сам считает наиболее важной из всех, написанных им до сих пор, ибо, по его собственному признанию, «его усилия понять послевоенную историю Хиросимы и рассказать о ней во всеуслышание придали его жизни новый смысл».

У книги есть подзаголовок — «История одного возрождения». Автор пытается проследить более чем десятилетний извилистый путь залечивания ран, нанесенных Хиросиме атомной бомбой. И картина, нарисованная им, способна потрясти, она полна противоречий и поистине кричащих несоответствий. Что же открылось автору в Хиросиме?

Быстрые темпы восстановления города, стремительное превращение его в «новый Чикаго» — и столь же быстрое нарастание числа случаев смерти от лучевой болезни.

Белые фасады новых «билдингс» — и леденящий душу «взгляд развалин».

Невиданное ранее обилие автомобилей — и гангстеризм, проституция и прочие «атрибуты» буржуазного общества.

Рекордное для Японии количество телевизоров и стиральных машин на душу населения — и отсутствие у городских властей средств, необходимых для переселения больных лучевой болезнью из трущоб в современные, благоустроенные кварталы.

Веселящаяся до одури молодежь — и ее боязнь обзаводиться детьми, предопределенная не только нежеланием производить на свет уродов, но и совершенно особого рода массовым шоком, который поколебал

у переживших хиросимское «светопреставление» «один из сильнейших человеческих инстинктов — желание начинать себе подобных, производить их на свет и тем самым продолжать свою жизнь в детях».

Наконец, энтузиазм одиночек, не жалеющих сил, чтобы хоть как-нибудь (чаще всего только теплым словом участия) помочь безымянным жертвам атомной бомбы, — и «холодные сердца» американских оккупантов, видящих в своих жертвах лишь «подопытных кроликов» для своих «стратегически важных» экспериментов.

Таковы полные трагизма контрасты возрождения Хиросимы — города, повседневная жизнь которого и сейчас еще «отравлена страхом и страданиями».

Три основные мысли ставит автор во главу угла повествования.

Во-первых, он показывает, что атомная бомбардировка Хиросимы не только причинила огромный материальный ущерб и унесла многие тысячи жизней, но и оставила неизгладимый след («келоиды сердца») в психике уцелевших жителей города. «Тот день, день 6 августа... — цитирует он слова молодого хиросимца, пережившего катастрофу, — искромсал не только мясо и кости, но и сердца и души людей».

Во-вторых, Юнг подчеркивает, что трагедия Хиросимы — не просто трагедия города, разрушенного в ходе второй мировой войны. И в самом деле, о Хиросиме нельзя сказать, что в послевоенные годы она поднялась из руин, как Волгоград или Варшава, Ковентри или Дрезден... Нет, превращение ее в «обиталище смерти» — факт, увы, еще не ставший достоянием истории. Ибо невозможно предотвратить разрушительную работу «лучей из пепла», и неизвестно, когда, на каком из последующих поколений прекратится их воздействие, начало которому положено 6 августа 1945 года. Город отстроен, «кулисы опять установлены», но в сердцах людей ужас и боль — такие же, как и в тот страшный день.

«Не казенные и помпезные здания напоминают в Хиросиме о прошедшей войне, а люди, в крови, тканях и зародышевых клетках которых навеки выжжен знак «того дня». Они стали первыми жертвами совершенно новой войны, войны, не прекращающейся в день подписания перемирия или заключения мирного договора,

«войны без конца», войны, втягивающей в свою разрушительную орбиту не только настоящее, но и будущее».

В-третьих, Юнг, поняв, «какое новое несчастье надвигается на человечество», всем своим повествованием старается подвести читателя к осознанию необходимости исключить ядерную войну из жизни народов. Для него Хиросима не только напоминание о том, что было, но и предостережение от того, что может быть, если империалистам удастся развязать ядерную войну. «Земля, — пишет он, — в результате такой войны, может, и не превратится в совершенно безлюдную пустыню, но она станет гигантским госпиталем, миром больных и калек. Целые десятилетия, а то и столетия после последнего ядерного взрыва люди, пережившие атомную катастрофу, будут погибать от болезней, причины которых они и их потомки уже, возможно, забудут». Поэтому не случайно книга заканчивается призывом: «Пусть каждый найдет свой путь борьбы за сохранение жизни на земле. И пусть он относится к этому очень серьезно».

Так автор подытоживает «историю одного возрождения».

Разумеется, книга Юнга не во всем может удовлетворить советского читателя. Автор, как и подавляющее большинство буржуазных журналистов, проявляет непонимание и игнорирование роли мирового коммунистического движения в борьбе за мир и замалчивает огромные усилия, в частности, японских коммунистов, активно выступающих за запрещение ядерного оружия. В итоге, не видя реальной силы в борьбе за мир — организованных трудящихся масс во главе с Коммунистической партией Японии, Юнг избирает героями своего повествования одиночек, постигших ужас хиросимской трагедии, но не докопавшихся до подлинных корней ее и не проникшихся сознанием необходимости борьбы с самим социальным строем, который способен свергать народы в такие катастрофы. Однако эти недостатки книги не могут заслонить серьезных достоинств, которые сообщают ей черты публицистического произведения, проникнутого духом отрицания «атомных» безумств империалистов.

Книга Юнга — и в этом одно из больших ее достоинств — проникнута симпатией и состраданием к бесчисленным жертвам хиросимской трагедии. В ней осуждается варварский акт американской военщины,

которая в угоду своим империалистическим хозяевам подвергла бесчеловечной атомной бомбардировке мирные, беззащитные города Японии. Еще раз открывая перед читателем одну из самых мрачных и трагических страниц недавнего прошлого, книга напоминает о преступлении, в котором наиболее зримо предстает звериный оскал империализма и которое с такой силой разоблачил и заклеил с трибуны исторического XXII съезда КПСС Н. С. Хрущев.

«Когда Соединенные Штаты Америки первыми создали атомную бомбу, — сказал тов. Хрущев, выступая на съезде, — они сочли для себя юридически и морально оправданным сбросить ее на головы беззащитных жителей Хиросимы и Нагасаки. Это был акт бессмысленной жестокости, в нем не было никакой военной необходимости. Сотни тысяч женщин, детей и стариков были уничтожены в огне атомных взрывов. И это было сделано лишь для того, чтобы внушить народам страх и заставить их склониться перед могуществом США. Этим массовым убийством гордились и, как это ни странно, гордятся по сей день некоторые американские политические деятели» *.

Теперь, когда американские атомщики снова бросают вызов миру, начав, вопреки ясно выраженной воле миролюбивого человечества, новую серию ядерных взрывов над островом Рождества в Тихом океане, народы Советского Союза, социалистических стран, все прогрессивные люди земли гневно осуждают американских империалистов, готовящих самое страшное преступление против человечества — мировую термоядерную войну. Народы требуют прекратить это атомное безумие, навсегда запретить смертоносные ядерные испытания и заключить соглашение о всеобщем и полном разоружении. Только таким образом человечество будет избавлено от опасности истребительной ядерной войны.

Советские люди, несомненно, с интересом познакомятся с книгой Р. Юнга, выпускаемой на русском языке с незначительными сокращениями.

* «Материалы XXII съезда КПСС», М., Госполитиздат, 1961, Стр. 239.

Часть первая
ПУСТОТА И ХАОС
(1945)

КНИГА

1

На след Кадзуо М. меня натолкнул тюремный священник Ёсихару Тамаи, проживающий в доме под номером 33 с непропорционально узким фасадом по улице Итемэ Отэ-мати, всего лишь в нескольких шагах от того места, куда пришелся эпицентр взрыва атомной бомбы. Несмотря на напряженную работу, тюремный священник по возможности выкраивает время на то, чтобы отправлять службы в сверкающей чистотой, аккуратно выбеленной тюремной часовенке. Про этого священника, избравшего своим уделом нищету, люди говорят, что ему открываются души самых замкнутых и молчаливых прихожан. Поэтому мой друг и переводчик Уилли Тогаси, сопровождавший меня в скитаниях по Хиросиме, считал, что у священника Тамаи я, вероятно, найду ответ на вопрос, который до тех пор тщетно задавал, — на вопрос о том, какой отпечаток наложила катастрофа, разразившаяся в Хиросиме, на души тех, кто ее пережил.

Мы поднялись по узенькой лестнице в комнату священника. Узнав от переводчика, что именно меня интересовало, священник, порывшись в папке, извлек из нее длинное, уже несколько пожелтевшее от времени письмо, датированное 1955 годом, и развернул его на импровизированном столе, сколоченном из крышек каких-то ящиков, покрытых белым лаком.

— Письмо послано из местной тюрьмы, — сказал Тамаи, — но автор его не желал, чтобы это сразу бросалось в глаза. В графе «адрес отправителя» он указал не тюрьму, а только улицу и номер дома своего «жилища».

Первую часть письма, где автор извинялся за долгое молчание, объясняя его тем, что он, как все заключенные, переболел заразной болезнью глаз, мой друг перевел почти без запинки. Но потом вдруг смутился.

— В чем дело, Уилли? — спросил я.

В ответ переводчик сконфуженно улыбнулся.

— Этот парень пишет не очень-то лестные слова...

— По чьему адресу?

— В сущности, он обращается к миссис Рузвельт.

— А какое он имеет отношение к миссис Рузвельт?

— Очевидно, он писал это письмо как раз в то время, когда она гостила в Хиросиме. Я и сам припоминаю, что она довольно пространно разъясняла, почему американцы сбросили атомную бомбу.

Я настоял на том, чтобы Тогаши — пусть это ему и неприятно — продолжал переводить. Как и всех людей с Запада, приезжающих в Хиросиму, меня поразило на первых порах, что население этого города, так тяжело пострадавшее, казалось, быстро преодолело чувство ненависти. Но было ли такое поведение искренним? Наконец-то мне удастся заглянуть за «занавес вежливости».

— Собственно говоря, в письме нет ничего, кроме нескольких стихов, — заявил Уилли, заранее пытаясь смягчить тягостное впечатление. — Сначала Кадзуо М. — так зовут автора — спрашивает священника, что такое «троица», а потом... — тут переводчик вздохнул, — потом он приводит несколько коротеньких стихотворений, за которые получил премию на каком-то конкурсе заключенных. Вот одно из них:

То облако-гриб меня поглотило.

Не закрывайте глаз, миссис Рузвельт,

Всю жизнь во мраке мне жить суждено.

— Переводить дальше?

— Переводите.

— Во втором стихотворении он говорит о своем друге Ясудзи, погибшем в «тот день» с проклятиями на устах. А потом идет еще четверостишие, обращенное к миссис Рузвельт. Автор язвительно спрашивает ее, можно ли считать развалины Хиросимы

путевым столбом на дороге к миру. И вот тут-то, мне кажется, сказано то, что вы хотите знать:

Не только на коже
Гноятся раны.
Страшнее — сердечная рана.
Заживет ли она?

— Да, — заметил священник Тамаи, — это о «келоидах сердца». Келоидами называются, как вам известно, те большие толстые рубцы, которые до сегодняшнего дня остались у некоторых людей, переживших атомную катастрофу, — об этом Кадзуо говорит часто. Он считает, что, не получи он в день «ада» и в последующие недели глубокой душевной раны, он никогда не стал бы тем, кем стал, — убийцей. И притом — нечего скрывать — подлым убийцей и грабителем.

2

Несколько дней спустя в канцелярии г-на Кавасаки, директора хиросимской тюрьмы, я познакомился с человеком лет тридцати. Это был Кадзуо М. Он отнюдь не произвел на меня впечатления закоренелого преступника, приговоренного к пожизненной каторге. Гладкая синяя тюремная одежда в сочетании с бритой головой благородной формы, которую он держал чуть склоненной, делали его похожим скорее на монаха, нашедшего здесь убежище от мирских горестей.

Едва заключенный вошел в приемную, обставленную плюшевой мебелью в «европейском» вкусе, как мне бросилось в глаза его интеллигентное, выразительное лицо. Во время последующего разговора я внимательно наблюдал за необычайно живой для японца мимикой Кадзуо; не улавливая смысла японских слов, я пытался хотя бы по выражению лица и жестам заключенного угадать смысл его рассказа, не дожидаясь, пока мой друг начнет переводить.

Кадзуо М. сидел в тюрьме уже около семи лет. Казалось, все эти годы он только и мечтал о том, чтобы излить кому-нибудь свою душу, и, получив теперь возможность говорить о событиях, которые в конце концов привели его в это мрачное здание, он сильно

волновался. Лишь только переводчик, отвернувшись от Кадзуо, обращался ко мне, чтобы передать мне его слова и высказать очередной вопрос, я замечал, что М. за это короткое время старался овладеть собой и на его лице, искаженном ненавистью, гневом, отвращением и стыдом, мало-помалу появлялось выражение покоя, мира и невозмутимости, вызванное усилием воли, а потому не совсем убедительное.

Я упоминаю об этом моем впечатлении, так как оно впервые открыло мне то, что я впоследствии гораздо яснее понял из заметок, писем и дневников Кадзуо М., а также из его письменных ответов на мои вопросы: этот человек прилагал отчаянные усилия, чтобы совладать с собой и со всем тем, что ему пришлось пережить. Он подымался, шел по прямой как стрела дороге, спотыкался и снова падал, мучительным усилием воли заставлял себя опять подняться, надеялся победить, но оказывался побежденным, а потом подымался снова...

Кадзуо напоминал мне по временам ту совершенно обезображенную слепую лошадь, которую многие из спасшихся жителей Хиросимы якобы видели в первые дни после катастрофы на превращенных в груды развалин улицах города. Лошадь тыкалась длинной, покрытой кровоточащими ссадинами мордой в уцелевшие кое-где стены домов, припадала на все четыре ноги, а потом, не в лад стуча копытами, бежала, задрав кверху храпящую морду, или же медленным, похоронным шагом шествовала среди развалин в поисках конюшни, которую ей так и не суждено было найти.

Люди говорили, что слепую лошадь следует пристрелить, потому что она наступила на какого-то раненого, лежавшего у обочины дороги, и прикончила его. Но ни у кого в те дни не было сил добить несчастное животное. Что с ним стало и куда оно в конце концов девалось, было не известно.

3

На десятый день после атомной катастрофы Кадзуо М., сам чудом избежавший гибели, уничтожил все свое нехитрое имущество, которое еще осталось у него.

Этот акт он совершил спокойно, торжественно, чуть ли не как священный обряд. Но уже тогда на краси-

вом удлинённом лице юноши появилось то выражение мрачной ненависти, которое впоследствии поражало почти каждого, кто сталкивался с ним.

Жертвой этого первого преднамеренного «убийства» — так в дальнейшем пытались истолковать поступок Кадзуо — была книга, обыкновенная школьная хрестоматия, по какой в то время учились все третьеклассники в Японии.

Четырнадцатилетний Кадзуо нашёл свою хрестоматию через несколько дней после невиданной катастрофы, роясь в развалинах отцовского дома; когда книга вывалилась из наполовину сгоревшего рюкзака, мальчик прижал её к груди с криком безмерной радости, будто он только что вновь встретился с другом, потерянным навек, но чудесным образом спасённым. Кадзуо М. знал наизусть множество стихотворений, поговорок и даже прозаических отрывков из этой хрестоматии. В последние страшные часы он повторял про себя некоторые из них, как заклинание, но теперь, увидев воочию все эти сокровища, заключённые в толстый, в зелёную крапинку переплёт, он проникся уверенностью в том, что, кроме кошмарного настоящего и недавнего прошлого, действительно существовали и совершенство формы, и чистота нравов.

Книги и картины, кисточки для письма и цветные карандаши для рисования всегда были лучшими друзьями Кадзуо. Впечатлительный мальчик с богатым внутренним миром избегал общества сверстников. Только Ясудзи, его единственный друг, знал кое-что о переживаниях товарища, витавшего в заоблачных сферах поэзии и искусства.

Из этого мира прекрасного Кадзуо вырвали японские военачальники: прилагая последние, уже бесплодные, усилия, чтобы предотвратить военный разгром, они мобилизовали всех подростков и поставили их на службу войне. Кадзуо направили в бухгалтерию верфи Мицубиси, от которой до родительского дома юноши был примерно час езды на трамвае. Гигантские щупальца взрывной волны дотянулись даже сюда — пригород Фуруэ, в котором располагалась верфь, находился в нескольких километрах от эпицентра взрыва «той бомбы» — и в одно мгновение разрушили все, что встретилось на их пути. Кадзуо никогда не забыть ослепитель-

ной вспышки, похожей на взмах огромного сверкающего клинка, не забыть глухого грохота — этого «до... до-о», которое, приближаясь, превратилось в резкий, сверлящий, а потом воющий звук «дзи... ин» и, казалось, разорвало его барабанные перепонки, прежде чем адский гром, как удар по невидимым литаврам «гванн», лишил его сознания: пика (молния), дон (гром). А затем, словно вернувшись из бездонной пропасти, он увидел белое как бумага призрачное лицо молодой девушки Симоуро.

Вот она прибежала, по обыкновению торопливо и старательно семеня ножками, из канцелярии начальника в просторное помещение бухгалтерии с бухгалтерским бланком. Остановилась с выражением досады на лице, как бы возмущаясь ужасным беспорядком, царившим кругом, — летящими бумажками, сорвавшимися телефонными аппаратами, лужами черной и красной туши. Хотела повернуться, но вдруг упала с криком ужаса: огромный осколок стекла, похожий на хвостовой плавник рыбы, пронзил спину девушки и с тонким, удивительно нежным звоном приковал ее к полу.

А еще через секунду — лужа крови вокруг неподвижного тела. Посиневшие ногти. Бессмысленная беготня других секретарш, их разлетающиеся черные волосы, пятна крови и грязи на их всегда безукоризненно белых блузках. Растерянность начальника канцелярии.

— Катё-сан, да помогите же! Скорее, а то она умрет! — крикнул Кадзуо своему начальнику, презрев японские правила вежливости. Но начальник, обычно столь энергичный, стоял неподвижно, прислонившись к своему опрокинутому письменному столу, ничего не понимая и даже не пытаясь остановить кровь, сочившуюся из глубокой раны у него на лбу.

Четырнадцатилетний Кадзуо, еще оглушенный взрывом, но, по-видимому, не пострадавший, вскочил и попытался вырвать злополучный осколок из тела девушки. Поранив себе руки, он снова упал. Затем обернул тряпку вокруг вибрирующего «плавника» и потянул изо всех сил.

Стекло обломалось под израненными пальцами юноши. А осколок все еще по меньшей мере на одну треть торчал в ране. Лиловые губы молодой девушки,

хватая воздух, закрывались и открывались, как жабры. А потом осколок зазвенел и судорога пробежала по маленькому телу. Девушка умерла.

4

Долгие годы Кадзуо М. не решался вспоминать об ужасах, которые пережил, пробираясь от заводов Мицубиси в охваченный паникой город.

В конце концов он все же прорвался в свой квартал, расположенный у подножия холма Хидзи-яма. На руках он нес труп своей одноклассницы Сумико. Уже тяжело раненная, девочка присоединилась к нему на дороге через этот кромешный ад. С трудом Кадзуо нашел в себе силы сжечь и похоронить труп, с трудом продолжал влачить свои дни. Его родители и младшая сестра Хидэко также каким-то чудом избежали гибели. Все питались скатанными из холодного риса шариками, которые раздавали походные кухни. Спали в темной шахте заброшенного бомбоубежища. Машинально, ничего не сознавая, что-то делали, шли по бесконечным, запутанным дорогам. У людей выпадали волосы. Они дрожали от озноба, их тошнило. Одного все избегали — думать о ране, оставшейся у них глубоко в сердце после пережитого ужаса. Хоть бы уснуть, спать и спать!

Харуо Хиёси, репортер «Тюоку симбун», крупной газеты в Хиросиме, исходил тогда со своим фотоаппаратом весь город вдоль и поперек, но снимал лишь очень редко. «Мне было стыдно увековечивать на пленке то, что я видел воочию», — сказал он мне впоследствии.

Лучше бы он подавил в себе благородное чувство стыда! Тогда потомство получило бы более правильное представление о действии «нового оружия». Ведь на широко распространенных фотоснимках Хиросима после катастрофы почти всегда выглядит как безлюдная пустыня — кладбище развалин. В действительности же этот город постигла отнюдь не скорая тотальная смерть, не внезапный массовый паралич и не мгновенная, хотя и страшная, гибель. Мужчинам, женщинам

и детям Хиросимы не был сужден тот милосердный быстрый конец, который выпадает на долю даже самых отъявленных преступников. Они были обречены на мучительную агонию, на увечья, на бесконечно медленное угасание. Нет, Хиросима в первые часы и даже первые дни после катастрофы не походила на тихое кладбище, на безмолвный упрек, как это изображено на вводящих в заблуждение фотографиях развалин; она была еще живым городом, полным беспорядочного, хаотического движения, городом мук и страданий, городом, в котором денно и ночью стояли вой, крики, стоны беспомощно копошащейся толпы. Все, кто еще мог бегать, ходить, ковылять или хотя бы ползать, чего-то искали: искали глотка воды, чего-нибудь съедобного, лекарства, врача, жалких остатков своего имущества, приюта. Искали своих близких, чьи муки уже кончились.

Даже в нескончаемые ночи, при голубоватом отсвете трупов, сложенных похоронными командами штабелями с чисто военной аккуратностью, не прекращалась эта беспомощная стонущая суета.

5

Пятнадцатого августа с самого утра «информационные команды» военной полиции проезжали по огромному району, превращенному в груды развалин, и объявляли: «Слушайте! Слушайте! Сегодня в полдень император лично зачитает по радио важное сообщение. Пусть все, кто в состоянии передвигаться, подойдут к громкоговорителю возле вокзала».

Кадзуо, несмотря на то, что силы его были на пределе, все же поплелся к вокзалу, чтобы послушать, что ему скажут. Как многие другие, он думал, что «тэнно» огласит сообщение о победе.

Несколько сот человек в лохмотьях, раненые и больные, опираясь на палки и костыли, собрались на площади перед развалинами вокзала.

Из громкоговорителя раздался бессвязный шум. Наконец послышался тихий голос императора, — дрожащий, даже жалобный голос: «Переносить невыносимое...»

Что это означало? Никто не понял толком, что, собственно, было сказано. Объяснялось ли это плохой слышностью или малопонятным для простых людей придворным языком? Или тем, что люди всем своим существом отказывались принять, казалось, ни с чем не сообразное обращение императора.

Синдзо Хамаи, впоследствии мэр Хиросимы, прослушавший речь императора в разрушенной ратуше, вспоминает:

«Может быть, виной была неисправная батарея, может быть, отказал сам радиоприемник, но, во всяком случае, передача была совершенно непонятна. Впоследствии я спросил одного чиновника, о чем, собственно, говорил император. Он коротко ответил:

— Кажется, мы проиграли войну.

Я не поверил собственным ушам!»

И все же у тех, кто слушал обращение на привокзальной площади, не осталось никаких сомнений. Группа людей взломала железнодорожный склад с запасами рисовой водки, чтобы напиться, многие рыдали или в отчаянии стучали обгоревшими кулаками по сожженной земле. Большинство же молча и покорно разошлись.

Кадзуо М. был среди тех, для кого ужас, пережитый за последнее время, только в это мгновение стал действительностью. Целых девять дней он утешал себя мыслью, что страшный сон кончится. Только теперь сердце и разум восприняли то, что давно уже видели глаза. Рухнул вчерашний мир — мир его хрестоматии. Это был тот самый момент, когда Кадзуо внезапно решил, что книгу нужно «казнить». Ни одна из ее страниц не должна остаться «безнаказанной». Каждую из них нужно искромсать и уничтожить. Если все, что он пережил в «тот день», вообще могло произойти, то слова его любимой хрестоматии оказались сплошной ложью. Чего стоили после всего этого разум и знание? Чего стоили мораль, порядок и законы? Он громко крикнул, вперив взгляд в бесконечную пустоту: «Отана ва бака!» («Все люди дураки!»)

Сотни и сотни писем. Сколько их втиснули в такую тоненькую книгу! На мгновение у Кадзуо опустили руки, внезапно его поразила бессмыслен-

ность и безнадежность его замысла. Но тут из соседнего подземелья у подножия холма Хидзи-яма донесся пронзительный, беспомощный крик: «Итай, итай!» («Больно, больно!») Это был голос ребенка, и он напомнил ему о маленькой Сумико, которую он нес на руках через объятый пламенем город.

Смерть словам! Пусть они сгинут! Белые клочья бумаги плясали над сожженной землей, как снежинки, неизвестно откуда появившиеся в этот знойный августовский день. Мальчик вскочил, чтобы побежать вслед за ними. Из его груди вырвались дикие, безумные крики.

АТОМНАЯ ПУСТЫНЯ

1

Есть на свете пустыни песчаные, каменные, ледяные. Хиросима, вернее, то место, на котором когда-то стоял этот город, стала в конце августа 1945 года пустыней нового, особого, небывалого рода — атомной пустыней, созданной homo sapiens. Под темно-серой поверхностью этой пустыни еще сохранились следы былой деятельности человека, жалкие остатки его поселения.

Мало-помалу те, кто пережил катастрофу, и десятки тысяч людей, пришедших из других городов и деревень, для того чтобы отыскать родственников и знакомых среди развалин, ушли из первого «круга смерти», простиравшегося на два, три, а то и четыре километра от точки наиболее сильного действия атомной бомбы. Все покинули этот страшный круг, как бы вкрапленный в поросшую зеленью дельту Оты — реки с семью рукавами, по которой в часы приливов и отливов по течению плыли, подобно опавшим листьям, мертвые тела: мужчины — почему-то все лицом кверху, а женщины — лицом вниз.

На первых порах считанные люди решались проникать на эту ничейную землю. Они разгребали развалины в поисках какого-нибудь добра, которое можно было бы обратить в деньги. Небольшие группки по три-четыре человека, предпринимавшие такие рейды, вскоре прекрасно изучили местность. Главное внимание они обращали на металл, так как после сборов и конфискации металла, проводившихся в течение многих лет властями Японии, любой металлолом являлся редкостью. В первую очередь они искали под пеплом и закопченными балками ванные комнаты, вернее, то, что когда-то было ванными комнатами. Дело в том, что многим

семьям удалось сохранить и в годы войны свои медные сидячие ванны «гуэмон-буро», которые теперь ценились на вес золота.

В числе разведчиков атомной пустыни был и стройный усатый человек в очках. Его белый лабораторный халат отнюдь не гармонировал с военной фуражкой и солдатскими обмотками. Он также усердно что-то собирал и только к концу дня возвращался с полным рюкзаком и туго набитой сумкой к своей семье в рыбачью деревушку Куба. Но, когда он выкладывал добычу на «татами» *, оказывалось, что в ней нет ничего пригодного для продажи. Это были просто-напросто камни самых различных видов и размеров.

Профессор Сёго Нагаока был известный геолог в университете Хиросимы, и в том, что он и сейчас, по привычке вооружившись киркой, искал минералы и окаменелости, в сущности, не было ничего удивительного. Только на этот раз он разведывал не какой-нибудь неизведанный клочок земли, а терпеливо исследовал территорию, на которой еще несколько дней назад был расположен центр большого города.

Когда «искатели сокровищ» встречали ученого, они обращались к нему с вопросом, который на первых порах звучал вполне искренне, но потом превратился в своего рода привычную остроту: «Почему вы, собственно, не работаете с нами, профессор? Вы ведь знаете этот район, как свои пять пальцев. Скажите нам, когда набредете на металл, и вам тоже перепадет куча денег».

На это Нагаока отвечал:

— Подите-ка сюда, я вам расскажу, где надо искать.

Ученый, конечно, никогда не помышлял о том, чтобы войти в долю с торговцами металлом. Однако он требовал от своих «коллег» по раскопкам ответной услуги: сведений об отпечатках теней. В великой атомной пустыне его прежде всего интересовали тени. Как известно, необыкновенно яркая вспышка «пикадона» обесцветила все, что подверглось ее воздействию. Там, где на фоне гладкой поверхности находились растение, животное или человек, их тень нередко выделялась на

* Циновка из рисовой соломы, которой покрывается пол в японских домах. — *Прим. ред.*

«выцветшей» плоскости так ясно и четко, словно вырезанный из картона силуэт. Когда искатели металла обнаруживали на каком-нибудь обломке очертания листочка, руки, а то и головы, они приносили окаменелость ученому или приводили его самого к ней, а «взамен» получали нужные им сведения, например:

— Вот там, под грудой камней около третьего пня, лежит котел!

Или:

— Под развалинами второго дома слева от ближайшего перекрестка стоит покопать.

2

Профессор собирал не только «тени» одушевленных и неодушевленных предметов, сгоревших в огне атомного взрыва, но также сотни вещей, которые не были уничтожены в гигантской атомной плавильной печи, а лишь подверглись изменению. Например, необыкновенно блестящие глиняные кирпичи, причудливо изогнутые бутылки, наполовину обуглившиеся бамбуковые палки, обожженные клочки тканей и камни. Прежде всего камни. Но что это были за камни! Таких камней, наверное, никогда раньше не существовало на земле: под действием чудовищно высокой температуры во время атомного взрыва они «плакали» и «кровоточили». Это сразу бросалось в глаза, стоило поглядеть на разрез какой-нибудь каменной глыбы. Ее черное нутро, правда, сохранялось, но часть этого темного слоя просачивалась в наружные светло-серые слои так, что на поверхности появлялось нечто вроде лишая. Станным и больным казался такой камень, словно пораженный паршой или проказой. Удивительные изменения в камнях впервые привлекли внимание геолога, когда он на другой день после катастрофы пробирался по горящему городу, озабоченный лишь судьбою своих студентов и своей коллекции минералов, хранившейся в университете. Собственно говоря, Нагаока — об этом он сейчас рассказывает, смеясь над самим собой, — сначала даже не увидел, а только почувствовал те новые поразительные, никем дотолем не виданные изменения, которые произошли с камнями Хиросимы.

Как-то профессор, утомившись, присел около развалин храма Гоаку на цоколе старого уличного фонаря, но тут же вскочил, словно ужаленный, — в него впились сотни иголок.

То, что он увидел, было так удивительно, так необычайно, что он вскрикнул от неожиданности. Дело в том, что совершенно гладкий гранит выпустил бесчисленные мельчайшие шипы. Очевидно, под влиянием страшного жара камень на время перешел в полужидкое состояние; по волнистым линиям было еще видно, в каком направлении текли частицы размягченного гранита.

Ученый не знал в то время ничего определенного о характере сброшенной на Хиросиму бомбы, тем не менее он понял, что здесь произошло нечто совершенно новое, нечто в буквальном смысле этого слова потрясающее и что исследователю необходимо немедленно приступить к изучению этих феноменов.

Нагаока был вооружен небольшой киркой, какую геологи и минералоги привыкли брать с собой, отправляясь в свои экспедиции, самым обычным фотоаппаратом и так называемым «дипом», своего рода плотницким ватерпасом, при помощи которого можно было измерять углы наклона развалившихся стен, надгробных памятников, свай и деревьев. Кроме того, ученый всегда имел при себе несколько лоскутов материи и клочков бумаги, чтобы тщательно завертывать свои находки.

Нагаока собрал и описал, как он впоследствии сообщил в своей работе *, изобилующей точными цифровыми данными, не менее 6542 обломков в тысячеметровой зоне вокруг эпицентра взрыва и отметил места своих находок на соответствующих картах. 829 обломков были затем подвергнуты более детальному изучению. Таким образом, профессору удалось не только точно описать различные степени плавки и изменений поверхностей многочисленных видов минералов, но также, определив углы теней, вычислить тригонометрически тщательно скрывавшуюся американцами высоту, на которой произошел взрыв бомбы. Новое оружие в те-

* Shogo Nagaoka, The measurement of the Hypocenter and the landsite of the Hypocenter by the Atomic Bomb dropped in Hiroshima.

чение доли секунды вернуло обработанный человеком камень — стены храмов и надгробные памятники — в то состояние, в каком он находился в давно минувшие эпохи истории Земли.

Вскоре круг изысканий профессора расширился. Нагаока начал собирать все, что имело какое-нибудь отношение к «тому дню». Геолог превратился в историка или, пожалуй, даже в археолога. Ведь теперь он тщательно откапывал останки людей и, как ученые, которые извлекли в свое время Помпею из ее сооруженной вулканом гробницы, находил скелеты в позах, свидетельствующих о неудавшейся попытке бежать или о желании найти спасение в чьих-нибудь объятиях. Он собирал часы, стрелки которых остановились точно в момент катастрофы, собирал бумажные деньги и страницы книг, которые взрывная волна и огненный шквал унесли на километры от города. Особое внимание он обращал на кирпичи, где были запечатлены родовые гербы, нередко это было единственное, что осталось от целой семьи. В его доме росли груды обломков «машинной» цивилизации в стадии ее самоуничтожения: искореженные газовые плитки, погнувшиеся велосипеды, часть мотора в страшном сочетании с приварившимся к ней скелетом руки демиурга, одуряченного и захваченного врасплох; печальный хлам, совершенно лишенный величия античных обломков, гротескные памятники брэнной материи, изуродованной и истлевшей...

Профессор откопал примерно сорок трупов и оказал им последние почести. Он первый обнаружил также ясные признаки того, что жизнь в городе продолжается: ученый увидел густую щетку проросшей так называемой «железнодорожной травы» (привезенной в конце прошлого столетия из США для озеленения железнодорожных насыпей), проросшие семена и цветочную пыльцу, трубчатые красные горные цветы, каких никто еще не видывал в низине Хиросимы. Они пробивались из горной глины в обломках стен. Долгие годы семена лежали как бы запеченные в красноватой земле, привезенной с гор. Взрыв освободил их. Тепло и излучения заставили цветы расцвести. Даже на пруду около разрушенного замка над обгоревшими, увядшими листьями лотосов поднялись новые, молодые побеги.

Когда профессор, случалось, брал с собой в такие экспедиции своих домашних, они располагались на месте, где раньше находилась оживленная городская площадь, и раскладывали небольшой костер рядом с бывшей остановкой трамвая Камия-тё. Там они пекли сладкие, величиной с большой палец картофелины, которые Нагаока собирал у подножия памятника русско-японской войны. Это место он находил даже в темноте, так как поблизости в течение многих дней, словно гигантский факел, горел огромный кедр.

3

В тот момент, когда Сёго Нагаока стоял одинокий, всеми покинутый посреди обширной, доходящей до самого горизонта «обители страданий», он испытывал в сущности лишь чувство глубокой потерянности («сабисиса»): ему казалось, что он единственный и последний оставшийся в живых представитель рода человеческого в этом опустошенном мире. Но потом — так профессор описывает теперь свое тогдашнее состояние — он, к своему удивлению, почувствовал, что в глубине его души рождается воодушевление («кангэки»). Все более страшные подробности этой вызванной людьми катастрофы, обнаруживавшиеся каждый день, глубоко тревожили его и нередко доводили до отчаяния, но тем сильнее он ощущал пусть незначительные проявления порядочности и высоких моральных качеств у людей, за которыми ученый наблюдал во время своих скитаний. На первый взгляд, пожалуй, могло показаться бессмысленным и даже трагикомичным, когда люди, пережившие атомную катастрофу, или родственники жертв ее с достоинством отвешивали поклоны перед развалинами, чья погибших там близких, или когда мать, поверженная в глубокий траур, после тщетных поисков останков дочери в конце концов удовлетворялась горсточкой пепла и торжественно хоронила ее, — Нагаока был однажды свидетелем и такой сцены. Эти обряды говорили о стремлении противопоставить

разнузданности традиционные правила морали, хаосу — возвышенный порядок.

Из своей новой, столь необычной деятельности Нагаока также черпал «кангэки» — воодушевление. Ему казалось, что здесь, в атомной пустыне, он представляет человеческий интеллект, умеющий запоминать, способный к чувству раскаяния, интеллект, который, быть может, когда-нибудь образумится и начнет трезво мыслить. Пусть смеются над тем, что он возится с «ничего не стоящим старым хламом», вместо того чтобы добывать вещи, которые можно продать и превратить в еду. Кто-то ведь должен попытаться воссоздать для грядущих поколений наглядную картину гибели Хиросимы, кто-то должен поведать об этом глубочайшем провале в человеческой истории, чтобы предостеречь тех, у кого нет совести и воображения.

С каждым днем коллекция в домике профессора Нагаока все росла. Его жена с тревогой следила за тем, как ее чистенькие комнаты мало-помалу превращались в музей, где пахло дымом и тленом.

В конце августа, когда участились слухи о мнимом «отравлении» развалин Хиросимы и у профессора, хотя он 6 августа находился около Уэно-сики, на значительном расстоянии от места взрыва, появились первые симптомы лучевой болезни, его жена и старший сын потребовали, чтобы «вредный для здоровья хлам» был немедленно выброшен из дома.

В семье Нагаока вспыхнул небывало резкий спор, и в пылу негодования профессор бросил в лицо своим домашним:

— Эти вещи в конечном счете важнее и ценнее, чем вы сами!

Но затем он смирился и унес свои находки в сад.

— В моей семье я всего лишь угнетенное меньшинство, — говорит он теперь смеясь.

В действительности нечто другое привело ученого к убеждению, что в разговорах об «отраве» кроется зерно истины: решив как-то в плохую погоду проявить свои снимки, он обнаружил, что из двадцати пленок только четыре остались неповрежденными. Все остальные были полностью засвечены радиоактивными лучами, испускаемыми пеплом и развалинами.

Кадзуо М. записал в своем дневнике в конце августа 1945 года:

«В Хиросиме распространяется теперь множество слухов. Так, например, говорят, что в бомбе был яд. Кто дышал этим ядом, умрет в течение месяца. Вся трава, все деревья погибнут».

Этому слуху верили почти все, потому что многие люди, которые пострадали мало или совсем не пострадали от «пикадона», около 20 августа слегли, а некоторые из них вскоре умерли при явлениях, которые мы теперь называем симптомами лучевой болезни (в результате сильного радиоактивного облучения всего организма)*.

Люди, приехавшие в город уже после катастрофы, чтобы эвакуировать раненых или отыскать среди развалин пропавших без вести, также тяжело заболели. Отсюда возникло неправильное предположение, что бомба содержала какой-то новый «ядовитый газ». Как сообщил доктор Хатия, директор больницы почтовых служащих, некоторые пациенты даже утверждали, что после взрыва бомбы они собственными глазами видели, как над землей расстилалось тон-

* Японский специалист в области радиобиологии Цудзуки наблюдал в Хиросиме следующие типичные периоды болезни, вызванной атомной бомбой:

<i>Периоды</i>	<i>Сроки</i>	<i>Симптомы</i>	<i>Даты</i>
I период — ранняя стадия	Непосредственно после взрыва до конца 2-й недели	Острые заболевания	6—19 августа (приблизительно)
II период — средняя стадия	3-я — 8-я недели (продолжительность 6 недель)	Подострые осложнения	Примерно от 20 августа до 10 октября
III период — поздняя стадия	3-й—4-й месяцы (продолжительность 8 недель)	Выздоровление (часто лишь временное)	Начало октября — начало декабря
IV период — последующая стадия	5-й месяц и позже	Поздние поражения	После 5 декабря 1945 года

кое облако белого пара. Другой японский врач, доктор Кусано, пытался впоследствии объяснить этот феномен. Он писал, что вскоре после взрыва поблизости от эпицентра появилось страшно много радиоактивной пыли, которая в соединении с ионизированным воздухом в самом деле могла действовать подобно ядовитому газу. Ученые Сёно и Сакума установили, что при спасательных работах множество людей надыхались этой отравленной нейтронами пылью. У них появились приступы удушья, понос, рвота, кровотечения. Тысячи жителей Хиросимы лишились волос, даже бровей.

Уже на третий день после катастрофы японцы начали тщательно изучать новую болезнь. Патолог доктор Тюта Тамагава, профессор университета в Окаяма и медицинского факультета университета Хиросимы, переведенного в Котати, очень скоро понял, что симптомы, обнаруженные у его больных, не имеют ничего общего с диагностическими данными медицинских учебников. Более точные сведения он надеялся получить после вскрытия нескольких жертв атомного взрыва. Приехав 9 августа в разрушенный город, Тамагава тотчас же обратился к своему товарищу по университету Китамура, начальнику отдела здравоохранения, и попросил у него разрешения на вскрытие. В то время тысячи трупов еще лежали непохороненными среди дымящихся развалин. Однако даже родственникам трупы выдавались для погребения лишь по особому разрешению. Люди, не решавшиеся действовать на собственный страх и риск и шедшие «законным путем», вскоре запутывались в дебрях бюрократической волокиты. Оставшиеся в живых чиновники — хоть их было и немного — упорно требовали справок и удостоверений, которые в тех условиях почти невозможно было раздобыть.

Тем труднее оказалось получить разрешение на анатомирование неопознанных трупов. Профессор Тамагава, человек горячий и вспыльчивый, вскоре сложил оружие и уехал, ничего не добившись. Большим успехом увенчались старания его коллеги, доктора Сэйси Охаси, который вместе с знаменитым японским физиком Ёсио Нисина по поручению военного ведомства уже 8 августа вылетел из Токио в Хиросиму, а 21 августа передал своему военному начальству первый

медицинский отчет о лучевой болезни в Хиросиме *, основанный на результатах вскрытия двенадцати жертв атомной бомбы. В этом отчете он, в частности, указывал на поражения костного мозга и лимфатических желез гамма- и бета-лучами.

Однако, несмотря на то что война, согласно объявленной императором готовности капитулировать, уже была официально проиграна, японские военные власти все еще рассматривали чрезвычайно важный отчет Охаси как «секретный документ». В результате врачи, борющиеся в Хиросиме за жизнь многих тысяч больных, по-прежнему оставались в полном неведении. Не распознав на первых порах специфики симптомов лучевой болезни и не получив к тому же ни от друзей, ни от врагов никакой информации о побочном биологическом действии «новой бомбы», они совершенно неправильно лечили своих пациентов.

Историк Имахори, профессор университета в Хиросиме, так характеризует положение, создавшееся в результате неведения врачей:

«К сожалению, нужно констатировать, что при диагностировании новой болезни допускалась масса ошибок. После 10 августа у многих тысяч людей наблюдались лихорадочное состояние и кровавый понос. Всех их сочли больными дизентерией. В больнице почтовых служащих были оборудованы специальные бараки-изоляторы, чтобы предотвратить распространение эпидемии, однако число «дизентерийных» больных все возрастало. Подвалы универсального магазина Фукуя в центре Хиросимы были временно превращены в «больницу для заразных больных». Каждый день туда свозили сотни «подозрительных» больных, не спрашивая их согласия. В конце августа удалось установить, что ни у одного из этих больных не было дизентерийных палочек... Метод лечения изменили, но для многих это оказалось уже слишком поздно. Они погибли, потому что в результате неправильного диагноза их насильно подняли и заперли в бараках в ужасающих условиях...»

* Накануне, 20 августа 1945 года — через пять дней после объявленной императором капитуляции! — Сигэо Киси передал японскому генеральному штабу доклад под заголовком «Тактика борьбы против новых бомб», в котором предлагал меры против взрывного и светового действия атомной бомбы, не упоминая, однако, о ее радиоактивности.

Тем временем профессор Тамагава, которого бюрократы заставили было отступить, услышав о новой вспышке странной болезни после 20 августа, решил вернуться в Хиросиму. На этот раз он не поддавался уговорам властей и не отказался от попыток досконально изучить вопрос. 27 августа поздней ночью Тамагава поднял своего старого друга и коллегу доктора Хатия с постели и заявил ему коротко и ясно, что он твердо решил производить вскрытия независимо от того, получит ли он на это разрешение «идиотов, сидящих в окружном управлении»! Хатия, который за последние дни сам составил себе некоторое, хоть и доводьно противоречивое, представление о «новой болезни», встретил слова друга с восторгом.

— Я счастлив, что вы пришли ко мне, — сказал он. — Никому другому я не был бы так рад, как вам. Только, ради бога, потише.

5

Решающую роль в постепенном рассеивании тумана, окружавшего «новую болезнь», невольно сыграла Мидори Нака, одна из самых красивых и выдающихся актрис Японии, особенно прославившаяся непревзойденным исполнением главной роли в «Даме с камелиями». Она была «звездой» всемирно известной драматической труппы «Сакура тай» («Цветущая вишня»), которая с начала июня 1945 года гастролировала в Хиросиме. К несчастью, артисты этой труппы поселились в доме, находившемся на расстоянии всего 700 метров от эпицентра взрыва атомной бомбы. Из семнадцати актеров и актрис тринадцать были 6 августа убиты на месте. Четверо еще оставались в живых, в том числе и Мидори Нака.

«В тот момент я как раз была на кухне, так как в это утро была моя очередь готовить завтрак для всей труппы, — рассказала актриса впоследствии. — На мне был легкий белый с красным халат, а голову я обвязала полотенцем. Когда внезапно все осветилось белым светом, я подумала, что взорвался кипятильник. В ту же секунду я потеряла сознание. Очнулась я в крошечной

тьме и постепенно начала сознавать, что лежу под развалинами дома. Когда я попыталась освободиться, то заметила, что на мне нет ничего, кроме коротеньких трусиков. Я ощупала свое лицо и спину: ран не оказалось! Только на руках и ногах было несколько царапин. Я побежала в чем была на берег реки, где все горело ярким пламенем. Прыгнула в воду. Течение отнесло меня на несколько сот метров. А потом солдаты вытащили меня из воды».

Рассказ актрисы мало чем отличается от бесчисленных аналогичных сообщений. Интерес ему придали лишь последующие события. Мидори Нака, хотя и чувствовала себя очень плохо, потребовала, чтобы ее возможно скорее отвезли в Токио. И, поскольку она являлась знаменитостью, ей волей-неволей пришлось предоставить место в битком набитом поезде, направлявшемся в столицу. В Токио — опять-таки благодаря своей известности — Нака сразу же попала под наблюдение лучших врачей. Один из них был Масао Цудзуки, пожалуй самый выдающийся японский специалист в области радиологии. На красавице Мидори он впервые изучал «новую болезнь», поразившую жителей Хиросимы. Однако для него одного во всей Японии эта болезнь отнюдь не была «новой». Дело в том, что на протяжении почти двадцати лет Цудзуки наблюдал действие «жестких рентгеновских лучей» на подопытных кроликах: во время своих экспериментов он уже видел большинство явлений, которые врачи Хиросимы впервые обнаружили теперь у людей, переживших атомную бомбардировку*.

Сообщение о последних днях актрисы Мидори Нака гласит:

«16 августа Нака была доставлена в клинику Токийского университета. От ее прославленной красоты и благородной грации не осталось и следа. На следующий день после прибытия в больницу у актрисы начали выпадать волосы, число белых кровяных шариков упало до 300—400 (против нормы около 8 тысяч).

* В мае 1926 года на ежегодном съезде американской Ассоциации рентгенологов Цудзуки сделал доклад, привлечший всеобщее внимание. Доклад этот он опубликовал также в «American Journal Roentgenology and Radium Therapy» под заглавием «Experimental Studies on the biological Action of hard Roentgen Rays».

В больнице прилагали все усилия, чтобы спасти эту очаровательную женщину. Ей беспрестанно делали переливания крови. Сначала температура повышалась только до 37,8° при пульсе 80, но 21 августа подскочила до 41°, а 23 августа на теле больной в двенадцати или тринадцати местах внезапно появились лиловые пятна величиной в голубиное яйцо. На следующий день пульс доходил уже до 158. В то утро Мидори говорила, что чувствует себя лучше, но вскоре она угасла. На голове у нее оставалось всего лишь несколько тоненьких черных волосков, но, когда мертвую поднимали с постели, они тоже выпали и тихо опустились на пол...»

6

То обстоятельство, что Мидори Нака провела мучительные последние дни своей жизни не в безвестности среди таких же безвестных больных в одном из переполненных карантинных барачков Хиросимы, а находилась под постоянным тщательным наблюдением специалиста по лучевой болезни Масао Цудзуки и привлеченного им гематолога Дзин Миякэ, помогло спасти многих менее тяжелых больных в Хиросиме и Нагасаки. Ибо течение болезни и результаты вскрытия тела актрисы, усохшего и ставшего легким, как перышко, окончательно открыли глаза Цудзуки на истинный характер столь массового заболевания. До тех пор Цудзуки получал лишь случайные сведения о страданиях жертв атомных бомбардировок в двух японских городах, да и то из вторых и третьих рук. Теперь японский врач немедленно нажал на все педали, чтобы возможно скорее оповестить своих коллег в городах, опустошенных «пикадоном», о диагностике и наиболее успешных методах лечения лучевой болезни.

Первым делом Цудзуки обратился к военным властям Японии, которые только что старательно упрятали в сейф доклад доктора Охаси. Доктор Цудзуки объявил им, что факты лучевой болезни нельзя далее держать в секрете. Наоборот, необходимо принять все меры, чтобы он сам и его сотрудники могли отправиться в Хиросиму и открыть местным врачам всю правду.

Так как Цудзуки был в прошлом адмиралом императорского флота, ему беспрекословно повиновались.

Двадцать девятого августа Цудзуки и другие ученые из его клиники кое-как втиснулись в переполненный вагон; утром 30 августа они уже прибыли в Хиросиму. Некоторые биологи, которые также входили в состав группы Цудзуки, лишь неохотно согласились на такое путешествие: они яснее, чем кто-либо, сознавали опасности, поджидавшие их в пораженных радиоактивными лучами развалинах Хиросимы. Тем не менее они в конце концов отбросили всякие личные опасения и пошли на явный риск.

Третьего сентября 1945 года в два часа дня на первом этаже полуразрушенного здания, принадлежавшего какому-то банку, доктор Цудзуки выступил перед врачами Хиросимы с первым докладом о лучевой болезни.

Доктор Хатия, присутствовавший на этой встрече, рассказал:

«Меня поразило, что в зале собралось очень мало народа. Несколько человек, вероятно, не явились из-за дождя, однако в первую очередь малочисленность аудитории объяснялась тем фактом, что в Хиросиме осталось так мало врачей, что они не могли заполнить даже это небольшое помещение» *.

После краткого вступительного слова на трибуну поднялся профессор Цудзуки. Почерневшие от огня стены зала являлись подходящим фоном для доклада об атомной бомбе. Оратор начал с изложения своей теории принципа действия атомной бомбы, потом остановился на ее разрушительной силе и характере причиняемых разрушений, особенно в результате непосредственного воздействия взрывной волны. Затем он остановился на поражениях организма, вызванных небывало высокой температурой, и на разрушительном внутреннем действии радиоактивных лучей. В конце доклада Цудзуки рассказал об опасности, грозящей человеческому организму от такого рода облучения.

Когда доктор Цудзуки закончил свой доклад, аудитории был представлен доктор Миякэ, который доложил

* После атомной бомбардировки 72 из 190 врачей Хиросимы были зарегистрированы как пропавшие без вести.

о результатах вскрытия людей, погибших от лучевой болезни*. То, что он сообщил, полностью совпадало с нашими собственными наблюдениями. Сначала я был несколько обескуражен тем, что он первый публично сообщил об этих открытиях. Но, когда он упомянул о том, какого огромного труда ему стоило прийти к правильным выводам, во мне проснулось доброе чувство к ученому: ведь он сталкивался с теми же трудностями, которые приходилось преодолевать и нам.

В своем известном дневнике доктор Хатия не упомянул, однако, о самой важной практической части обоих докладов: он ничего не сказал о мерах, предложенных для лечения больных лучевой болезнью.

Доктор Миякэ заявил, что больные в первую очередь нуждаются в покое и в пище, богатой протеинами, витаминами, солью и кальцием. Он сделал объективно, вероятно, правильное, но потрясшее своей невольной жестокостью сообщение о том, что нет никакого смысла лечить больных, у которых число кровяных шариков упало ниже определенной нормы, так как в этих случаях надежды на выздоровление нет. Лучше сосредоточить внимание на больных, которых еще можно спасти.

Доктор Цудзуки подчеркнул, что необходимо стимулировать деятельность кроветворных органов и вводить большие дозы витамина С. Как это ни странно, он рекомендовал также сжигать в палатах ароматические палочки. Чтобы разъяснить врачам действие ионизирующих лучей на внутренние органы человеческого организма, он сравнил его с действием «ядовитых газов». Эта по существу неверная аналогия, использованная японским врачом, вероятно, лишь для более популярного разъяснения непривычного феномена, навлекла на него резкие упреки оккупационных властей и в значительной степени способствовала тому, что в 1947 году он на время был отстранен от лечения людей, пораженных лучевой болезнью.

На докладе в разрушенной Хиросиме присутствовал также Катасима — репортер японского телеграфного агентства Домей. Его родители стали жертвами «пикадона», и их останки, найденные в куче пепла, Катасима

* Немедленно после прибытия в Хиросиму доктор Миякэ провел целый ряд вскрытий. С 30 августа по 6 сентября он почти не спал, вскрыв за это время 26 трупов.

всегда носил с собой, так как не мог найти подходящего места для погребения.

— Когда этот репортер бегал по городу, чтобы собрать материал для очередной информации, в металлической коробке, перекинутой у него через плечо, постукивали кости, — рассказывает очевидец.

Катасима решил передать по телефону содержание докладов, сделанных Цудзуки и Миякэ, представителю агентства Домей в Лиссабоне. Несмотря на то что Япония капитулировала, между агентствами и их отделениями в нейтральных странах еще существовала радиосвязь. Но, так как Катасима не осмеливался без помощи компетентного медика написать отчет, требовавший специальных медицинских знаний, он попросил профессора Тамагава помочь ему. Однако у профессора возникли, очевидно, различные опасения насчет полной истинности сообщений его коллег, и в результате отчет так и не был написан.

«Задним числом приходится сожалеть об этом, — говорит историк Имахори, — ибо уже через несколько дней, 14 сентября, деятельность агентства Домей по приказу главной ставки союзников была запрещена, а в октябре агентство вообще прекратило свое существование. С тех пор в течение пяти лет голос Японии, а вместе с тем и результаты исследований последствий атомных взрывов не могли проникнуть за пределы страны. Если бы сообщение репортера Катасима было опубликовано... весь мир с ужасом узнал бы о том, какие новые неожиданные последствия вызвала атомная бомба... Быть может, это помогло бы запретить дальнейшее производство ядерного оружия... Так была упущена возможность решающим образом повлиять на положение в мире».

7

У членов семьи М. также появились симптомы лучевой болезни. Сэцуэ М. жаловался на то, что у него пострадало зрение, у его жены начали выпадать волосы, а маленькую Хидэко по несколько раз в день тошнило. Кадзуо часами сидел почти неподвижно у входа в бомбоубежище, устремив взгляд на широкую равнину, покрытую развалинами. Свое тогдашнее настроение он

впоследствии попытался выразить в одном из стихотворений, которое переслал мне:

Дождь и дождь. Сижу
Под косым дождем.
Дождь бьет по голому черепу,
Ползет по бровям опаленным,
Течет в окровавленный рот.
Дождь на больных плечах,
Дождь в раненом сердце,
Дождь, дождь, дождь.
К чему жить дальше?

Во второй период, наступивший вслед за первыми днями непосредственно после «пикадона», когда в городе царил отчаянный хаос и неразбериха, врачи, практиковавшие в Хиросиме, констатировали, что многие люди, пережившие катастрофу, впали в полную апатию, потеряв всякий жизненный стимул. «Муёкугамбо» — так называли этот симптом медики, и когда они замечали на лице тяжелобольного выражение безучастности, то теряли почти всякую надежду на его спасение.

Поэтесса Юкио Ота, очевидица атомного взрыва, описывает состояние жертв атомной бомбы следующим образом:

«Каждый из нас в течение некоторого времени совершал различные поступки, не сознавая, что он, собственно, делает. А потом однажды все мы проснулись и словно окаменели. Даже бродячие овчарки перестали лаять. Деревья, растения, все живое застыло в полной неподвижности, стало совершенно бесцветным. Хиросима походила не на город, разрушенный войной, а на фрагмент картины светопреставления. Человечество подвергло себя самоуничтожению, и люди, пережившие ядерный взрыв, чувствовали себя, как после неудавшегося самоубийства. Жертвы атомной бомбы потеряли желание жить».

В городе упорно циркулировал слух, будто земля Хиросимы, отравленная «ядовитым газом», останется необитаемой на протяжении жизни одного или двух поколений. Говорили, что ни животное, ни растение не смогут существовать в Хиросиме в ближайшем будущем. Правда, после «пикадона» цветы распустились

пышнее, чем когда-либо раньше, а трава и сорняки буйно разрослись, но это необузданное плодородие рассматривалось населением как последняя вспышка воли к жизни, как своего рода эйфория природы. Когда в начале сентября американские газетчики впервые прибыли в Хиросиму, их непрестанно спрашивали, соответствует ли «легенда о ядах» действительности. К сожалению, они не были достаточно компетентны, чтобы решительно отрицать это, и, таким образом, лишь способствовали распространению все того же слуха.

Один из немногих, кто не хотел верить, что Хиросима «заражена» по меньшей мере лет на семьдесят пять, был отец Кадзуо, Сэцуэ М.

Этот жилистый честолюбивый человек в свое время тяжело переживал, что его не взяли в армию из-за маленького роста и сильной близорукости. Ему хотелось показать своим соотечественникам, на что он способен, убедить их в том, что он принадлежит к числу немногих, которые даже теперь не признают себя побежденными. Всем, кто прислушивался к его словам, а также тем, кто пропускал их мимо ушей, Сэцуэ М. громогласно заявлял:

— Пусть весь мир утверждает, что город стал непригодным для жизни, моя семья и я сам останемся здесь.

Иногда он выражался еще более высокопарно:

— Страх мы обратим в бегство, а город смерти превратим в город жизни.

Скромный Кадзуо не был падок на такие выпренные речи, однако он не мог подавить чувства известного преклонения перед упрямством отца. Впервые он понял, что имели в виду соседи, называя старшего М. «фанатиком-дураком». Но не скрывалось ли за этими словами признание собственного бессилия, неспособности к самопожертвованию, отсутствия решительности?

Бесспорно, Сэцуэ М. никогда не пытался «ловчить», принаравливаясь к обстоятельствам. Когда, согласно одному из многочисленных военно-экономических декретов, ему предложили закрыть его маленькую мастерскую, поскольку продажа и ремонт граммофонов были объявлены «роскошью», он подчинился этому приказу, разрушавшему основы его благополучия, не только безропотно, но даже с восторгом. Ибо теперь этот страстный патриот мог всецело посвятить себя деятельности,

носившей все же какую-то военную окраску, а именно службе в противовоздушной обороне. Новой работе Сэцуэ преданся так самозабвенно, что семья М., лишь только иссякли ее скромные сбережения, впала в тяжелую нужду.

— Нередко отец забывал дать денег на расходы, — рассказывает Кадзуо. — Тогда мать со слезами на глазах напоминала, что у него есть определенные обязательства и по отношению к семье.

Однако Хиросима, то есть тот участок «внутреннего фронта», на котором действовал жаждавший подвигов уполномоченный по противовоздушной обороне Сэцуэ М., как известно, очень долго оставалась невредимой. В то время как другие города Японии разрушались американской авиацией, Хиросиму почему-то щадили, и население города тешило себя иллюзией, что многочисленные эмигранты из Хиросимы, проживавшие на Гавайских островах и в США, добились поблажек для своего родного города.

Приказ о первой крупной «операции», которую должен был провести Сэцуэ М., он получил менее чем за две недели до атомного налета. Дело в том, что города, подвергшиеся бомбардировке напалмом, сильно пострадали от пожаров; поэтому 25 июля было решено проложить в центре Хиросимы широкие просеки, причем в жертву должно было быть принесено много сотен домов. Уполномоченный по противовоздушной обороне Сэцуэ М. также получил приказ основательно «расчистить» территорию вокруг армейского склада. Среди сотни домов, снесенных согласно приказу военных властей, оказался и его собственный. Отца Кадзуо это скорее обрадовало, нежели опечалило: наконец-то он мог принести своему отечеству вполне осязаемую жертву.

Семья М. нашла приют у другого уполномоченного по противовоздушной обороне. Эта перемена в нашей жизни, вспоминает Кадзуо, пробудила в душе матери недобрые предчувствия.

Японская поговорка гласит: «Если три дома стоят рядом, избегай среднего». Однако последующие события опровергли эту поговорку в отношении семьи М.: оба соседних дома были превращены атомной бомбой в груды щепок, а дом Кадзуо, стоявший между ними

и защищенный ими, сжался и погнулся, как «танкири» (сахарный крендель), но устоял. Никто из М. не был погребен под развалинами — все отделались разве только несколькими ссадинами.

Три события наиболее страшны для человека, гласит японское предание: гнев земли (землетрясение), гнев неба (гром и молния) и гнев отца. Сэцуэ М. принадлежал к числу отцов, внушавших своим детям страх. Он был даже более строгим, чем большинство японских отцов, потому что старший его сын Кадзуо родился в день самого большого государственного праздника императорской Японии — 11 февраля. За 2590 лет до появления на свет Кадзуо император Дзимму, как повествуют японские учебники истории, основал Японию. Тот факт, что день рождения отечества совпадал с днем рождения сына, всегда вселял в Сэцуэ М., который в минуты слабости считал себя неудачником, гордость и смелые надежды. В этом духе надлежало жить и его наследнику Кадзуо.

— Довольно ходить с похоронной миной! Не распускайся! Давай, помоги мне построить новый дом!

Такими увещеваниями Сэцуэ удалось наконец вырвать сына из апатии и смертельной тоски, которая овладела им после капитуляции. Сначала против своей воли, а потом со все возрастающей готовностью и наконец даже с каким-то гневным воодушевлением Кадзуо подчинился приказаниям отца.

— Они с ума сошли! — говорили прохожие, глядя, как усердно отец и сын расчищали свой участок, вытаскивали из-под развалин обгоревшие доски, проверяли их крепость, вбивали в землю столбы и в конце концов еще до начала осенних дождей покрыли свой дом крышей. Кадзуо М. с торжеством занес в свой дневник:

«На тридцать второй день наш дом был возведен из материалов, которые мы нашли на выгоревшей земле. Это была в Хиросиме «новостройка номер один».

Когда семья впервые улеглась в новом доме, Хидэко шепнула брату:

— Погляди-ка, ни-тян (старший брат), через щели крыши светят звезды.

Кадзуо заметил с горькой иронией:

— Тем, что тебе теперь придется жить в таких апартаментах, ты обязана американцам.

8

Доктор Митихико Хатия так описывает зрелище, представшее перед ним на третий день после атомной бомбардировки, когда он выглянул через оконные проемы своей больницы:

«На севере, востоке, юге и западе — повсюду простиралась пустыня. Казалось, что до побережья, находившегося за несколько километров от этого места, и даже до острова Ниносима — рукой подать! В центре города, примерно на расстоянии полутора километров, виднелись почерневшие развалины двух самых высоких зданий Хиросимы, а также дом «Тюгоку пресс». Наш священный холм Хидзи-яма в восточной части города, казалось, был так близок, что к нему можно было прикоснуться рукой. На севере мы не увидели ни единого дома. Тут я впервые ясно понял, что подразумевали мои друзья под словами «Хиросима уничтожена».

Тот, кто листает теперь подшивки крупной хиросимской газеты «Тюгоку симбун», удивляется, как быстро снова восстановился пульс опустошенного города на окраинах «атомной пустыни». Действуя вопреки голосу разума, десятки тысяч людей цеплялись за истерзанную землю своей родины. Ежедневно в Хиросиму возвращалось больше людей, чем уезжало. Местная газета явилась лучшим примером той безудержной воли к жизни, которой была исполнена вначале лишь небольшая часть жителей города. Уже 9 августа, то есть через три дня после катастрофы, газета была доставлена всем подписчикам, которых удалось разыскать. Правда, они получили, собственно говоря, провинциальные выпуски газет «Асахи» и «Майнити», которые на основании особой договоренности о взаимопомощи в случае катастрофы выходили под заголовком «Тюгоку симбун» и ввозились в Хиросиму из соседних городов. Тем временем оставшиеся в живых сотрудники газеты, здание которой почти полностью сгорело, работали не покладая рук, чтобы как можно скорее возродить соб-

ственную газету. Их первая попытка отпечатать краткий выпуск газеты на машинах в маленькой типографии Сагава не удалась из-за сопротивления начальника штаба провинции генерал-майора Мацумара, который, по всей видимости, опасался цензуры. Четыре редактора газеты «Тюгоку симбун» превратились на время в «городских глашатаев». Вооружившись мегафонами, они, стоя на грузовиках, выкликали важнейшие городские новости и объявления.

К счастью, в деревню Нукусима, расположенную в пяти километрах от разрушенного города, была предумышленно увезена огромная ротационная машина. Однако стены и окна фабричного здания, в котором стояла машина, не выдержали действия «пикадона» даже на таком далеком расстоянии. Обосновавшись в трех больших армейских палатках около типографской машины, оставшиеся в живых наборщики, электрики, машинисты, канцелярские служащие и редакторы — многие из них еще с повязками и лубками — с помощью нескольких рабочих построили временное здание типографии, сделали электропроводку, наскоро забив в землю столбы, и подвели контакты к металлическому колоссу. И, когда после ряда бесплодных попыток однажды вечером цилиндры машины дрогнули и начали вращаться с привычным шумом, присутствующие распили при свете луны «сури» (самогон), громогласно произнеся тост за будущее Хиросимы.

Тридцать первого августа, то есть всего лишь через три с лишним недели после «пикадона», в Хиросиме уже продавался первый составленный и отпечатанный собственными силами послевоенный номер газеты «Тюгоку симбун». С этого дня газета начала выходить регулярно, печатая, как прежде, объявления, даже с иллюстрациями.

— Для проявления снимков мы приспособили бомбоубежище, открытое в горе, — рассказывает один из редакторов о днях в Нукусиме, полных разнообразных приключений, — но литеры приходилось отливать под открытым солнечным небом. Результаты обеих операций оказались весьма сходными: трудно было отличить иллюстрации от текста, так как снимки и набор практически получались одинаково черными. В дождливые дни вообще приходилось отказываться от фотографий. Под-

готовляя к печати бумагу, мы били по рулонам мокрыми бамбуковыми палками, а сушку производили над костром, сложенным из древесного угля...

Четвертого сентября 1945 года газета «Тюоку симбун» довела до всеобщего сведения, что в Хиросиме прекращается бесплатное питание жителей, введенное после катастрофы, и что в городе открыто двадцать четыре временных продовольственных магазина.

Седьмого сентября газета впервые сообщила, что в черте города все еще находится 130 тысяч человек (перед катастрофой население Хиросимы, включая солдат гарнизона и эвакокоманды, составляло около 390 тысяч человек). Через три дня, то есть 10 сентября, было объявлено о частичном возобновлении подачи электроэнергии, а 13 сентября сообщалось, что городское управление будет бесплатно выдавать строительные материалы жителям, чьи дома полностью разрушены. Рабочие немедленно приступили к вырубке городской рощи Конганэ-яма, распилке стволов и раздаче лесных материалов всем желающим. Это было жизненно необходимое и мужественное решение, но впоследствии ни один чиновник не хотел брать на себя ответственность за него, так как некоторые местные политики с осуждением утверждали, что деревья были вырублены без «надлежащей санкции» и, следовательно, совершенно «незаконно».

На этом первом этапе восстановления работа шла ускоренным темпом ввиду приближавшегося осеннего равноденствия, которое в тех краях начинается в первые дни сентября и знаменуется проливными дождями и штормами. Иногда дождливая погода наступает даже в жаркие летние месяцы. Август 1945 года был сравнительно сухой; кратковременные дожди приносили людям, ютившимся среди развалин, скорее облегчение, так как ненастье спасало их хотя бы временно от роя комаров и мух, которые набрасывались и на живых, и на мертвых, чьи трупы разлагались под горами пепла и развалин.

Правда, новые, наскоро сколоченные бараки почти сплошь находились на почтительном расстоянии от центра города, опустошенного атомной бомбой. Если плотность населения в пределах «адского круга» составляла даже в конце года лишь 3,1 процента по

сравнению с плотностью населения до катастрофы, то все окраины Хиросимы были вскоре перенаселены. В трех километрах от эпицентра взрыва число жителей возросло до 128,5 процента по сравнению с «доатомной эрой», а за пределами этого круга ютилось почти вдвое больше людей, чем прежде (181,6 процента).

Некоторые из этих окраин, ставших теперь особенно популярными, были издавна предоставлены тысячам людей, которых их соотечественники считали «нечистыми» и старались отделить от остального населения, загоняя в специальные «гетто». В Хиросиме число «гетто», так называемых «бураку», было особенно велико, потому что этот город, веками считавшийся цитаделью буддизма, пользовался «нечистыми» (их называли «эта», что буквально означает «много грязи») для выполнения тех работ, которыми не хотели марать себе руки чувствительные и преданные букве высокой религии верующие. К числу таких работ принадлежали убой скота, обработка кож, уборка и использование отбросов. Отвращение к несчастным изгоям доходило до того, что даже произнесение слова «эта» считалось предосудительным. Вместо того чтобы произносить кличку «нечистых», буддисты обычно поднимали четыре пальца, намекая на то, что «эта» якобы общаются с четвероногими и сами стоят на одной ступени с животными.

То, что презренные обитатели «бураку», которых старались держать возможно дальше от центра города, пострадали от «пикадона» меньше, чем остальные жители Хиросимы, было своего рода справедливым вознаграждением за все прошлые унижения. Теперь они вдруг стали «привилегированными», так как у них по крайней мере осталась крыша над головой.

Впервые за много веков зашаталась перегородка, воздвигнутые религиозным кастовым духом. Казалось, осуществлялось то, чего не удалось добиться даже с помощью законов, которые начиная с XIX века предоставляли «эта» равноправие, существовавшее, впрочем, лишь на бумаге. Теперь беженцы из центра Хиросимы нашли приют в кварталах «эта» — в Минами, Мисаса, Фукусима, в северном, среднем и южном пригородах. С другой стороны, несколько предприимчивых

обитателей «бураку» впервые решили проникнуть в опустошенный, временно ничейный центр города и заняться там каким-нибудь промыслом. Но, по мере того как продвигалось восстановление Хиросимы, по мере того как из хаоса первых недель снова рождался все более твердый порядок, вокруг «эта» в Хиросиме вновь вырастали старые стены предрассудков и презрения. Некоторое время казалось, что страшное новое оружие хотя бы в одном совершило доброе дело — реабилитировало «эта». Атомная бомба, правда, несколько расшатала старые барьеры, но разрушить их не смогла. Даже ей это оказалось не под силу.

9

В начале сентября, когда установилась прохладная погода, перед местными властями в Хиросиме со всей остротой встал вопрос, как снабдить одеждой более ста тысяч человек, которых, за немногими исключениями, атомная бомба лишила всего их имущества. В теплые дни еще можно было прикрывать наготу лохмотьями, обходиться без обуви, теперь же ко всем остальным несчастьям прибавились еще бесконечные простуды: ослабевшие под тяжестью невзгод люди нередко, проболев каких-нибудь два-три дня, умирали.

В это время среди населения начали циркулировать слухи о том, что в окрестностях Хиросимы — некогда крупного гарнизонного города и военного порта, из которого отправлялись военные транспорты на фронты в Юго-Восточную Азию, — хранятся огромные запасы всевозможного армейского имущества. Вскоре какие-то ловкачи набрали на несколько мелких военных складов. Многие японские дельцы, тайком получавшие сведения от офицеров-снабженцев и к тому же еще ухитрявшиеся раздобывать транспорт для переброски найденных товаров, положили в то время начало своим весьма солидным послевоенным состояниям. Так, известно, что торговый дом С, и поныне являющийся ведущей обувной фирмой, раздобыл первую партию товара именно таким способом, обеспечив себе своего рода монополию на длительный срок.

Задача взять в свои руки не разграбленные еще запасы на армейских складах и использовать их для всего населения выпала на долю Синдзо Хамаи — городского чиновника, особенно отличившегося в первые недели после взрыва атомной бомбы в качестве начальника снабжения. Различные стихийные бедствия, подобно войнам и мятежам, зачастую неожиданно-негаданно поднимают на своем гребне дотоле совершенно безвестных людей и делают их вожаками масс, попавших в беду. Так было и с Хамаи, всегда тщательно выбритым, широкоплечим, добродушным и общительным человеком лет тридцати, до 6 августа никому не известным за пределами узкого круга сослуживцев, а теперь превратившимся в самого уважаемого человека в Хиросиме не только в силу занимаемого им поста, но и благодаря энергии и хватке, которых в нем до сих пор никто не предполагал. Пока оставшиеся в живых представители правительственных учреждений и генерального штаба, потрясенные и впавшие в панику, отсиживались в старом храме Тамонин на окраине города и совещались о том, как бы справиться с небывалым и неслыханным бедствием, Хамаи прорвался через горящий город к развалинам ратуши — резиденции городского управления и, обосновавшись в единственных двух еще не совсем сгоревших комнатах, в течение многих дней «правил» Хиросимой. По инициативе Хамаи за одну ночь в окрестных деревнях были оборудованы походные кухни. Вслед за тем он занялся изысканием источников продовольствия. В хиросимском порту Хамаи обнаружил танкер с растительным маслом. После этого он, несмотря на упорное бюрократическое противодействие, «освободил» содержимое огромного холодильника, поскольку из-за отсутствия электроэнергии продукты в холодильнике все равно погибли бы. Этот импровизированный полководец и мастер импровизации в борьбе против голода и жажды не знал ни сна, ни отдыха.

Самыми рьяными его помощниками стали курсанты школы танкистов в портовом квартале Удзина. Когда Хамаи впервые попросил их помочь при распределении продуктов, они ответили, что все это их, собственно говоря, не касается и что их дело — осваивать тактику моторизованной войны. Одна-

ко высокомерный ответ курсантов не отпугнул начальника снабжения. Он просто-напросто мобилизовал весь личный состав школы вместе с имевшимися в ней транспортными средствами, после чего незадачливые герои-танкисты с таким воодушевлением ринулись выполнять поставленную перед ними задачу, что от радости по поводу своих «снабженческих побед» перестали сознавать даже масштабы бедствия. Их клич не беспокойтесь, мы дадим вам все!» в первые, хаотические недели после «того дня» казался большим и умирающим неуместно веселым, но все же обнадеживал их, подобно звукам фанфар.

За свою новую миссию, заключающуюся в том, чтобы одеть 130 тысяч жителей Хиросимы, Хамаи принялся со всем присущим ему пылом. Без особого труда ему удалось выведать у военных властей, где находятся склады. Правда, его тут же предупредили, с какими трудностями он столкнется при осуществлении своего плана.

— Действительно, у нас хранятся недалеко от Сайдзё запасы белья, носков, сапог, мундиров, вообще всего необходимого для полной экипировки ста тысяч солдат, — сказали ему. — Нам будет приятнее, если вы заблаговременно конфискуете эти запасы, не то их придется передать в качестве трофеев оккупационным войскам. Забирайте все. Но как перевезти тряпье в город — это уж дело ваше.

Из-за недостатка бензина переправить в Хиросиму огромные запасы обмундирования на грузовиках было в то время совершенно невозможно. Поэтому Хамаи обратился к местному железнодорожному начальству. Но железнодорожники лишь покачали головой.

— На это понадобится не менее тридцати товарных вагонов, а мы не можем дать вам даже пятнадцати.

Однако Хамаи, который раньше всегда уклонялся от дискуссий, обнаружил в себе в дни катастрофы новое качество — умение убеждать людей. Перемежая хитроумные уговоры с упрямым молчанием, он всегда добивался своего. Постепенно Хамаи удалось уломать и начальство железнодорожной ветки Сайдзё—Хиросима, которое в конце концов уступило:

— Ладно. Как-нибудь высвободим для вас вагоны. Вероятно, железнодорожники думали, что Хамаи все

равно не удастся в ближайшее время подвезти огромные запасы одежды к железнодорожной станции, ибо склад, где хранилось обмундирование и белье, находился на расстоянии многих километров от станции, в горах, около небольшого местечка Каваками.

— Лучше бы вам сразу отказаться от своей затеи, — попытался отпугнуть просителя из Хиросимы старший лейтенант Ф., начальник этого огромного склада. Как вы, собственно, представляете себе все дальнейшее, молодой человек? Шестьсот дюжих солдат работали полгода, чтобы перевезти это добро в горы. А вы хотите перебазировать его в предельно короткий срок — до наступления холодов. Немыслимо!

Однако, поскольку эти аргументы, по-видимому, не произвели на Хамаи должного впечатления, офицер рас- свирепел.

— Запомните, мы проиграли войну! Вы, видно, ничего не соображаете. То, что вы задумали, — лишь пустая трата ценной рабочей силы.

С этими словами офицер, резко повернувшись на каблуках, стал спиной к просителю и устремил взгляд в окно. Всем своим видом он давал понять, что разговор надо считать оконченным.

А Хамаи между тем еще ни разу даже не раскрыл рта. «Тот, кто говорит, когда другой молчит, скоро выдохнется», — сказал он себе в ожидании новой вспышки гнева со стороны своего оппонента. Он ждал, а вместе о нем ждали десятки тысяч людей, которых необходимо было спасти от зимней стужи.

Но офицер поступил уж совершенно неожиданно. Выхватив резким движением револьвер из кобуры, он взвел курок. Хамаи инстинктивно отступил, думая уже о том, где бы найти укрытие. Но старший лейтенант, даже не взглянув на него, начал беспорядочно стрелять через открытое окно.

Разговор происходил в административном корпусе сельскохозяйственной академии в Сайдзэ. Большинство зданий академии были заняты военными властями. У помещения, где находились Хамаи и офицер, была расположена спортивная площадка, и, когда Хамаи полубопытствовал, куда, собственно, целится взволнованный офицер, он увидел внизу среди турников и брусьев целые штабеля курток, брюк и шинелей, в кото-

рые старший лейтенант палил до тех пор, пока у него не кончились патроны.

Только тогда он снова обратился к посетителю. Его продолговатое монгольское лицо выражало скорее отчаяние, нежели гнев.

— Неужели вы не понимаете? Не могу же я так просто передать вам этот склад. Разве мы не будем больше воевать? Ни с того, ни с сего я должен от всего отказаться. Даже девушки из нашего штаба поклялись продолжать борьбу до конца.

Теперь офицер уже окончательно выдохся. Нерешительно, с отсутствующим видом играл он своим разряженным револьвером. А когда снова заговорил, голос его звучал надтреснуто. Он готов был расплакаться: ведь и этот последний его протест против очевидного поражения ни к чему не привел.

— Мы перенесли столько лишений за эти долгие годы, — вырвалось у него. — И все, оказывается, было напрасно!

Наконец он попытался овладеть собой.

— Ну ладно. Все-таки мы кое-чего достигнем, если поможем жителям Хиросимы. Когда-нибудь нам, возможно, пригодится каждый спасенный японец. Конечно, перетащить все эти вещи вниз будет стоить огромного труда. Но за мной дело не станет. Я не буду чинить вам никаких препятствий.

Вскоре Хамаи нашел себе помощников. Ученики школы лесоводов в Сайдзэ в кратчайший срок перевезли на тачках, крестьянских телегах, велосипедах и даже в детских колясках «клад из Каваками» к железнодорожной станции. В результате не меньше половины запаса рубах, шуб, фуражек, сандалий, сапог, шинелей и одеял попало к разутым и раздетым жителям Хиросимы еще до наступления ненастной погоды. Тем временем Хамаи — на этот раз без особых затруднений — «освободил» также крупный флотский склад, распределив среди населения и эти запасы, предназначавшиеся для военных действий в юго-западной части Тихого океана.

Приезжие, которые побывали в те дни в Хиросиме, рассказывали затем, что все население города, по-видимому, играет в солдатики. Дело в том, что не только мужчины, но и девушки, старики, почтенные матери семейств, дети и юноши щеголяли

в новенькой форменной одежде, скомплектованной как попало и имевшей поэтому довольно-таки фантастический, но нередко все же залихватский вид! Так трагедия милитаризации Японии неожиданно закончилась фарсом с переодеванием-маскарадом, в котором участвовали все, вплоть до калек и умирающих.

В то время во всей Японии почти каждый, носивший когда-то военную форму, старался скинуть с себя эту компрометирующую одежду, опасаясь либо попасть в плен к иностранным оккупационным войскам, прибытие которых ожидалось со дня на день, либо угодить под суд за участие в жестоких расправах с противником и гражданским населением оккупированных районов. В Хиросиме же, наоборот, все штатские, пережившие атомную бомбардировку, безбоязненно напялили на себя одиозное хаки — форму японской военщины, которая еще вчера держала в страхе всю Азию, а теперь сама дрожала от страха. Казалось, люди прошедшие через крошечный ад «пикадона», считали, что уже искупили свою вину.

Особенно пригодились жителям Хиросимы сапоги военного образца, ибо осенний дождь, разразившийся с яростной силой, покрыл дорожки между бараками и развалинами огромными лужами и превратил пепел в вязкое месиво.

ПОСЛЕ ПОТОПА

1

В буквальном переводе слово «Хиросима» означает широкий (хиро) остров (сима). Центр города всегда находился на острове между двумя рукавами семирукавной реки Оты, а остальные кварталы города раскинулись на отвоеванных у моря, но все еще окруженных рекой илистых землях обширной речной дельты. Почти каждый второй год в период дождей текущая с гор река взламывает плотины, и нередко в довершение всего со стороны моря на районы, лежащие ниже его уровня, одновременно обрушивается еще и бушующая лавина волн, подхлестываемая тайфуном.

Самое страшное наводнение произошло в Хиросиме 6 августа 1653 года. Поэтому еще до роковой даты 6 августа 1945 года «шестое августа» запечатлелось в сознании людей как день несчастий. В XVII веке в этот день были снесены сотни домов и все городские мосты. В летописи говорится, что из всей Хиросимы уцелел фактически лишь расположенный на холме Рыбий Замок — резиденция местного феодала Асано, а жители спаслись от голодной смерти только потому, что феодал открыл собственные кладовые и в течение нескольких недель кормил своих подданных имевшимися там запасами риса. Но и этому наводнению, по-видимому, было далеко до того бедствия, которое обрушилось на несчастную Хиросиму менее чем через полтора месяца после атомного взрыва. 17 сентября 1945 года затяжной дождь, продолжавшийся с короткими перерывами несколько дней, превратился в ливень, и вдобавок к вечеру на море разыгрался шторм, сила которого возрастала с каждым часом до самой полуночи.

Городская электростанция, пущенная в ход всего только неделю назад, снова прекратила работу; большинство только что отремонтированных домов и наскоро построенных бараков либо обрушились под ударами урагана, либо были затоплены водой.

В кромешной тьме то и дело раздавались мольбы о помощи и крики ужаса. Но вот около часу ночи 19 сентября из рыбацкой деревушки Куба двинулось необычайное факельное шествие. Профессор Нагаока, бродя среди развалин, обнаружил вблизи бывших заводов Мицубиси осколки искусственного стекла, из которого изготовлялись кабины летчиков в военных самолетах. Ученый решил воспользоваться этим материалом, зная, что искусственное стекло отлично горит даже в ветреную погоду. При свете таких факелов он и повел десятки людей в Хиросиму.

Профессор надеялся, что, несмотря на тридцатикилометровое расстояние, он еще успеет вовремя добраться к дому дочери, куда он перевез свою ценную геологическую библиотеку и уникальную коллекцию минералов. Цели своего путешествия профессор достиг только при дневном свете, и первое, что он увидел, были книги, плывущие по реке. Он подоспел как раз вовремя, чтобы спасти хотя бы несколько микроскопов и большую часть библиотеки.

Однако такое «счастье» в дни несчастья выпало на долю лишь немногих жителей Хиросимы. Тысячи людей потеряли во время великого потопа то немногое, что им удалось спасти от атомной бомбы. Почти все дома на берегах реки были сметены с лица земли. Если «пикадон» разрушил десять мостов, то теперь из строя вышли двадцать, многие городские кварталы были полностью отрезаны друг от друга.

Даже у Синдзо Хамаи, который в первые недели после катастрофы своим личным примером спас многих людей от отчаяния, опустили руки перед лицом нового бедствия. Когда он вышел на плоскую крышу ратуши и взглянул оттуда на город, его впервые охватило чувство полной безнадежности.

— Город походил на огромное озеро, — вспоминал он впоследствии, — и у меня было такое чувство, что Хиросима окончательно погибла. «Почему именно жителям этого города выпали на долю такие страдания?

Пусть вода никогда не схлынет, пусть все, что затоплено ею, погибнет навсегда, тем лучше!» Это я повторял тогда вполне серьезно.

2

Однако население Хиросимы, дважды так тяжело пострадавшее, справилось с последствиями страшного наводнения гораздо скорее, чем предполагал впавший в отчаяние Хамаи. В конце концов наводнение было, так сказать, «нормальным» стихийным бедствием, одним из тех ударов судьбы, какие постигали многие поколения хиросимцев. С ним можно было совладать! После наводнения всегда бывали жертвы: люди оплакивали погибших, оказывали помощь раненым и больным, но все это не выходило за рамки обычных представлений и поэтому поддавалось постижению. Раны, наносимые разъяренными рекой и морем, испокон века были знакомы жителям окруженного водой города, между тем как многообразные, непонятно длительные последствия атомного взрыва, которые почти каждый человек испытывал теперь на себе, вызывали полное недоумение и растерянность.

Через несколько недель после «пикадона» Синдзо Хамаи также пришлось обратиться к врачу. 6 августа он был легко ранен в ногу, но ранка, сама по себе незначительная, никак не хотела заживать. К счастью, врач, к которому явился Хамаи, прослушал доклад профессора Судзуки и знал, как лечить своего пациента.

Обнаружив, что у Хамаи заметно уменьшилось количество белых кровяных шариков в крови, врач прописал начальнику снабжения покой, деревенский воздух и хорошее питание. Такое лечение при легких формах лучевой болезни приводило к благоприятным результатам, и вскоре Хамаи действительно стал на ноги. Но в тяжелых случаях врачи оказывались бессильными. В первый год после «пикадона» в Хиросиме ежемесячно умирали в среднем в 10—20 раз больше людей, чем до атомной катастрофы.

Во второй половине сентября на население Хиросимы обрушилась новая напасть. В самом начале следующего месяца, 3 октября, в этот район должны были

вступить первые оккупационные войска, сначала американцы, а вслед за ними австралийцы *. Долголетняя пропаганда правительства, расписывавшего «зверства» иностранцев, равно как и предрассудки самого населения, веками отрезанного от внешнего мира, считавшего всех чужеземцев «бесовским отродьем», отнюдь не способствовали хорошему отношению к победителям. Тяжелую атмосферу не сумели разрядить даже первые представители западного мира, например врачи, газетчики и ученые, державшиеся не только корректно, но и явно дружелюбно.

Впервые в истории Ниппона солдаты из-за моря должны были ступить на священную японскую землю. Но ведь те, кто победил народ, веками считавший себя непобедимым, могли быть либо сверхчеловеками, либо недочеловеками — в том и другом случае «демонами в образе человеческом». Тяжелобольные, которые до тех пор оставались в Хиросиме, чтобы умереть в родном краю, теперь умоляли отправить их в окрестные горные деревни. Даже такой образованный человек, как доктор Хатия, проводил долгие ночи без сна, мучительно размышляя, не увезти ли жену из города, невзирая на ее болезненное состояние, и не спрятать ли ее в глуши, в доме родителей. По распоряжению японского командующего провинцией Тюгоку, которого оккупационные власти пока что оставили на его посту, еще в сентябре было расклеено на афишных столбах и помещено в газетах объявление, в котором неудобочитаемым канцелярским слогом сообщалось:

«О женской одежде. Тонкие платья, цельнокроеные, какие наши женщины привыкли носить даже вне дома, иностранцы обычно принимают за ночные рубашки. Ношение их может привести к необдуманным поступкам со стороны солдат и повлечь за собой серьезные последствия. Носите по возможности момпэ **.

* Начиная с 31 января 1946 года войска Британского Содружества Наций участвовали в оккупации пяти префектур провинции Тюгоку, в которую входила также Хиросима. Кроме австралийцев, в них были представлены новозеландцы, индийцы и англичане. Эти войска числились в составе гарнизона, но особых функций не выполняли. Собственно военное управление и в этой области впредь осуществлялось 8-й (американской) армией.

** Длинные женские шаровары, которые обычно завязываются у щиколоток.

Одевайтесь всегда скромно и ни в коем случае не обнажайте грудь!

Наручные часы. Они могут послужить ценными сувенирами. Поэтому не носите их открыто. Женщины, остающиеся одни в доме, должны быть особенно осторожны, они обязаны следить за тем, чтобы наружные двери были на надежном запоре.

Старайтесь не оголяться. Не плюйте на улице. Не отправляйте под открытым небом свои естественные надобности».

В Хиросиме, где, как и во всей Японии, двери домов были обычно открыты и днем и ночью, слесарей завалили теперь работой. Жители обзаводились замками и засовами. Это мероприятие вскоре оказалось весьма полезным. Правда, замки оберегали японцев не столько от иностранцев, желающих чинить насилия, сколько от собственного изголодавшегося населения, которое в войне потеряло все и теперь пыталось грабить своих соплеменников.

3

Весьма знаменательную «отвлекающую операцию» для защиты и успокоения встревоженных женщин Хиросимы провел Дадзай, начальник службы безопасности префектуры. Уже 20 августа он пригласил целый ряд почтенных дельцов в свою временную канцелярию, находившуюся в развалинах банка Кангё-гинко, и заявил им:

— Господа! Вы снова должны оказать отечеству важную услугу. Готовы ли вы?

Приглашенные «столпы общества», большинство из которых, как это ни странно, благополучно пережили «пикадон», в один голос ответили, что при настоящих условиях это совершенно невозможно.

— Но власти пошли бы вам навстречу и материально, и во всех других отношениях, — уговаривал дельцов высокопоставленный полицейский чиновник. — Скажите только, чего вам не хватает, чтобы снова открыть ваши заведения.

Эти слова явно заинтересовали приглашенных. Однако Мотодзи Мино, один из участников встречи,

которому я, кстати, обязан сведениями о переговорах, возразил:

— Но ведь у нас нет ни постелей, ни кимоно, нет решительно ничего, что необходимо для наших «предприятий». А самое главное — у нас нет девушек.

Господин Мино, так же как и остальные дельцы, которых власти так спешно вызвали из их укромных убежищ на совещание, являлся владельцем процветающего дома терпимости в Яёи-тё, известном во всей Японии квартале притонов, обслуживавших гарнизон и портовые районы Хиросимы.

— В то время, сразу же после «пикадона», — рассказывает Мино, изящно одетый человек лет семидесяти, — я походил на бродягу. Я был погребен под развалинами, и у меня на теле осталось пятьдесят-шестьдесят кровоточащих ран. Под левым глазом у меня был вырван целый кусок мяса — как видите, рубец остался до сих пор. Руки мои были забинтованы, я ходил в стоптанных соломенных сандалиях, единственной обуви, которая у меня еще сохранилась. Что станет с моим предприятием — об этом я даже не думал, не до того мне было. В таком же состоянии находились, вероятно, и мои коллеги. Но этот самый Дадзай продолжал уговаривать нас. Он взывал к нашей «преданности нации» и тому подобным вещам, говорил о необходимости создать соответствующие заведения, чтобы с самого начала помочь предупредить всякие неприятные инциденты с иностранцами. И все в том же возвышенном тоне.

Потом он перешел к практической стороне дела, и мы начали прислушиваться. Он заявил, что администрация провинции в данном случае не будет скупиться, что нам, несомненно, дадут два-три миллиона иен, а в то время, перед инфляцией, это были большие деньги. Мы, мол, не проиграем на этом деле, и вся прибыль пойдет к нам в карман.

Впоследствии все это оказалось блефом. Государство никому ничего не дарит. Оно потребовало, чтобы мы возвратили каждую взятую нами иену. Ну и, конечно же, с процентами. К сожалению, у нас не осталось никаких письменных документов для подтверждения всех тех прекрасных обещаний, которыми нас уго-

щали. Мы люди доверчивые. И мы поддались на уговоры, создав одну большую фирму, получившую название «Общество домов утешения». Каждый из нас внес свой пай — 20 тысяч иен. Председателем нашего общества был избран Хисао Ямамото — вы его, конечно, знаете, впоследствии он стал заместителем мэра. Меня сделали заместителем председателя общества. Где помещалась наша контора? Полиция не возражала против того, чтобы мы на время обосновались у нее. Она ведь была заинтересована в нашем деле.

Таким образом, еще до того, как войска союзников вступили в район Хиросимы, была предпринята «операция иансё» (операция «дома утешения»). Полицейский баркас «Хоан мару» разъезжал весь сентябрь от одного японского острова к другому, от порта к порту, закупая девушек. В конце концов их набралось около пятисот. Некоторые из них уже прежде занимались этим ремеслом, других — и таких было, конечно, большинство — продали в дома терпимости их обнищавшие во время войны родители или близкие родственники за задаток наличными. Недостающие двести девушек для вновь создаваемых притонов были завербованы в самой Хиросиме.

Через месяц после совещания, созванного начальником службы безопасности, владельцы публичных домов сообщили господину лейтенанту полиции Дадзаи, что они выполнили свой «патриотический долг». В самой Хиросиме и в ее окрестностях они создали десять «иансё». То были первые после войны увеселительные заведения в этом районе, в них был даже какой-то намек на уют, на изысканность и роскошь.

Самый большой «дом утешения» (иансё № 1) открылся рядом с входом в казармы в предместье Кайта, где предполагалось разместить большую часть оккупационных войск. «Иансё № 2» был создан в Хиро, неподалеку от бывшей главной ставки японского флота в Курэ, которая стала теперь главной ставкой войск западных держав во всей Западной Японии.

За день до прихода 34-го пехотного полка 8-й армии «дома утешения» празднично украсили. Хозяева ждали «чужеземных чертей».

Вот как описывает приход американцев в Хиросиму Итиро Кавамото, молодой монтер, работавший на электростанции Сака близ города:

«Все небо было в тот день полно чужих самолетов. Люди, которые еще на уроках истории усвоили, какими жестокостями сопровождаются войны, заранее отправили своих жен и детей в глубь страны. Двери домов они заперли на замок. На работе все нервничали.

Снова подул осенний ветер. Вдоль всей дороги на расстоянии пятидесяти метров друг от друга стояли японские полицейские в черной форме. Поговаривали, что американские войска высадятся в Курэ и уже оттуда двинутся по направлению к Хиросиме. А расквартируют их якобы в Кайтати, бывшем японском арсенале.

В обеденный перерыв все мы кинулись к ограде электростанции, чтобы поглядеть на проходящие колонны янки. Мы увидели бесконечную вереницу джипов, к некоторым из них были прицеплены десантные лодки на колесах: на нас двигалась огромная механизированная армия... Войска шли до поздней ночи. Вечером два американских солдата явились в нашу столовую. Они были такого высокого роста, что чуть не ударились головой о низкую притолоку и не набили себе шишек. С японской стороны не отмечалось никаких враждебных выступлений».

Это весьма типичный рассказ очевидца о настроении, господствовавшем в Хиросиме в момент прихода американских войск. Для обеих сторон явилось неожиданным, что оккупация этого района, особенно жестоко пострадавшего от войны, не вызвала никаких эксцессов. Как раз в Хиросиме «джи ай» — американские солдаты — ожидали вспышки ненависти, однако их встретили с обычной для японцев и даже, может быть, с большей, чем в других районах страны, вежливостью. Казалось, основное, буддийское население этого города, являвшегося еще в древности местом паломничества верующих, примирилось со своей необычной судьбой; в то время в Хиросиме находились еще люди, которые гордились тем, что им довелось увидеть и пережить взрыв «самой мощной бомбы во всей истории». Конечно, тогда никто не подозревал, что

действие страшного атомного оружия может сказаться через много лет.

Вначале американцы почти не показывались в районах развалин. Только отдельные смельчаки решались проникнуть в «атомную пустыню» в центральной части города, чтобы сфотографировать друг друга на фоне развалин бывшего выставочного павильона, голый купол которого стал со временем символом разрушенной Хиросимы. Между прочим, на потрескавшейся стене этого здания, построенного в 1913 году австрийским архитектором Летцелем, в один прекрасный день нашли написанные сажей слова: «No more Hiroshimas!» («Хиросима никогда не должна повториться!»). Эти слова стали лозунгом борцов против атомного оружия во всем мире. И по сей день не известно, кто впервые сформулировал этот лозунг. Полагают, что автором был американец*.

В сознании некоторых жителей Хиросимы — число их трудно установить — сдержанное поведение «чужеземных чертей» никак не вязалось с традиционным представлением о них. К числу этих людей принадлежал и Кадзуо М. Через несколько недель после вступления американцев в город он записал в своем дневнике:

«Белые, выхолненные американцы приятной наружности разгуливают рука об руку с маленькими чумазыми японскими девушками. Когда на дороге попадает лужа — а их сейчас великое множество на наших изрытых улицах, — американец ловко подхватывает свою «подружку» и ставит ее на сухую землю, а затем и сам одним махом перепрыгивает вслед за ней. Матросы расхаживают со своими японскими приятельницами, исполняя роль своего рода ходячих щитов, защищающих эти хрупкие создания от всевозможных столкновений. Девушки тронуты галантностью американских солдат. Сначала они начинают мнить о себе бог знает что, а потом рожают ребят смешанной крови. Лично мне эта преувеличенная любезность со стороны янки кажется просто смешной».

* В печати лозунг «No more Hiroshimas!» был впервые употреблен У. Бэрчетом в лондонской газете «Дейли экспресс». Этот австралийский журналист — первый газетчик, посетивший Хиросиму после взрыва атомной бомбы. На собственный страх и риск он приехал 3 сентября в разрушенный атомной бомбой город.

В первые недели оккупации сдержанность чужеземных завоевателей, видимо, несколько разочаровала даже некоторые административные органы префектуры Тюгоку и города Хиросимы. Они, вероятно, ожидали, что новые хозяева, коль скоро они уж появились, крепко возьмут в свои руки бразды правления.

В японских префектурах за долгие годы привыкли к тому, что все вплоть до мельчайших деталей предписывалось «сверху», «из Токио». Американцы обещали общинам более широкие права на самоуправление и самоопределение, и теперь казалось, что эти обещания были даны всерьез. Правда, в префектуриальном управлении, а также в ратуше появилось несколько иностранных советников, но они старались держаться в тени и нередко предоставляли японским чиновникам больше свободы и возлагали на них большую ответственность, чем те могли себе пожелать.

В начале октября 1945 года, когда оккупационные войска вступили в город, в Хиросиме еще не было мэра; бывший глава муниципалитета Курия с 6 августа числился погибшим или пропавшим без вести. Вскоре после «пикадона» городское управление направило нарочного в дом своего руководителя на берегу реки. Нарочный вернулся и сообщил, что он нашел в развалинах дома обуглившиеся останки взрослого человека и ребенка. Эти показания были, однако, недостаточно веским основанием, чтобы объявить мэра погибшим. Возможно, что он, как и многие другие, бежал в горы в одну из ближайших деревень, а теперь еще недостаточно окреп, чтобы связаться со своими коллегами.

Достоверные сведения о судьбе мэра были получены лишь позднее, когда в Хиросиму привезли для лечения его тяжело раненную жену.

— Мой муж, несомненно, погиб, — успела она сказать перед смертью. — В «тот день» он с утра сидел на солнечной террасе дома и разъяснял нашему младшему сыну мудрые изречения Будды. На коленях у него расположился один из внуков. Все мы были вместе в этот мирный час. И чувствовали себя как-то по особенному счастливыми... Горстка пепла, найденная у нас в доме, — это все, что осталось от трех поколений нашей семьи.

Располагая такой информацией, муниципалитет мог наконец подумать об избрании нового мэра. На первом же заседании, однако, выяснилось, что не менее одиннадцати членов муниципалитета погибли. К тому же большинство оставшихся в живых не могли явиться, так как страдали «атомной болезнью». Казалось целесообразным отложить выборы нового мэра до тех пор, пока хотя бы еще несколько членов муниципалитета смогут участвовать в совещаниях.

Но в конце концов избрание мэра стало настолько необходимым, что городские власти решили заполнить бреши в рядах муниципалитета оставшимися в живых городскими чиновниками. 22 октября 1945 года, то есть более чем через два с половиной месяца после атомной катастрофы, в одном из немногих уцелевших от пожара помещений ратуши был назначен новый мэр Хиросимы. В ратуше не было ни стульев, ни столов, а подушек и циновок явно не хватало: поэтому представителям населения Хиросимы пришлось расположиться на полу, покрытом брезентом.

— Это собрание самых именитых граждан города скорее смахивало на тайное сборище разбойничьей шайки, чем на совещание законно избранного и вновь созванного народного представительства, — вспоминает Синдзо Хамаи, которого в знак признания его выдающихся заслуг на посту начальника снабжения назначили заместителем мэра.

Мэром по предложению присутствующих был избран Кихара, пожилой и болезненный человек, долголетний депутат Хиросимы в японском парламенте. На первых порах оккупационные власти не возражали против его кандидатуры, несмотря на то что Кихара был много лет выразителем интересов крайне националистски-монархической группы Ёкусан в парламенте в Токио. Когда впоследствии этого первого послевоенного мэра Хиросимы пришлось сместить из-за его одиозного прошлого до истечения срока полномочий, он с полным правом мог сказать, что никогда не добивался назначения на этот пост, требовавший в те времена истинного самопожертвования.

— Мне кажется, что ни одному из многочисленных мэров города Хиросимы не приходилось работать в таких невыносимых условиях, как Кихара, — рассказы-

вает Синдзо Хамаи. — В помещении, в котором мы разместились, не было ни дверей, ни оконных стекол. Ничего, кроме четырех покосившихся, почерневших от дыма стен. Даже полы — и те стали покатые... В кабинет мэра и в комнату его заместителя зимой залетал снег, покрывая столы и стулья сверкающей белой пеленой. В холодные дни мы сидели за письменными столами в шапках и пальто. Угля не хватало, и приходилось собирать всякий хлам, от которого, если он вообще загорался, все помещение наполнялось клубами черного дыма.

6

Наконец-то в Хиросиме вновь появилось что-то вроде городского самоуправления, однако это была организация без четких полномочий, почти без средств и, можно сказать, без исполнительных органов, которые могли бы добиваться осуществления изданных приказов. Дело в том, что большинство полицейских из страха перед оккупационными властями, заявившими, что они примут соответствующие меры против представителей старого режима, предпочли либо выйти в отставку, либо временно перебраться в штатских.

5 ноября местная газета «Тюоку симбун» дала критический обзор положения, создавшегося в городе. Газета писала:

«В учреждениях скапливаются кучи бумаг и документов, ожидающих своего рассмотрения. В том, что нам до сих пор не удается покончить со всеобщим хаосом, виноваты в первую очередь укоренившиеся бюрократические методы. Высшая инстанция города — мэрия — хранит молчание.

Строительство жилых домов. С 15 ноября город должен был приступить к массовому строительству. Запроектировано возведение 5000 домов ежегодно и одного магазина на каждые 25 семейств.

Газ. Никаких перспектив до конца года.

Рыба. Должна появиться на рынке в конце года.

Мосты. Типичный пример недопустимой медлительности властей.

Электричество. Плана все еще нет.

Городской транспорт. В настоящее время курсируют всего 10 трамвайных вагонов на главной магистрали; восемь вагонов ходят по направлению к Миядзиме; кроме того, функционируют пять городских автобусов. Таким образом, восемнадцать трамвайных вагонов и пять автобусов должны перевозить в среднем 42000 пассажиров в день. Городские власти надеются, что в скором времени к наличному транспорту прибавятся еще 5—6 вагонов».

Поздней осенью 1945 года появилась обманчивая надежда на то, что состояние больных лучевой болезнью улучшается. На вопросы представителей прессы врачи хиросимской больницы сообщили: «Число больных, находящихся на излечении после поражения атомной бомбой, снизилось в ноябре до трехсот. Все эти больные лечатся от ожогов или от заболеваний, которые не имеют отношения к радиоактивности».

Цензура, которую американцы ввели в сентябре для всех печатных органов, провозгласив одновременно «свободу печати», решительно запретила распространение какой бы то ни было информации о последствиях радиоактивного облучения людей, переживших бомбардировки в Хиросиме или Нагасаки. Тем охотнее она разрешала передачу из Токио за границу оптимистических заявлений, подобных сообщению газеты «Майнити симбун», о том, что число заболеваний так называемой «атомной болезнью» якобы снизилось «почти до нуля»*.

В результате не только в самой Японии, но и во всем мире возник необоснованный оптимизм в отношении последствий атомных бомбардировок для человеческого организма. Однако уже весной 1946 года было установлено, что число больных лучевой болезнью в больницах уменьшилось в осенние и зимние месяцы только потому, что люди не могли оставаться в холодных больничных палатах без окон и дверей. Доктору Хатия пришлось даже закрыть временно, на декабрь месяц, свою больницу, но отнюдь не из-за отсутствия больных

* В качестве курьеза нужно отметить, что 16 февраля 1946 года газета «Майнити симбун» осмелилась даже утверждать, будто на некоторых людей, находившихся на расстоянии трех и более километров от эпицентра взрыва, атомные излучения повлияли благотворно, способствуя их излечению от туберкулеза и язвы желудка.

лучевой болезнью, а просто потому, что его пациенты удирали домой, как только их семьи находили хоть какое-нибудь пристанище.

Примерно в это же время, как явствует из материалов «Тюгоку симбун», в самой Хиросиме становилось все беспокойнее из-за всеобщей социальной и моральной деградации населения. Почти каждый день газета сообщала о кражах, драках, изнасилованиях, убийствах. Имущество граждан оказалось под угрозой. Злоумышленники взламывали даже импровизированные деревянные почтовые ящики: содержимое брали себе, а сами ящики использовали на топливо.

Наконец в начале декабря 1945 года газета попыталась обобщить данные о возросшей преступности, рассказать читателям об этом тревожном явлении и вскрыть его корни.

«Только в ноябре, — писала она, — в Хиросиме и ее окрестностях было совершено столько же преступлений, сколько за все военные годы, вместе взятые. Подростки, помещенные в воспитательный дом в Удзине, шатаются по городу без дела. Особо участились случаи изнасилований. Основным очагом преступности является, по слухам, «черный рынок», на котором хозяйничают спекулянты особого, послевоенного типа — предельно наглые и безжалостные.

Газеты вскрывали злоупотребления военной касты, правительства и плутократии. Все это возбудило ненависть к тем, кто еще вчера принадлежал к правящей верхушке. Теперь некоторые элементы пытаются оправдать свои собственные преступления ссылкой на старые грехи других... Зачастую они говорят: «Бывший господствующий класс вдоволь наслаждался своими привилегиями. А сейчас и мы хотим воспользоваться своим законным правом воровать».

СИРОТЫ И ГАНГСТЕРЫ

1

Однажды, проснувшись утром, Кадзуо М. обнаружил, что пропали его сапоги военного образца, которые он получил, как и все пережившие атомную катастрофу, из конфискованных военных запасов. Он тут же заподозрил «фуродзи» — бездомных сирот, бродивших тысячами в разрушенном центре и предместьях города. Только старшие ребята сами были очевидцами катастрофы. Почти всех детей моложе одиннадцати лет еще до атомного взрыва вывезли вместе с их учителями в отдаленные деревни. Когда первые вести об атомной бомбе проникли в эти места, от ребят скрыли правду. Но вскоре в горные деревушки и рыбацкие поселки начали прибывать толпы беженцев из атомного ада, и школьники поняли: дома страшно что-то ужасное.

Затем к некоторым из эвакуированных детей пришли их родители, бабушки или дедушки и забрали своих малышей. Однако большинство ребят ждали напрасно. Им уже давно было невозможно сидеть за партами. Долгие часы, а то и целые дни они в тревожном ожидании простаивали на вокзалах или на обочинах дорог, ведущих в Хиросиму, надеясь встретить своих близких.

В конце концов наиболее предприимчивые мальчишки потеряли терпение; они решили сами вернуться в родной город, чтобы разыскать своих родителей. За ними потянулись другие, менее смелые, а потом взбунтовались и девочки.

Пешком, на попутных машинах, краденых велосипедах или «зайцем» на поездах они добирались до разрушенного города.

Но лишь совсем немногие нашли отцов или матерей. Шесть тысяч, а по некоторым данным, даже десять

тысяч детей Хиросимы остались круглыми сиротами. Теперь они пытались перебиваться собственными силами. Кое-кто из них обосновался у родственников, переживших атомный взрыв. Но все взрослые — бабушки, дедушки, дяди и тети — сами голодали. К тому же большинство из них были больны. Они требовали, чтобы подростки помогали им по хозяйству или приносили «с улицы» что-нибудь поесть. Ребята решили: лучше жить в одиночку!

Сироты становились разносчиками газет, чистильщиками сапог, торгашами, сводниками, чернорабочими, но большей частью ворами и грабителями. Разве трудно проникнуть ночью в один из многочисленных наполовину отстроенных домов, что-нибудь стащить и немедленно сбыть с рук? Скупщиков краденого найти легче легкого.

2

Пробродив целый день по городу в надежде случайно напасть на след вора, стащившего сапоги, Кадзуо М. к вечеру очутился на рынке недалеко от главного вокзала Хиросимы, куда в конце концов стекались почти все краденые вещи.

Уже издали слышался шум толпы и виднелся яркий свет: «эки» (вокзал) опоясывали целые кварталы лавчонок. Сотни людей сгрудились вокруг небольших костров, которые обычно горели почти всю ночь. Бездомные сироты время от времени подбрасывали в них щепки. Прохожие, подходявшие поближе, чтобы погреться, должны были уплатить кому-нибудь из малышей две иены «за вход». Для круглых сирот это был один из наиболее верных (и наиболее честных) источников дохода.

Еще больше народу скапливалось в «лавках» и «ресторанах» — полуоткрытых, наскоро сколоченных деревянных бараках с электрическим освещением. 10 сентября в Хиросиме кое-где было включено электричество, но лампочек все еще не хватало. Поистине откровением и небывалым «техническим чудом» казался теперь этот холодный, ровный свет. В тесных проулках между бараками стоял едкий, назойливый чад харчевен; рыбу и рачков здесь жарили на всевозможных весьма подозрительных «маслах» вплоть до смазочного.

На открытых очагах китайцы варили мутную уху, грязноватую, похожую на стеклышки лапшу и овощи, скробенные разными пряностями. Корейцы предлагали сосочки жареного мяса, нанизанные на вертелы; об этом мясе говорили, что его достают на собачьей живодерне, расположенной за железнодорожным полотном.

В привокзальном квартале торговали всем — от «дзубуроку», чрезвычайно крепкого самогона из картофеля и метилового спирта, от которого многие слепли, до роскошных, но теперь никому не нужных свадебных кимоно и всевозможных полезных, но изрядно подержанных хозяйственных принадлежностей. Особенно велик был спрос на горшки и бутылки, нередко принявшие самые причудливые формы от «большого огня».

Толпа двигалась медленно. Людям хотелось вновь увидеть и ощутить жизнь, почувствовать ее запах и вкус. Нередко в этом густом потоке возникал затор. Вот подрались двое пьяных. А вот раздался чей-то крик: «Доробо, доробо!» («Вор, вор!»), хотя воришка, залезший в карман, уже давно успел скрыться в толпе.

Кадзуо медленно пробирался вперед. Около каждой лавчонки, где продавалась обувь, он останавливался и внимательно разглядывал «товар».

И действительно, там, вон там, стояли его сапоги. Тут не могло быть сомнений, он узнал их по размеру, по цвету, даже по складкам, образовавшимся на них.

— Эй, это мои сапоги. Мои! — сказал он, указывая на сапоги пальцем.

— Ну да, конечно, — ответил продавец. — За тридцать иен они будут твои — отдаю прямо-таки задаром.

— Эти сапоги у меня украли сегодня утром, а может, еще ночью. Не стану же я платить за свое же добро. Давай их сюда!

Лавочник, приземистый мужчина с длинными нечесаными патлами и со шрамом, никак не вязавшимся с его веселым лицом, по-видимому, ничуть не рассердился.

— Скажите пожалуйста! — сказал он, повысив голос, так как по опыту знал, что подобного рода инциденты привлекают покупателей. — Ты говоришь, у тебя украли сапоги? А как ты это докажешь?

Кадзуо протянул правую ногу.

— Да это же мои сапоги, девятый размер. Хочешь,

я их примеру. — Но голос его звучал не совсем уверенно: на самом деле сапоги, которые он заполучил, когда бесплатно раздавали обувь, были ему с самого начала велики.

Однако лавочник, казалось, слушал его сочувственно.

— Только без скандала, — сказал он. — Можешь их получить. На!

Но, когда Кадзуо протянул руку к сапогам, скупщик краденного смеясь остановил его:

— Неужели и ты станешь воровать обувь? Заплати-ка тридцать иен!

Кадзуо покраснел от гнева.

— Говорю тебе, что это мои собственные сапоги. Мы с отцом носили их по очереди. Они самое ценное, что у нас осталось.

— Ну, что же, раз вы их так цените, тридцать иен — это просто задаром, — заметил лавочник с усмешкой.

Кадзуо был не в силах больше сдерживаться. Чуть не плача от ярости, он кричал:

— Отдай мне мои сапоги, мои собственные сапоги!

Ища поддержки, он оглянулся; вокруг него собралась целая толпа, но никто даже не подумал заступиться за обокраденного человека. Зрителей интересовало только, чем кончится скандал.

Но тут лавочник дал понять, что смутьян ему надоел.

— Не могу же я столько времени возиться с тобой! — закричал он. — В последний раз: выкладывай тридцать иен или немедленно убирайся!

Кадзуо ошеломило нахальство продавца. Не помня себя, он заорал:

— Воровской рынок! Воровской народ! Вот до чего мы докатились! Весь народ — одна шайка воров!

Даже эти оскорбительные слова, по-видимому, не задели толпу. Она двинулась дальше, увлекая за собой рассвирепевшего Кадзуо. «Спектакль» кончился. Люди прохаживались в ожидании нового «представления».

3

В темном переулке среди развалин Кадзуо окликнул бездомный мальчуган. Словно издеваясь над Кадзуо, горевавшим об утраченных сапогах, он предложил:

— Эй, братец, почистить тебе ботинки?

Кадзуо на ходу отмахнулся от него, но мальчишка побежал рядом с несговорчивым клиентом и насмешливо проговорил:

— Эй, онэ-тян (старушка), у тебя плохое настроение?

Кадзуо показал на свои деревянные сандалии.

— Ты что, ослеп? — разозлился он. — Или хочешь посмеяться надо мной?

Он замахнулся, чтобы ударить мальчишку. Ведь такой вот малыш украл его сапоги. Может быть, даже этот самый. Мальчишка, привыкший ускользать от побоев, ловко отскочил. Когда Кадзуо встретился с его испуганным взглядом, он опустил руку.

— Сирота?

Мальчишка кивнул и опустил глаза.

— «Пикадон»? — спросил Кадзуо.

— Отец, мать, сестра, — загомосил мальчик, словно повторяя давно надоевшую присказку.

— Я знаю, что это значит. — Кадзуо похлопал мальчика по спине. — Я потерял своего лучшего друга. Его звали Ясудзи.

Он извлек из кармана бумажку в 10 иен и протянул ее мальчугану. Малыш тут же убежал, боясь, что Кадзуо одумается и отберет у него деньги.

— Береги себя, старина! — крикнул ему вдогонку Кадзуо, но тот уже не слышал его.

Так состоялось первое знакомство Кадзуо с «атомным сиротой». В ближайшие недели, однако, он познакомился еще с многими уличными мальчишками. Они разрешали ему участвовать в их ночных прогулках и разговаривали с ним, как со своим. Один из таких разговоров Кадзуо записал, считая его типичным.

«Я встретил четверых или пятерых «фуродзи». С ними были две совсем молоденькие «пан-пан» *. Они сидели вокруг костра, и я подошел к ним.

— Эй, ни-тян, если хочешь погреться, гони монету. Мы разводим огонь не для собственного удовольствия.

Я заплатил, как полагается, за «вход», и мне было разрешено присесть у самого огня.

Мой приход прервал их разговор. Но потом беседа возобновилась.

* Слово, возникшее в послевоенной Японии для обозначения незарегистрированных проституток.

— Что ни говори, — заявил один из мальчуганов, по-видимому самый старший, — вам, девчонкам, хорошо. Если вам уж совсем туго, вы все же можете кое-что продать и от вас не убавится. А нам остается только одно — воровать.

— Глупости, — заметила одна из «пан-пан». — Конечно, мы еще держимся. Да нам иначе и нельзя. Но я должна сказать, что мне все осточертело до смерти. Если бы я могла выбирать, я в тысячу раз охотнее стала бы грабителем с большой дороги.

Другая девчонка добавила:

— Ты права. Вечно мужчины — один сменяет другого, — и они делают с нами все, что хотят. А в конце концов еще что-нибудь подцепишь. И всегда одно и то же, одно и то же.

— Ну да. А за нами они охотятся, как за дикими зверями. Говорят, что мы крадем для собственного развлечения. Если бы они только знали...

— Перестаньте спорить, сан-тян, — сказала младшая девчонка. — Всем нам одинаково плохо — и парням, и девчонкам. Я давно говорила, что мы пропащие. Нам не на что надеяться».

4

Но не только голод, на который маленькие бродяги жаловались в присутствии Кадзуо М., толкал осиротевших детей Хиросимы на преступления и проституцию. Еще многое другое сыграло тут свою роль: жажда неизведанного, жажда приключений и свободы и возможность утолить эту жажду — неожиданно представившаяся огромная, невиданная возможность. То были соблазны хаоса.

Впоследствии, когда положение в Хиросиме снова нормализовалось, большинство детей, потерявших отца и мать, были размещены в сиротских домах, но они терзались воспоминаниями о страшной, но чудесной жизни вне закона и всеми силами пытались вернуть себе былую свободу. А между тем в большинстве воспитательных домов с ними обращались хорошо и питались они гораздо лучше, чем рядовые жители

Хиросимы. Но ни добрые слова, ни подарки, присылаемые из-за границы, не могли их удержать. В интервью с газетой «Тюгоку симбун» директор сиротского дома Камикури жаловался:

— Они убегают потому, что скучают по беспокойной, но свободной жизни улицы и не могут ее забыть. Некоторые дети ударили уже семь-восемь раз, даже самые робкие — и те раза два пытаются убежать.

И еще одно немаловажное обстоятельство: дети Хиросимы научились презирать взрослых. Во время паники они были очевидцами омерзительных сцен, когда люди ценою жестокости, эгоизма и беспардонности пытались спасти свою жизнь. Взрослые мужчины топтали ногами мальчиков и девочек, нередко отнимали у более слабых последний глоток воды. Ни с чем не считаясь, они пользовались своей силой. А после войны — об этом рассказывал один из директоров сиротского дома в Ниносима — часто случалось, что родственники присваивали себе то, что по праву принадлежало детям погибших от «пикадона».

— Ребята считают, — сказал он, — что до катастрофы взрослые лишь притворялись. Они поклялись, что никогда больше не поверят громким словам*.

С беспримерным терпением несколько человек в Хиросиме пытались в послевоенные годы вновь завоевать доверие детворы, утраченное по вине других взрослых. Так действовал, например, уже упомянутый директор Камикури. Как-то однажды он понял, что несправедливо наказал одного из своих воспитанников; тогда Камикури созвал всех ребят и в их присутствии, не говоря ни слова, так глубоко порезал себе руку, что из раны хлынула кровь. Потом он сказал:

— Я причинил боль невиновному. Чтобы искупить свою вину, я причиняю себе боль вдвойне. Если один из вас, рассердившись, покинет меня, я никогда не пере-

* Эти показания детей частично подтверждены статистическими данными, содержащимися в работах американских психологов, которые на основе изучения реакции людей в период паники утверждают, что из группы в 589 человек менее одной трети (153 человека) оказывали кому-нибудь помощь. При этом следует учесть, что рассказы опрошенных по понятным причинам приукрашены. Sparks, Woodbury, Miess, Panic among A-Bomb Casualties at Hiroshima. (Рукопись, отпечатанная на гектографе, Хиросима, 1957 год.)

стану разыскивать его, чтобы еще раз попросить у него прощения.

К числу людей, боровшихся за души бездомных сирот, принадлежал также Есиомори Мори, молодой учитель гимнастики, романтик по натуре; его так глубоко взволновало горе осиротевших детей, что он по собственной инициативе создал на укрепленном острове Ниносима, в трех километрах от города, приют для круглых сирот. Поначалу маленькие бродяги приезжали к нему отнюдь не добровольно. Мори приходилось их ловить в буквальном смысле этого слова и под охраной доставлять в их новый дом. Но вскоре ему удалось превратить печальные казематы острова, в которых после «пикадо-на» были размещены умирающие, в счастливое образцовое детское царство. Благодарности от властей он не дождался. В 1955 году местные политические интриганы обвинили Мори — как потом выяснилось, совершенно облыжно — в растрате общественных денег. Чтобы смыть этот позор, он в отчаянии покончил с собой на «сиротском острове», сделав себе харакири.

5

Только небольшая часть сирот нашла в первое время после атомной катастрофы поддержку и приют. Все остальные подростки были зачислены в особую «касту», обосновавшуюся в разрушенной Хиросиме, — в «касту» гангстеров. Бездомные сироты образовали низшую прослойку этой касты. Они добывали себе пропитание разными путями: некоторые стали карманными воришками или грабителями, другие — грузчиками, переносившими «черный рис», «черную рыбу», «черное масло». Подростки узнавали места, где можно было нелегально раздобыть спирт, попрошайничали, продавали сигареты, занимались сводничеством, толкая на проституцию малолетних, служили посредниками между покупателями и продавцами и находили не только все новые и новые «запасы сырья», но и новые «рынки сбыта».

Их хозяевами, повелителями и командирами были главари преступного мира. В те смутные времена они

заняли место блюстителей закона. Не менее полугодом вся власть в Хиросиме была в их руках.

Об этом господстве гангстеров в городе, перенесшем атомную бомбардировку, мне впервые рассказал доктор Хатия. Несмотря на то что Хатия очень резко отзывался о всеобщем разложении нравов, охватившем Хиросиму после «пикадона», он говорил о гангстерах, пожалуй, даже доброжелательно, так как они, по его мнению, некоторым образом заботились о порядке и принимали меры как против «случайных» воров, так и против матерых головорезов.

С одним из предводителей гангстеров доктора Хатия даже связывала, по его словам, своего рода дружба. Врач познакомился с Корэси Дз. в кабаке, принадлежавшем его другу Кацутани, в рыбацкой деревушке Дзигодзен. За стаканом сакэ Дз. с гордостью поведал о своем высоком положении в преступном мире, хвастаясь тем, что он нахватал после «пикадона» уйму денег. Дело в том, что он регулярно взимал с барачков в привокзальном квартале своего рода «покровительственные пошлины».

Дз. уверял, что он отпрыск жрецов буддистской секты нитирэн и родился в храме. Он считал себя образованным человеком и действительно обладал даром речи. Во всяком случае, этот преступник умел весьма увлекательно рассказывать о «подвигах», совершенных им во время гангстерских междоусобиц. Его коронным номером, который запомнился доктору Хатия, был рассказ о том, как он победил когда-то целую свору конкурентов, гнавшихся за ним, потому что он пристрелил их предводителя. Дз. заманил своих преследователей в палатку цирка Яно, в котором он в то время «работал», и в конце концов спасся от них, выпустив из клеток всех львов.

Этот «большой начальник» неутомимо ковылял на своей деревяшке по «своим районам» в Хиросиме и ее окрестностях или трясся на мотоцикле по разбитым дорогам. Его деревянная нога так визгливо скрипела, что он получил прозвище «Дзи-дзи». Волосы Дз. стриг в соответствии с тогдашней модой. Как и другие гангстеры, он подражал американским солдатам. В то время все преступники в Хиросиме стригли себе волосы на американский манер и шили куртки по образцу

тесно облегающих «эйзенхауэровских пиджаков», которые носили победители. Свою речь гангстеры сдабривали сленгом, усвоенным из кинокартин.

Дз. гордился тем, что он якобы не простой преступник, а преемник «кёкаку» — «рыцарей-разбойников» из народных преданий, которые помогали беднякам и грабили богачей. В один прекрасный день доктор Хатия поймал его на слове.

— Послушайте, — начал он, — вот уже несколько дней, как в наших краях орудуют воры. Они отнимают последние крохи у людей, и без того потерявших из-за атомной бомбы почти все. Это ведь ваши «ко-бун» (приятели), не так ли? Неужели вы не можете прекратить это безобразие?

Дз. ответил:

— Хорошо, что вы меня не стесняетесь, господин доктор. Со мной не пропадете! Если у вас что-нибудь стащат, сразу говорите мне. Вам немедленно вернут вашу вещь, а если я не смогу ее сразу разыскать, вы получите взамен что-нибудь еще лучше.

Доктор Хатия считает, что гангстеры не только более или менее открыто сотрудничали с полицией, но и поддерживали связь с представителями оккупационных властей. В особенности когда дело касалось так называемых «третьих национальностей», под которыми подразумевались корейские и китайские эмигранты. Десятки лет японцы обращались с ними как с неполноценными людьми. Теперь же, борясь против них, полиция сговаривалась с фактически легализованными ею преступными шайками. Это объяснялось тем, что корейцы и китайцы были объявлены «освобожденными национальными меньшинствами», и немногочисленные японские блюстители порядка официально не могли против них ничего предпринять. Поэтому они использовали гангстеров как своего рода «заградительный» отряд. В районе вокзала нередко вспыхивали форменные сражения между преступными элементами Хиросимы и проезжими корейцами, пытавшимися наскоро, пересаживаясь с одного поезда на другой, поживиться чем-нибудь в лавчонках на «черном рынке».

Впрочем, гангстерам уже несколько сот лет жилось в Хиросиме весьма привольно. Испокон веку «ока-гуми» (слово «гуми» означает «шайка») верховодила на строй-

ках, в особенности на строительстве дорог. Она вербовала рабочую силу среди уголовных элементов, число которых никогда не убывало. В руках «ока-гуми» до атомной бомбардировки был сосредоточен также контроль над весьма процветающими увеселительными кварталами с их домами терпимости, барами, кабаре и игорными домами.

В послевоенное время еще одна группа гангстеров обеспечила себе власть и влияние в Хиросиме. То была «мураками-гуми» — шайка, в число главарей которой входил уже упомянутый выше «Дзи-дзи». «Мураками-гуми» взяла под свой контроль «черный рынок». Ее «боссы» стали, таким образом, «защитниками» спекулянтов и организаторами всех «побочных заработков», как, например, карманных краж, попрошайничества, торговли наркотиками и, наконец, проституции, особенно процветавшей в привокзальном квартале.

«Босс» Дз. принимал также участие в различных темных делах, связанных с восстановлением города. Характерно, что «почетным предводителем» «мураками-гуми» был назначен владелец завода торпед Исида, который стал во время войны миллионером. Предводителей гангстеров и разбогатевших на войне спекулянтов нельзя было обвинить в скупости. Когда им удавалось сорвать порядочный куш, они устраивали банкет для всех жителей близлежащей деревни, в которой до поры до времени скрывался господин Исида.

На этих пиршествах рисовая водка лилась рекой и каждый приглашенный находил в особой деревянной шкатулке лакомства, стоившие баснословно дорого, так как их почти невозможно было достать.

Выпив, Дз. начинал возмущаться тем, что мелкие карманники и случайные воришки, лишь после войны приобщившиеся к «почтенному ремеслу воровства», нарушали «кодекс чести» воровской «гильдии», который запрещал обкрадывать бедняков. При этом Дз. не допускал возможности, что «новички» подражали именно ему, популярному «боссу» и «герою», считая, что честным путем ничего не добьешься. Их преклонение перед ним вызывало у него отвращение, в лучшем случае презрительную усмешку.

ДОСКА УСОПШИХ

1

Как ни деморализовала «бомба» большинство населения Хиросимы, все же нашлись люди, в душе которых пережитые ужасы вызвали какие-то новые, сильные чувства. Таким человеком оказался Итиро Кавамото.

Я познакомился с ним лишь через двенадцать лет после «того дня». Кавамото был тогда «лягушкой»: незадолго перед этим он начал работать «сэндвичменом» *, обслуживая одну из гостиниц Хиросимы, и ему в качестве спецодежды дали маску «каппа» — легендарного существа, наподобие лягушки, которое якобы пошаливает в прудах японских храмов, а на самом деле живет только в воображении специалистов по части рекламы.

— Вначале я думал, что недолго вынесу это занятие, — рассказывал он. — Когда я проходил по оживленным улицам центральной части города с плакатом на спине, который уже через час становился невыносимо тяжелым, мне казалось, что все люди смотрят только на меня, а не на текст рекламы. Сначала меня заставляли носить короткий желтый плащ и повязку на одном глазу. Словно я пират. Вид у меня был очень смешной, и мне было стыдно. Но в один прекрасный день ко мне подбежала девочка лет одиннадцати. Некоторое время она шла рядом со мной, мурлыча песенку о «сэндвичмене», которую Рё Икэбэ поет в одном фильме. В песенке есть слова: «Сэндвичмен, сэндвичмен, ты действительно

* Буквально «человек-реклама», то есть человек в буржуазном обществе, который, не имея другой работы, вынужден за незначительную плату носить по улицам прикрепленные на спине и груди щиты с рекламными объявлениями. — *Прим. ред.*

известен всем». Я погладил ее по головке и сказал: «Спасибо тебе! Спасибо!» С тех пор меня не смущало, что на меня все глазели, и я выполнял свою работу даже с охотой. Трачу я на нее всего четыре часа в день — по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям от шести часов пополудни до десяти вечера. Так что остается достаточно времени на все прочие дела.

Чтобы узнать подробнее о «прочих делах» Кавамото, мне захотелось встретиться с ним еще раз. Почти каждый человек в Хиросиме, которого я расспрашивал о последствиях атомной катастрофы и об истории восстановления города, обязательно упоминал этого простого поденщика. Его знают фактически все жители Хиросимы, и не потому, что четыре раза в неделю он пешком или на старом, покореженном велосипеде проносит по городу плакаты, а потому, что Кавамото дарит людям то, что в наши дни никто не отдает бесплатно, — свое время.

Если какой-нибудь больной и безработный человек, переживший «пикадон», нуждается в помощи, если кому-нибудь нужен совет, а то и мозолистые рабочие руки, если требуется посредник для разрешения спора или человек, который два-три часа мог бы посидеть с детьми, — Итиро Кавамото, тощий, маленький человечек с длинным носом и печальными глазами, оказывается тут как тут.

Он мог бы иметь хоть и скромную, но обеспеченную, спокойную жизнь, работая электромонтером. Быть может, он стал бы уже инженером, однако «бомба» опрокинула все его жизненные планы.

— Какой смысл «делать карьеру» в наше время — время, когда могло произойти это страшное событие? — говорит Итиро Кавамото. — Усилия людей следует наконец направить на то, чтобы помочь окружающим, чтобы служить им, просвещать их и бороться за предотвращение атомного кошмара в будущем, — пусть он никогда не повторится.

Кавамото говорил без всякого пафоса, с застенчивой улыбкой, словно прося прощения за свои громкие слова. Вероятно, он вообще не произнес бы этих слов, если бы я не стал расспрашивать его.

Мой «разговор» с поденщиком альтруистом Итиро Кавамото длится вот уже более двух лет. Мы начали его в ветхом доме под сенью «атомного купола», у входа в который высечена надпись «Atelier pour la paix et l'amitié» («Павильон мира и дружбы»), и продолжали потом на бумаге, из недели в неделю обмениваясь письмами, в чем нам помог наш общий друг Каору Огура. Мало-помалу я узнал всю жизнь Кавамото. Только об одном ее периоде он долгое время ничего не хотел рассказывать — о дне 6 августа 1945 года и о времени, непосредственно следовавшем за этим днем.

Когда я спросил Огуру, чем это объясняется, он написал мне: «На ваш вопрос, почему Кавамото говорит, в сущности, лишь о том, что произошло начиная с 1948 года, он (Кавамото) отвечает, что о предыдущем периоде он сможет писать, только когда у него будет много свободного времени и когда он полностью овладеет собой. Ибо это были годы тяжелых страданий, и он не в силах говорить о них вскользь в конце напряженного дня».

Я уже ни на что не надеялся. Моя рукопись была закончена, и издатель объявил о предстоящем выходе книги. Но тут вдруг Кавамото прямо-таки «завалил» меня своими воспоминаниями о первых днях после атомного взрыва. У него появилось много свободного времени после того, как он попал под мотоцикл на одной из главных улиц Хиросимы и ему пришлось долгое время отлеживаться в клинике. Здесь, в больничной палате, он впервые рискнул вспомнить о начале послевоенного времени. Теперь он мог говорить даже о том потрясающем событии, которое, как он уже раньше намекал, перевернуло всю его жизнь.

Это произошло вскоре после «пикадона». Кавамото поступил добровольцем в одну из спасательных команд. Ему было всего шестнадцать лет. Рабочие и служащие электростанции Сака, издав далеко наблюдавшие за гибелью соседней Хиросимы, уже седьмого августа начали предпринимать регулярные рейды в разрушенный город: они спасали своих родственников и их домашний скраб. Несмотря на ужасы атомного взрыва, членов спасательных экспедиций охватила жажда приключений, своего рода нервный подъем. Это явление было характерным для

тех дней. Многие люди, счастливо избежавшие гибели, впали в то время в странный экстаз, в непонятное воодушевление. Нередко ими овладевала почти истерическая веселость. Когда, например, грузовик спасательной команды из Сака, украшенный фирменным флажком, проезжал мимо какого-нибудь медленно тащившегося воинского подразделения и смертельно усталые солдаты испуганно отдавали честь, полагая, что они встретились с начальством, это недоразумение казалось молодым людям на грузовике невыразимо комичным, и они несколько минут хохотали до упаду.

Но потом их быстро отрезвляла «страшная вонь, от которой люди почти теряли сознание». Они видели трупы, «свернувшиеся клубком, как обезьяны и змеи в старых китайских аптеках», видели арестантов с синими повязками, которые специальными крючьями, похожими на гарпуны, вылавливали мертвецов из реки. Трупы нанизывали на эти крючья и бросали потом на что-то вроде железной решетки, как рыбу, приготовленную для жаренья.

Десятого августа, в день, повлиявший на всю дальнейшую судьбу Кавамото, спасательная команда из Сака возвращалась домой раньше, чем обычно. Рабочие, не говоря ни слова, опустив головы, закрыв платками носы, а некоторые и глаза, ехали домой в поселок, почти не пострадавший от бомбардировки.

Тут оно и произошло. Опасаясь прокола шин, шофер вел грузовик очень осторожно. Часто машина останавливалась, так как на дороге валялись осколки стекла, гвозди и прочий хлам. Грузовик шел так медленно, что Кавамото мог разглядеть неподвижные лица мертвецов, лежавших на обочинах дороги. Одно из них приковало его внимание. Одно-единственное. Глаза на нем вдруг раскрылись. Они смотрели на Кавамото. Тело «мертвеца» оставалось недвижимым, но белки его глаз медленно вращались слева направо, сверху вниз.

— Он жив. Там лежит живой человек! — крикнул Кавамото солдатам, которые своими длинными гарпунами очищали дорогу от трупов.

Несколько солдат подняли головы. По-видимому, они не расслышали слов Кавамото. Между тем водитель грузовика, обрадовавшись сравнительно чистому отрезку пути, дал газ и поехал быстрее.

— Не забирайте его, не сжигайте! Он жив! Там лежит живой человек! — снова крикнул Кавамото, но он был уже далеко, и люди с крючьями не могли его услышать. Они небрежно махнули рукой по направлению к удалявшемуся грузовику, думая, что их приветствуют, и снова принялись за свою печальную работу.

В ту ночь Кавамото не мог заснуть. Его непрерывно мучил вопрос: почему он не соскочил с грузовика? Может быть, ему удалось бы спасти человека! Ведь они, наверное, его живьем... — Он был не в силах додумать эту мысль до конца. Ночью он разбудил товарища, спавшего рядом с ним в общежитии электростанции, и начал шептать:

— Скажи, почему ты не остановил машину? Ты же слышал, как я кричал, все вы слышали. И ты тоже видел его, видел, что он лежал на обочине дороги.

— Оставь меня в покое, — ответил товарищ. — Можешь жаловаться «господину Б»*, сбросившему атомную бомбу. Тот, кто лежал на дороге, все равно погиб бы. Сиката га-най — ничего не поделаешь. Спи, дружище.

3

«Сиката га-най...» Так говорили все в Сака. Но неужели и впрямь ничего нельзя было сделать, чтобы прекратить эти ужасы? Кто-то должен был начать. Но как? Воспоминания о Хиросиме и о временном госпитале в Сака неотвязно преследовали Итиро, словно демоны на картинках буддийских храмов, которые ему когда-то показывала мать.

Мать его была благочестивой буддисткой. Вероятно, поэтому после смерти своего мужа она с десятилетним Итиро вернулась на родину из Перу, куда семья в свое время эмигрировала.

— Тот, кто в своей прошлой жизни содеял зло, рождается вторично в образе лошади или быка, — наставляла мать сынишку. — Хозяева бьют их, а когда они старятся и не могут работать, отводят на живодерню. Иной злодей, правда, рождается вторично в обличье человека, но тогда его жизнь на этой земле склады-

* Японское прозвище американских бомбардировщиков «Б-29».

вается так, что с ним обращаются сурово и жестоко, как с рабочим скотом.

Переживания последних дней лишили Кавамото сна; ворочаясь на своем рваном «футоне» (матраце), он спрашивал себя:

— Чем же провинилось такое великое множество людей, перенесших неопишуемые страдания в сожженной Хиросиме? Не может быть, чтобы все они были неисправимыми грешниками в прошлой жизни... Но почему тогда столько людей погибли ужаснейшей смертью от «пикадона»?

Много лет спустя, рассказывая о том, как он усомнился в религии матери, Кавамото говорил мне:

— Человек из другого мира, такой, как вы, будет, вероятно, смеяться над этим религиозным бредом. Но меня мои сомнения потрясли. Я ведь не знал никакой другой веры. И тут мне в голову пришла страшная мысль: если все, во что я верю, обман, значит, на свете вообще не существует божественной силы.

Вскоре после заключения перемирия объятый душевной тревогой юноша отправился в соседнее местечко Окоугайта, где в последние недели войны он проходил ускоренное военное обучение. Кавамото надеялся, что начальник училища поможет ему разобраться во всем.

— Начальник встретил меня приветливо, и мы поговорили с ним о самых разных вещах, — рассказывает Кавамото. — В конце концов он посоветовал мне два раза в день переписывать «императорский эдикт о воспитании». «Это, — сказал он, — придаст тебе уверенность и бодрость». Я так и поступил. Но через месяц я бросил переписку, так как стал замечать, что она мне не помогает.

Сам того не сознавая, Кавамото уже в то время вступил на новый путь. Два совершенно незнакомых человека помогли ему своим примером. Во время одной из поездок в Хиросиму вместе с товарищами из Сака Итиро увидел девушку, трогательно ухаживавшую за безнадежно больным. Через некоторое время он встретил полицейского, с необычайным терпением кормившего размоченным хлебом ребенка, мать которого свалилась на обочине дороги. Кавамото казалось, что среди дикого, бессмысленного хаоса по-настоящему имело смысл только то, что делали эти двое.

«Чем больше я размышлял о своих переживаниях, — пишет он, — тем явственнее слышал внутренний голос, внушавший мне: самое важное в жизни — помогать всем попавшим в беду, всем страждущим».

Шли дни, и Кавамото, чтобы забыть умирающего, которому он так и не подал руку помощи, ухаживал за всеми смертельно ранеными людьми, размещенными в Сака — в школе и в детском саду.

О своей работе в тот период он рассказывает:

— Однажды я принес совершенно искалеченного человека во временный госпиталь, до которого было несколько километров пути. В госпитале было всего два-три санитар-добровольца, и работали мы нередко всю ночь при свечах. Вначале мы мыли руки где придется, но потом, когда пронесся слух, что бомба была отравлена, мы стали спускаться к морю и смывать гной соленой водой с песком, до тех пор пока от нас переставало пахнуть больницей. Нет, мы не хотели погибнуть той страшной смертью, какой гибли все эти несчастные. Мы хотели жить.

4

Целыми сутками Кавамото не спал и питался впроголодь. Он страшно исхудал и вскоре уже не мог работать, как прежде. Он до того ослабел, что все валялось у него из рук. Однажды он придавил себе ногу тяжелой электрической батареей подводной лодки, которую нужно было переправить из военно-морского склада на электростанцию. Несколько дней ему пришлось пролежать в постели. У товарищей по работе деятельность Кавамото в качестве санитаря, ухаживавшего за больными и умирающими, эвакуированными в Сака, не вызывала никакого сочувствия. Они ругали его и осыпали насмешками:

— Заморыш! Недотепа! Урод! Тряпка несчастная! Отпусти! Лучше я сделаю сам. Противно смотреть, как ты берешься за дело.

Некоторое время Итиро молча сносил насмешки. Он по возможности избегал всякого общения с другими рабочими. Даже в баню шел крадучись, последним,

когда свет был уже потушен, а вода почти совсем остывала: Итиро не хотел, чтобы товарищи увидели его исхудалое тело, покрытое со времени «пикадона» сыпью. Он чувствовал себя больным, безобразным, несчастным, презираемым всеми, одиноким: ведь на свете не было ни единого человека, с кем бы он мог поговорить по душам.

Однако все попытки Кавамото остаться незамеченным ни к чему не приводили, над ним вечно подтрунивали.

— Почему ты так мало ешь, Кавамото? Разве ты не хочешь окрепнуть? Почему ты такой тощий? — только и слышал он в час обеденного перерыва и в конце рабочего дня.

Гордость не позволяла юноше признаться в том, что он отдавал свои пайки больным, а сам неделями заглашал голод травами, водорослями или скорлупой крабов, которые находил на берегу моря и на скалах. Он коротко отвечал товарищам:

— Таким я родился.

— Уж лучше бы тебе вовсе не родиться, — сказал ему однажды инженер Ситахара, которого он до сих пор считал своим другом.

— Разве я этого просил? — крикнул Кавамото. — Я об этом не просил.

Его охватила безумная злоба против покойных родителей, ведь по их вине он очутился в этом мире — печальном, гнусном, бессердечном и бессмысленном. Потом он вскочил, побежал в общежитие и вытащил что-то из-под своего матраца. То была доска усопших с именами предков. Когда-то он сам ее вырезал и раскрасил. Изюм всех сил он швырнул ее о стену. Но доска была из крепкого дерева. Она не раскололась, а лишь продырявила обитую бумагой раздвижную дверь.

Товарищи поняли, что на этот раз они зашли слишком далеко. Несколько человек побежали вслед за Кавамото, крича:

— Стой, Итиро, стой! Это кощунство! За это тебя бог покарает!

— К черту! — заорал Кавамото. — Лучше бы я не появлялся на свет. Тогда вы не могли бы издеваться надо мной и я никому на земле не был бы в тягость.

Его невозможно было удержать. Не помня себя он побежал в кухню, схватил топор и помчался с ним обратно в общежитие.

Рабочие разлетелись врассыпную. Они боялись, как бы Кавамото не кинулся на них с топором.

Но Кавамото не обращал на них никакого внимания. Стоя у окна, он рубил доску усопших, так что только щепки летели.

А потом он бросился на свой матрац, накрылся с головой и заснул мертвым сном.

Часть вторая

НАЧАЛО

(1946—1948)

МЕЧТАТЕЛЬ

1

Первая «послеатомная» суровая зима еще не успела кончиться, а городскому управлению Хиросимы уже удалось добиться заметных успехов в борьбе против равнодушия и анархии.

Со времени «пикадона» в городе не работал водопровод. Предпринимая отчаянные и бесплодные попытки остановить огненный шквал, люди в тот кошмарный день 6 августа до отказа открыли все водопроводные краны в домах, так что в течение многих часов вода лилась безостановочно. Вскоре напор сильно уменьшился, и теперь действовали только водоразборные колонки на улицах. Но и в них во время пожара открыли все краны, и вода била, как из гейзеров, доходила до точки кипения, а потом испарялась. Так были бессмысленно растрачены последние запасы воды, и в первые дни после катастрофы люди, пережившие ее, не могли утолить мучившей их жажды.

Правда, водохранилища вскоре снова наполнились водой, но, чтобы добиться нормального напора и доставки драгоценной влаги населению, следовало отремонтировать поврежденные бомбой трубы. На это были брошены саперные части флота и аварийные команды: они должны были обнаружить поврежденные места, зачастую находившиеся под грудами развалин, и заделать пробоины. Но взамен одного повреждения, которое удавалось устранить, ночью появлялось два-три новых. Измученные жаждой люди сделали немаловажное открытие: оказалось, что, просверлив отверстие в подземной водопроводной сети, можно получить

несколько капель влаги. Действуя на собственный страх и риск, жители Хиросимы открывали в «атомной пустыне» все новые и новые «источники».

Так началась неравная борьба между городскими властями и населением города. Прежде всего никто из жителей не подчинился официальному обращению, в котором населению предлагалось в своих же собственных интересах соблюдать дисциплину и брать воду только из немногих, далеко отстоящих друг от друга колонок. Несколько десятков городских служащих, которым полиция не оказывала никакой помощи, не могли противостоять десяткам тысяч готовых на все, изнывавших от жажды людей. Начальник водоснабжения Синохара явился к Хамаи и в отчаянии простонал:

— Мы бессильны!

К счастью, среди горожан, вернувшихся в Хиросиму в январе 1946 года с отдаленных театров военных действий в юго-западной части Тихого океана, нашелся энергичный гражданский инженер, по имени Масао Тэраниси. Он заявил, что готов возглавить борьбу за воду. Растерявшимся «отцам города» он сказал:

— Весь вопрос в том, у кого окажется больше выдержки.

Заместитель мэра Синдзо Хамаи немедленно назначил смельчака начальником водоснабжения и предоставил ему полную свободу выбирать себе помощников. Среди уволенных из армии солдат оказалось много крепких молодых людей, не нашедших себе работы; Тэраниси в первую очередь вербовал тех, кто, как ему казалось, жаждал приключений. Он отнюдь не скрывал, что его людям предстоит опасная работа, что действовать придется по ночам и притом в районах города, где орудуют ненадежные элементы. И нельзя гарантировать даже, что на них не нападут, так как многие гангстеры уже успели организовать продажу воды и попытаются, пожалуй, помешать восстановлению нормального водоснабжения.

По ночам, когда жители Хиросимы спали, в затихшем городе раздавался монотонный стук: чинились водопроводные трубы. Люди Тэраниси были вооружены ножами и организованы в специальные хорошо охраняемые «ударные группы», поэтому никто не осмели-

вался им помешать. Уже через месяц были видны первые результаты: из кранов закапала вода.

— Это только начало, придется еще потерпеть, — говорил Тэраниси жителям Хиросимы. — Но теперь вы собственными глазами увидели, что дело идет на лад. Подождите немножко, вскоре у каждого из нас будет вдоволь воды.

Население Хиросимы прониклось доверием к молодому инженеру. Люди все реже покупали «нелегальную» воду, брали ее из колонок или из просверленных собственными силами отверстий в трубах. И вдруг из всех водопроводных кранов, захлебываясь, громко булькающая, весело плещась, потекла вода.

Вода несла гражданам Хиросимы, пережившим атомную катастрофу, не только избавление от жажды и грязи. Для них это было нечто большее. Наконец-то они убедились в том, что на выжженной земле их родного города может возродиться нормальная, благоустроенная жизнь.

2

В начале января 1946 года при городском управлении Хиросимы была создана организация, основной задачей которой являлась подготовка к восстановлению города. Начальником ее стал гражданский инженер Тосио Накасима, имевший большой опыт градостроительства. В помощь Накасима была образована Дискуссионная комиссия по восстановлению, в которую вошли тридцать видных граждан Хиросимы, главным образом представители деловых кругов и политические деятели. Правда, эта комиссия не получила никаких полномочий, кроме права вносить свои предложения.

Приступила она к работе с большим воодушевлением, сразу же выдвинув множество прекрасных идей. Дело в том, что в Японии, если не считать города Саппоро (в северной части страны), до тех пор не существовало ни одного крупного населенного пункта, построенного по разработанным планам. Японские города росли стихийно и беспорядочно, планировка их не отвечала потребностям растущего населения и требованиям современного транспорта. Общий вид Хиросимы до катастрофы определяли кривые, узенькие, хоть

и уютные улочки и маленькие домишки с садиками. Теперь же было решено проложить широкие проспекты, возвести многоэтажные дома, разбить общественные парки — одним словом, сделать Хиросиму «самым современным городом в Ниппоне». «Превратим неудачу в удачу» — такой лозунг, по словам Синдзо Хамаи, выдвинула комиссия.

Однако уже на первых заседаниях комиссии по восстановлению выявились резкие разногласия между ее членами. Прежде чем наметить основные положения проекта «новой Хиросимы», следовало выяснить, что, собственно, будет определять лицо города в послевоенное время. Ведь Хиросиме приходилось, если можно так выразиться, менять свою «профессию». Еще со времени китайско-японской войны 1894—1895 годов, когда император Мэйдзи расположил там свой «дай-хоньэй», то есть свою главную ставку, основным источником дохода Хиросимы стала война. Каждый новый вооруженный конфликт, в который вовлекалась Япония, — русско-японская война, захватнические кампании в Китае и, наконец, «великая азиатская война» 1941 года — приводил к росту численности городского населения и к подъему материального благосостояния граждан. В городе вырастали все новые и новые арсеналы и цейхгаузы, казармы, учебные плацы и военные заводы. Теперь же, после тотального поражения Японии и связанного с ним разоружения, со всей остротой возникал вопрос: как Хиросима будет жить в дальнейшем?

Вот что рассказывает об этой дискуссии по принципиальным проблемам Хамаи:

«Один из членов комиссии заявил, что в будущем Хиросима должна жить за счет туристов. Эту идею одобрили многие выступавшие. Некоторые члены комиссии считали, что Хиросима должна стать прежде всего административным центром, городом правительственных учреждений и школ. Это предложение не имело успеха. Любопытно, что в конце концов все присутствующие сошлись на том, что на месте старой Хиросимы должен вырасти город мира и культуры».

Некоторые члены комиссии вносили довольно-таки фантастические проекты. В частности, те, кто мечтал сделать из Хиросимы город туристов. Они, например, предлагали видоизменить речной пейзаж Хиросимы

с помощью новых каналов, «мостов вздохов», живописных ресторанов на берегу и на воде и даже... гондол, которые предполагалось закупить в Италии. Хиросима должна была стать по их проекту «восточной Венецией». Кое-кто считал целесообразным превратить город в японский Монте-Карло, понастроив казино, набережных и пристаней для яхт. На бумаге вокзал Хиросимы уже перенесли с окраины в центр города. Члены комиссии мечтали о широких бульварах, о расширении университета путем постройки специальной библиотеки, посвященной проблемам всеобщего мира; кое-кто сгоряча предлагал даже создать в Хиросиме международную колонию художников и картинную галерею, во главе которых стоял бы Пикассо.

Вскоре «лихорадка проектирования» заразила не только официальные инстанции, но и весь город. «Создать все заново! — провозглашала молодежь, возвращавшаяся на родину. — Пусть Хиросима, ставшая символом атомной войны, превратится в великий светоч мира».

3

Приступив к работе, Дискуссионная комиссия по восстановлению начала сразу же весьма серьезно обсуждать вопрос о том, не следует ли вовсе отказаться от старой Хиросимы, от ее проклятой богом, отравленной, выжженной и размытой бесчисленными наводнениями земли и заново выстроить город на новом месте. Однако противники этого весьма радикального предложения указывали на новостройки, выставившие в городе на каждом шагу, и — хоть это были по преимуществу бараки — утверждали, что они являются своего рода выражением воли народа, желающего остаться на старом месте. К тому же при составлении смет очень быстро выяснилось, что «инфраструктура» города — лабиринт труб и проводов под выжженной землей — лишь отчасти разрушена и представляет большую ценность; строительство аналогичных новых подземных систем обошлось бы в условиях послевоенного времени чрезвычайно дорого, а потому не могло быть и речи о том, чтобы бросить все это на произвол судьбы.

Дискуссия была в полном разгаре, когда произошло событие, ободрившее даже тех, кто еще сомневался в возможности возрождения Хиросимы.

Около южной стены ратуши стояло несколько почерневших от гари вишневых деревьев; магистрат спас их от участи, постигшей почти все другие деревья Хиросимы, которые уже в первую зиму пошли на топливо.

Это были некрасивые деревья; в их причудливо изогнутых сучьях еще жило воспоминание о «большом огне». Тем не менее Синдзо Хамаи часто поглядывал из окон своего кабинета на вишни, пережившие катастрофу; в сумерках их болезненно искривленные силуэты казались привидениями.

А потом, в одно апрельское утро 1946 года, Хамаи, оторвавшись на минуту от своих бумаг, увидел то, на что перестал надеяться. Он поспешно спустился вниз и, уже стоя под самыми деревьями, понял, что не ошибся: на черных сучьях появился ослепительно белый молодой вишневый цвет.

Много сотен людей приходили в эти дни к убогим вишневым деревьям, ожившим за одну ночь. Только теперь они прониклись уверенностью в том, что их городу вовсе не суждено оставаться чуть ли не целое столетие атомной пустыней.

4

Когда Сатио Кано, эмигрант из Хиросимы, которого я посетил в одном из бесчисленных серых кварталов в пригороде Чикаго, вспоминал о той первой весне после гибели родного города, он внезапно преображался: плохое настроение исчезало, живое, симпатичное лицо светлело.

— Мы тогда действительно думали, что все человечество родилось заново и что нам, двадцатилетним, предстоит жить в справедливом, светлом и прекрасном мире — в оптимистических эпитетах у нас не было недостатка. Встречаясь в чайном домике «Музыка» на улице Энко-баси, мы предавались самым радужным мечтам. В этом чайном домике, внутреннее убранство которого подражало убранству швейцарской горной хижины, по-

давали жидкий чай и еще более жидкий кофе, зато в неограниченном количестве угощали классической музыкой, так как хозяину-китайцу удалось каким-то чудом спасти свою великолепную коллекцию пластинок. А какие там велись беседы! Длинные и возвышенные!

Я, так же как и большинство моих сверстников, был в то время уволен из армии. Там из меня готовили смертника — «живую торпеду». Это было, собственно, все, чему меня обучили. Теперь мне предстояло выбрать себе профессию, и я нашел ее совершенно случайно. В газете была напечатана статья поэта Хатта. Он сетовал на то, что, с тех пор как труппа «Сакура тай» погибла от атомной бомбы, в Хиросиме нет театра. Я всегда мечтал стать актером и тут же отправился к нему. С его помощью я собрал любительскую труппу. Мы назвали ее «Вешалкой». Ничем иным мы не хотели быть, только «вешалкой», чтобы можно было демонстрировать на ней пьесы современных, в первую очередь зарубежных, драматургов.

Вскоре наш коллектив был укомплектован. Мы раздобыли немного денег на покупку костюмов, грима, книг и плакатов. Правда, несколько странным, окольным путем. Один из членов нашей труппы узнал, что магистрат, заинтересованный в создании новых предприятий, выдает каждой вновь созданной фирме некоторое количество строго рационируемой рисовой водки: несколько бутылок сакэ считались теперь обязательным «инвентарем» любого японского предприятия.

Водку, ставшую редкостью, можно было моментально сбывать на «черном рынке» по спекулятивной цене. Прежде чем поставить первую пьесу, молодые любители драматического искусства «инсценировали» создание нескольких фиктивных фирм, используя при этом различные громкие имена. Фирмы эти держались на «сцене» лишь до тех пор, пока мы не получали и не продавали очередную порцию рисовой водки. В «новом мире» также приходилось прибегать к обману.

Члены нашего коллектива твердо решили ставить только западные пьесы, чтобы тем самым подчеркнуть свой отход от традиций «старой Японии». В доме Хатта, близ Хиросимы, мы репетировали «Привидения» Ибсена. Эту пьесу, в которой, как известно (правда, в сравнительно идиллических масштабах доатомного, XIX века),

рассматривается ставшая столь важной для Хиросимы проблема наследственности, мы сыграли на вокзале в одном из наспех отремонтированных залов ожидания; на спектакле присутствовали несколько сот потрясенных зрителей. Это был первый спектакль после атомной бомбардировки.

Как во всех подобных любительских коллективах, главным для нас являлось не качество постановок, а сплочение молодежи, происходившее в процессе репетиций и работы на сцене. В Хиросиме члены нашего кружка первыми ввели новые формы общения между молодыми людьми, отличавшиеся гораздо большей свободой, большим подражанием «западному» образцу. Неженатые молодые люди и девушки в нашей труппе встречались, не прибегая к сложным церемониям и без всякой таинственности; женщины находились у нас в гораздо менее подчиненном положении, чем это было принято в провинциальном городе Хиросима даже после объявленной «сверху» эмансипации женщин. Однако вначале только одна молодая девушка отважилась вступить в нашу труппу, и при выборе пьес приходилось считаться с отсутствием женского персонала, так как молодые актеры не соглашались выступать — в соответствии с традицией японского театра — в женских ролях, поскольку это было бы нарушением их программы «модернизации». Но мало-помалу и другие девушки прониклись доверием к нам и вступили в наш маленький коллектив.

— Однажды, — вспоминает Сатио Кано, — в какой-то пьесе по ходу действия одна из наших начинающих актрис должна была появиться в платье без рукавов. Под всевозможными предложениями она отказывалась выйти в таком наряде на сцену. В конце концов ей пришлось со слезами подчиниться требованию режиссера и переодеться. Но, когда мы увидели эту молодую актрису во время репетиции на сцене, нам стало стыдно. Только теперь мы поняли причину ее отказа. Рука девушки была страшно обезображена огромным атомным «келоидом». «Я этого никому, кроме врача, не показывала, — сказала она, рыдая. — Но ведь вы... вы мои друзья!» Эта девушка стала нашей лучшей актрисой. Только в нашей среде она чувствовала себя здоровым, полноценным и свободным человеком.

А потом случилось неизбежное: злые языки стали болтать, что Сатио Кано «интересуется только девушками» и что на репетициях мы ведем себя непристойно. Распространялись также слухи, будто в наш коллектив проникли коммунисты, чтобы превратить наш театр в «театр пропаганды».

— Все это было клеветой, — уверяет Кано. — Мы играли лорда Дансэйни, Элмера Райса, Синга, Диккенса. Разве они большевики? Да нет же, все дело заключалось в том, что мы были бельмом на глазу у «стариков». Я, как видите, эмигрировал из Японии — это случилось году в пятидесятом, — тогда я окончательно убедился, что мои надежды на новый, лучший мир потерпели фиаско и что у нас в Японии вновь процветают почти те же люди, что и до войны.

Я расстался с Сатио Кано у грязно-белых, давно не крашенных ворот мясоупаковочного цеха в беспросветном «цветном квартале» Чикаго. Отрывая от заработка, едва хватающего на то, чтобы кое-как содержать себя и свою немногочисленную семью, Кано оплачивает право посещать в свободное время театральный факультет «Института искусств». И на чужбине он все еще цепляется за свою мечту о театре.

5

В ту полную надежд весну первого послевоенного года в Хиросиме среди посетителей чайного домика «Музыка» часто появлялся худой, болезненного вида поэт, по имени Санкити Тогэ, ставший вскоре духовным руководителем всех молодых литераторов города. Правда, Тогэ часто казался им чересчур «умеренным» как в политическом, так и в литературном отношении, однако все понимали, что это человек незаурядной моральной силы и неподкупный художник: творчество Тогэ выходило за рамки однодневных «агиток». В июле 1946 года поэт был избран председателем «Сэйэн бунка рэммэй» («Объединения сторонников молодой культуры»), весьма левой организации, вокруг которой группировалось большинство художников и поэтов Хиросимы, переживших атомную катастрофу.

Тогэ родился в феврале 1917 года в семье, на протяжении многих лет борющейся против японского милитаризма. Его старшие братья и сестры были участниками

подпольного профсоюзного и антивоенного движения. Один из братьев попал в руки полиции и погиб в застенках. Санкити уже в юности заболел туберкулезом. И часто бывал прикован к постели. В один из таких периодов в нем пробудился интерес к христианской религии, и в 1943 году, еще во время войны, когда сочувствовать западным идеям было далеко не безопасно, Тогэ принял христианство.

Страшное событие — «пикадон» — придало работе поэта новый смысл. Тогэ пытался выразить в своих стихах то непостижимое, что ему пришлось пережить. Для молодых дарований он стал мудрым и терпеливым другом. Он учил их изображать в стихах не только возвышенные, высокаторжественные мгновения, как этого требовала традиционная японская поэтика, учил искать «своеобразную красоту» в обыденной жизни со всеми ее трудностями и во всем ее многообразии.

Тогэ считал, что в каждом человеке живет поэт или художник, и призывал своих сограждан писать «стихи о повседневной жизни», так как всем людям присуще стремление к творчеству. Действительно, в то время в Хиросиме, как мне сообщил Каору Огура, сочинять стихи начали представители самых различных прослоек населения. В стихах без определенного размера и без рифмы эти люди пытались описывать свою повседневную жизнь и тем самым по-новому осмысливать ее.

Чтобы обеспечить себе постоянный заработок, но вместе с тем и доказать, что вопреки чудовищным разрушениям, порожденным человеческой гордыней, в мире еще живет божественная красота, Тогэ открыл осенью 1945 года первый цветочный магазин в Хиросиме. Магазин назывался «Мидори» (зелень). А в августе 1946 года поэт открыл один из первых книжных магазинов в послевоенной Хиросиме.

В книжном магазине «Под серебристой ивой» («Хакуё сёбо») нередко всю ночь напролет, до самого рассвета, обсуждались новые работы писателей. Особую сенсацию вызвало в то время появление дневника молодой Синоэ Сёда, отец которой был одним из воротил военной промышленности. Тоненький томик дневниковых записей назывался «Дзангэ» («Раскаяние»). Писательница признавала в дневнике вину своей семьи, способствовавшей развязыванию мировой бойни, кото-

рая кончилась атомной катастрофой и привела к гибели самой этой семьи. Всеобщее внимание привлекла также книга под названием «Нацу-но хана» («Летний цветок»). Видимо, это был первый роман о «пикадоне». Автор его, Тамики Хара переселился из Токио в Хиросиму только во время войны; свой роман он посвятил жене, погибшей во время атомной бомбардировки. Впоследствии, в марте 1951 года, Хара покончил с собой из страха, что война в Корее превратится в новую атомную бойню.

Наиболее ярким документальным свидетельством об атомной катастрофе жители Хиросимы считали в то время книгу «Город мертвых». Автор ее, писательница Юкио Ота бежала в июне 1945 года после одной из разрушительных бомбардировок Токио в Хиросиму, надеясь найти там безопасное убежище. После атомного взрыва она провела три ночи под открытым небом в окружении мертвецов. Потом ее с симптомами лучевой болезни отправили в больницу. Целый месяц Юкио Ота находилась между жизнью и смертью. В октябре — ноябре 1945 года, еще лежа в постели, она рассказала о своих переживаниях. Однако книга Ота до поры до времени не могла выйти в свет, так как оккупационные власти, ссылаясь на третий параграф изданного Макартуром «Закона о печати», квалифицировали ее как сочинение, «направленное против интересов США». В «Городе мертвых» Ота писала, между прочим, что «самоуничтожение человека», свидетельницей которого она стала в Хиросиме, началось, в сущности, не с взрыва атомной бомбы, а гораздо раньше — с момента ее создания*.

* С помощью различных маневров цензура оккупационных властей отсрочила до марта 1949 года, но не смогла сорвать появление японского издания знаменитого репортажа «Хиросима», опубликованного американцем Джоном Гэрси в сентябре 1946 года в «Нью-йоркер». Произведения японских авторов о Хиросиме, которые вначале почти все были запрещены цензурой, после целого ряда запросов и протестов также были изданы. Только в отношении заснятого в августе — сентябре 1945 года в Хиросиме и Нагасаки документального фильма производства «Нитиё филм продакшн» главная ставка Макартура не пошла на уступки. Весь негатив фильма — 13 рулонов пленки — был конфискован в феврале 1946 года. Даже отдельные кадры, вырезанные из фильма, пришлось сдать. Но создатели фильма тайком, рискуя подвергнуться репрессиям, сняли копию фильма и зарыли ее в землю.

Среди многочисленных стихотворений, написанных в то время в Хиросиме и о Хиросиме, одно нашло особенно широкий отклик. Оно появилось в марте 1946 года в сборнике «Тюгоку бунка» («Культура Тюгоку»). В этом стихотворении, принадлежащем перу поэтессы Садако Курихара, с большой силой звучит «голос надежды в пучине отчаяния». Вот это стихотворение:

ВОЗРОЖДЕНИЕ

В подвале, где теснились лишь тени
живых и мертвых, чей-то крик
прорезал тьму. Не радости, а боли крик,
он все же утешенье нес
и заглушил те крики, что дотоле
не умолкая ни на миг, звучали.
И чья-то тень откликнулась. «Кричи, сестра,
кричи, — сказала тень. —
Я знаю все. Там на земле
моим призваньем было помогать
всем женщинам в тяжелый час».
И помогла она.
Невидимый во тьме родился новый человек.
Во тьме родился он,
из тьмы во тьму.
Хотя для света был он предназначен.
Но та, что помогла,
утетила и поддержала, —
ей света не увидеть. Не успел
свет утренней зари в подвал проникнуть —
она угасла.

6

Юкио Ота рассказала мне, что, выслушивая тогда, весной 1946 года, тот или иной фантастический проект возрождения Хиросимы, сочиненный кем-нибудь из ее друзей, она неизменно задавала отрезвляющий вопрос:
— А кто даст вам на это деньги?

Госпожа Ота — марксистка. Однако тот же самый вопрос задавал и Сигадзиро Мацуда, директор мотоциклетного завода «Тоё когё». один из крупнейших

предпринимателей Хиросимы. Присутствуя на продолжительных дискуссиях Комиссии по восстановлению, он пытался привить ее членам что-то вроде чувства экономической реальности, без конца повторяя:

— Вы строите воздушные замки. Как ни хороши ваши планы на бумаге, вы прежде всего должны спросить себя, какими денежными ресурсами располагает город. Только тогда станет ясно, на что мы можем рассчитывать.

Один из предпринимателей предложил, чтобы город начал скупать земельные участки, пока цены на них еще невысоки. По мере восстановления цены на землю, несомненно, повысятся, тогда магистрат сможет употребить полученную прибыль на финансирование проектов коммунального строительства, связанных с большими затратами.

Для этого, однако, уже на первое время требовался хоть какой-то капитал, а в «казначействе» Хиросимы было пусто, хоть шаром покати. На финансовых и промышленных тузов пока также нечего было рассчитывать. Свой и без того скудный капитал они куда охотнее вкладывали в более надежные предприятия, нежели в проект возрождения опустошенного атомной бомбардировкой города. Что же касается не в меру осмотрительных финансистов Токио, то они, все еще веря легенде об «отравлении земли Хиросимы» и о невозможности жить здесь на протяжении жизни нескольких человеческих поколений, проявляли величайшую осторожность и сдержанность, когда речь заходила о предоставлении Хиросиме кредитов.

Ну а как вело себя японское правительство? Мэр Кихара, председатель муниципалитета Ямамото и делегация от городского управления ездили в Токио, чтобы добиться специальных ассигнований на восстановление Хиросимы. В ответ им сказали:

— Вся нация переживает в настоящее время тяжелый финансовый кризис. В результате вражеских воздушных налетов разрушены сто двадцать городов. Хиросима не может претендовать на особую помощь, основываясь лишь на том, что она была уничтожена не обычными взрывчатыми веществами, а атомной бомбой.

Таким образом, оставалась лишь надежда на помощь со стороны американцев, ибо казалось, что каждое

упоминание о трагедии Хиросимы задевает особо чувствительную струнку в их душах.

В феврале 1946 года, воспользовавшись приездом иностранных репортеров, мэр Хиросимы Кихара попытался задеть эту струнку, заявив:

— То из ряда вон выходящее несчастье, которое мы пережили, обрушило на нас Америка. Поэтому Соединенные Штаты должны проявить особую заботу о восстановлении Хиросимы.

На это один из американских журналистов сердито возразил:

— А знаете ли вы, что натворила японская армия в Маниле и в Нанкине?

— Не знаю, — ответил Кихара.

Тогда начался перекрестный допрос мэра:

— Кем вы были во время войны?

— Я был членом Верхней палаты.

— Никогда не поверю, чтобы человек, занимавший такое положение, ничего не знал об этом, — заявил один из корреспондентов.

Разговор пошел совсем не по тому руслу, по какому хотел направить его мэр; речь шла уже не о субсидиях на восстановление Хиросимы, а о зверствах японских войск. В пылу спора перечислялись вчерашние злодеяния, а сегодняшние беды были забыты.

Несмотря на эту первую неудачу, летом 1946 года, после того как японские власти отказались предоставить Хиросиме специальные ассигнования, мэр Кихара снова сделал попытку повлиять на американцев. На этот раз он решил быть осмотрительнее. Он просил не денег, а для начала лишь доброго совета, надеясь, что за советом последуют и деньги. Американцы действительно прислали магистрату советника — молодого лейтенанта по фамилии Монтгомери. Его позиция, вспоминает Синдзо Хамаи, «всегда отличалась умеренностью. Внимательно рассмотрев наши проекты, он заявлял, что они прямо-таки превосходны».

Однако лейтенанту Монтгомери не хватало опыта практической работы, а еще больше — веса в глазах представителей тех отделов главной ставки союзников в Токио, которые распоряжались долларами. Впрочем, он недолго оставался в Хиросиме. После отъезда Монтгомери в течение многих лет аккуратно присылал городу

телеграммы в день 6 августа. И теперь еще многие в Хиросиме охотно вспоминают о молодом американце, так как он свободно изъяснялся по-японски и был человеком ненавязчивым и обходительным. Однако практически он вряд ли принес городу какую-нибудь пользу.

Монтгомери сменил другой иностранный советник по делам восстановления — австралиец майор С. А. Джервис. Джервис относился ко всему чрезвычайно серьезно, считая, что на него возложена весьма важная задача. Его планы «новой Хиросимы» были, пожалуй, еще грандиознее, чем планы, которые обсуждались во время дискуссий на заседаниях Комиссии по восстановлению. Он с ожесточением выступал против муниципалитета, представившего тем временем компромиссный проект восстановления, в котором почти ничего не осталось от первоначального широковещательного плана переустройства города, если не считать предложение разбить общественный парк и проложить бульвар шириной в сто метров. Майор Джервис прилагал огромные усилия, чтобы реализовать единственный, по его мнению, шанс на образцовое восстановление Хиросимы. Он не только совещался с ответственными лицами в ставке Макартура, но добился также аудиенции у брата японского императора, принца Такэмацу, ходатайствуя перед ним об оказании особой финансовой поддержки Хиросиме. Однако все оказалось напрасным. Японцев обстоятельства заставляли экономить, а политические деятели союзников считали, что предоставление Хиросиме специальных субсидий означало бы признание за собой неких особых обязательств в отношении этого города и, может быть, даже особой вины перед ним. Поэтому ни те ни другие ничего не желали сделать.

Разочарованный и больной австралиец вышел в конце концов в отставку. На прощание он выразил свои чувства в письме, адресованном городскому управлению:

«Я причинил мэру много огорчений, так как хотел добиться невозможного. Но во время моих поездок по Японии я увидел, что в стране нет ни одного крупного города, который был бы построен согласно принципам современного градостроительства, и я решил, что настала пора наверстать упущенное хотя бы в рамках одного города, но зато перестроив его кардинально. Впослед-

ствии это пошло бы на пользу не только гражданам этого города, но и помогло бы всем другим городам, так как у них появился бы образец для подражания. Однако, чем ближе я знакомился с условиями Японии, тем яснее сознавал, как трудно здесь чего-нибудь добиться. Надеюсь, все поймут, что у меня были самые лучшие намерения».

7

А в Хиросиме между тем шло временное, «дикое» строительство. Отстраивались первые школы — о них «отцы города» особенно заботились, несмотря на то что дети уже учились на открытом воздухе, в школах, получивших название «школ под голубым небосводом». Очищались и восстанавливались улицы; в город, совершенно лишенный тени, завезли несколько свежих зеленых деревьев. Бездомные люди, не спрашивая о «праве собственности» и не считаясь с чертежами муниципалитета, которые предусматривали ширину улиц не менее 40 метров, где попало сколачивали хибару за хибарой. Облюбовав какой-нибудь участок, они вбивали столб, прикрепляли к нему дощечку со своей фамилией, а потом тянули к «дому» электрические провода, причем только самые робкие обращались предварительно за разрешением на электростанцию. Проходило три-четыре недели, и еще одна семья получала крышу над головой. Недаром один из корреспондентов американской солдатской газеты «Старз энд страйпс» сравнивал дальневосточную Хиросиму 1946 года с городом золотоискателей на так называемом Диком Западе.

Японское правительство запретило иногородним селиться в городах, особенно пострадавших от войны. Но этот запрет отнюдь не удерживал тех, кто решил обосноваться в Хиросиме.

Переселенцы недолго думая присоединялись к коренным жителям Хиросимы, возвращавшимся на родину, и ни у кого не хватало смелости, да и не было практических возможностей, для того чтобы изгнать их из города. Большой частью это были люди, уже второй раз терявшие родину, — мужчины, женщины и дети.

которые бежали из оккупированных Японией заокеанских районов. Когда-то возомнив себя пионерами некоей подвластной японцам «новой Азии», представителями полновластной и высокомерной «элиты», они хозяйничали в Корее, Китае, Маньчжурии, Индокитае, Индонезии, Бирме, на Формозе и в Малайе. Теперь они, проскитавшись много недель по некогда поработенным ими районам, возвращались в хиросимскую гавань Удзина, откуда всего несколько лет назад их, «солдат Ниппона», провожали в захватнические походы.

— В Хиросиме никто не смотрит на нас свысока, — так объясняли новые граждане свое малопонятное на первый взгляд решение поселиться навсегда в наиболее пострадавшем городе Японии. Другие с циничной откровенностью говорили:

— До войны здесь жили четыреста тысяч человек. А теперь осталось всего только сто пятьдесят тысяч. Значит, в конце концов и для нас найдется место.

Примерно так же рассуждали честолюбцы и любители легкой наживы, которые приезжали в Хиросиму главным образом из района Осаки. Дельцы этого крупного портового города славятся в Японии своей оборотистостью. Про них говорят: «Куда бы ни упал осакский купец, вставая, он обязательно что-нибудь да прихватит с собой». Эти люди, уповая на свою ловкость, считали, что в разрушенной Хиросиме добьются успеха скорее, чем где бы то ни было.

Вскоре многим из честолюбивых и энергичных дельцов, без году неделя живших в Хиросиме, удалось опередить коренных граждан города. Жителей провинции Тюгоку еще до войны считали медлительными, апатичными, лишенными воображения, в особенности по сравнению с жителями крупных городов центральной части Японии. К тому же большинство людей, переживших атомную катастрофу, даже по прошествии года после «пикадона» не сумели преодолеть шока, вызванного этим чудовищным событием; они просто не находили в себе сил, чтобы ринуться в борьбу против «новичков». Как писала в одной из своих передовых статей газета «Тюгоку симбун», они еще многие месяцы после катастрофы пребывали в состоянии своего рода прострации.

Таким образом, в Хиросиме с самых первых дней возник антагонизм между людьми, пережившими атомный взрыв и составлявшими сначала большинство, потом только половину, затем одну треть и в конце концов лишь четвертую часть населения, и предприимчивыми «новичками», роль и численность которых постоянно возрастали. Этот конфликт, хоть он и редко проявлялся открыто, вскоре стал характерной чертой «новой Хиросимы».

Один из «новичков», переселившийся в Хиросиму из Осаки, обуянный жадной наживы, посягнул даже на то, чтобы захватить в свои руки продажу «сувениров», связанных с атомной бомбардировкой. Этим он лишил заработка жертву 6 августа — жителя Хиросимы Кикаву, тело которого было сплошь покрыто рубцами от ожогов.

В результате возникла безобразная война плакатов: переселенец из Осаки издевательски спрашивал своего конкурента, коренного жителя Хиросимы, на чем основано его право называть себя «атомной жертвой № 1» (что тот действительно делал ради рекламы). Под конец эта междоусобная война под сенью «атомного купола» приняла такой характер, что в Хиросиме с горькой иронией говорили:

— Если бы это было в их силах, они с удовольствием забросали бы друг друга атомными бомбами.

ЖИЗНЬ «ЗА СЧЕТ ПОБЕГОВ БАМБУКА»

1

Пилоты и пассажиры самолетов, пролетавших над Хиросимой в первые шесть месяцев после атомной бомбардировки, рассказывали, что их охватывало щемящее чувство стыда при виде огромного местами серо-черного, местами коричневого, как ржавчина, грязного пятна среди зелени полей и лесов. Однако весной и летом 1946 года Хиросима снова зазеленела. С высоты птичьего полета она казалась громадным садом. Каждый свободный клочок земли люди превратили в поля и огороды. Напротив ратуши росли хлебные злаки, а под «атомным куполом», где в стропилах гнездились ласточки, была посажена картошка, помидоры и капуста. Первые урожаи зерновых были скудными. Жители объясняли это тем, что радиоактивные лучи уничтожили полезные бактерии в почве. Зато урожай риса оказался более обильным, чем в обычное время, а некоторые корнеплоды выросли до таких гигантских размеров, что их демонстрировали друг другу в качестве диковин. Правда, скорее с тревогой, нежели с радостью.

Однако поля и огороды в самом городе не могли, разумеется, даже частично прокормить население Хиросимы, насчитывавшее уже около 200 тысяч человек. Запасы продовольствия, оставшиеся еще со времен войны, истощились, так что по карточкам теперь выдавали почти одну только травяную «муку», изготовлявшуюся из картофельной ботвы и сухой «железнодорожной травы».

«Женщины уверяют, что этой дрянью можно кормить только кроликов, — сообщала газета «Тюгоку симбун», — правда, они говорят так только на людях.

Дома же умудряются печь из горького порошка всевозможные «травяные пироги».

Все жители Хиросимы, у которых еще остался какой-то домашний скарб, тащили его в деревню, чтобы обменять на продукты питания. Для этой прозаической надобности было даже придумано поэтическое выражение, ставшее крылатым словом. Люди, едва сводившие концы с концами, не имевшие возможности подумать о завтрашнем дне, называли свою жизнь «такэноко-сэйкацу» — жизнью «за счет побегов бамбука». Дело в том, что верхушки молодых бамбуковых побегов состоят из множества нежных листочков, покрывающих друг друга; их едят как артишок, отрывая один листочек за другим, до тех пор пока ничего не останется...

В первые послевоенные годы в Японии, как, впрочем, и в послевоенной Западной Европе, дома крестьян буквально ломились от ценных вещей и денег. Недоверчивое деревенское население требовало, чтобы ему платили за все чистоганом, и собирало у себя в шкафах кучи бумажных денег. В деревнях в то время справлялись так называемые «иссоку-иваи» («однофутовые праздники»); во время этих праздников крестьяне складывали бумажные деньги кучками в фут высотой, чтобы похвастаться перед соседями своим вновь приобретенным богатством.

Сака, пригород Хиросимы, в котором жил Итиро Кавамото, являлся наполовину сельским районом. Многие рабочие электростанции занимались попутно сельским хозяйством. Кавамото часто наблюдал, как поспешно они прятали свое добро при появлении инспекторов, которым надлежало следить за аккуратной сдачей сельскохозяйственных продуктов, и как вытаскивали его опять, завидев «какусия» — городских спекулянтов.

Некоторую помощь Хиросиме пытались оказать американцы, выдавая из своих запасов желтую кукурузную муку, до тех пор совершенно неизвестную японцам; но их помощь оказалась каплей в море, она не могла смягчить нужду, царившую в Хиросиме. Не только в Токио и Осаке, но и в Хиросиме майские празднества 1946 года, впервые разрешенные после долголетнего запрета милитаристским правительством Японии, проходили под знаком голодных демонстраций. На транспа-

рантах, изготовленных из старых штор для затемнения, было белым по черному написано: «Мы голодаем!» Свободные субботние и воскресные часы — что также являлось завоеванием молодой демократии — большинство рабочих использовали лишь для того, чтобы собирать травы и древесную кору или же батрачить у крестьян за несколько горстей риса.

Оккупационные власти потребовали, чтобы Синдзо Хамаи, как видный чиновник, подал людям благой пример и публично заявил, что он впредь отказывается покупать на «черном рынке» рис. Хамаи подчинился приказу и в течение двух-трех недель переносил вместе с женой огромные лишения. В конце концов Хамаи прекратил эту демонстрацию гражданской доблести и снова стал покупать все необходимое на «черном рынке». Газеты поведали и другую аналогичную историю. Одному судье предложили на выбор: либо нарушать закон, чтобы быть сытым, либо медленно умереть голодной смертью. Судья избрал «третий путь» — самоубийство, считая это наилучшим выходом из положения.

Люди говорили, что голод можно заглушить курением: и стар и млад начали курить сигареты, свернутые из газетной бумаги. Стараясь забыть свои горести, многие напивались, как только представлялась возможность. При этом они пили что попало, в том числе и технический спирт. Кое-кто умирал от этого, многие слепли. Впоследствии они, как рассказывает Кавамото, выдавали себя за жертвы атомной бомбардировки. Это привело к тому, что людей, действительно потерявших зрение от «той» вспышки, нередко обзывали «пьяницами».

Небывалый спрос получил хиропон — отбивающий аппетит и вызывающий искусственное возбуждение наркотик, который давали в свое время «камикадзе» — летчикам-смертникам перед их полетами, а также солдатам десантных войск перед высадкой в тылу противника. Хиропон попал в руки торговцев наркотиками из разграбленных военных запасов.

На электростанции в Сака попойки также стали повседневным явлением. Рисовая водка и виски считались роскошью, которую можно было позволить себе только в исключительных случаях; вместо этого пили молочно-белую, отдававшую кислятиной жидкость, которую изго-

товляли из воды и ферментированных кусочков картофеля.

Кавамото никогда не участвовал в попойках. Но в конце концов ему надоели насмешки и приставания товарищей. Поднося ему чашку под самый нос, они подзуживали Итиро:

— Пей, малыш, тебе надо окрепнуть. Выпей залпом.

Как-то раз пятеро или шестеро товарищей добились того, что Итиро, преодолев отвращение и зажмурив глаза, выпил налитую ему бурду.

— Смотрите-ка, он пьет! Наконец-то! Выпил! — кричали они наперебой. Ну как, понравилось? Сразу согревает, верно?

Кавамото задрожал от отвращения.

— Кислятина! Вы что-то там намешали! Еще отравишься!

Рабочие громко хохотали.

— Это и есть картофельная водка. Выпей-ка еще!

В тот вечер Итиро Кавамото лег спать с тяжелой головой. Он поклялся, что больше не притронется к самогону. Утром у него снова засосало под ложечкой от голода.

Чтобы избавиться от этого неприятного ощущения, Кавамото выпил стакан воды и побежал с газетой к мосткельщику, где его уже ждали. Чтобы немного подработать и иметь возможность покупать себе хоть какую-нибудь еду, он нанялся разносить до начала работы газеты.

Работа была трудная. Большинство крестьянских дворов было расположено на холмах или среди полей. Когда шел дождь, Итиро промокал до нитки, так как зонтика у него не водилось. Центральные газеты зачастую поступали нерегулярно из-за опоздания поездов, а местные — из-за того, что в типографию не подавали тока. В такие дни Кавамото после окончания работы вынужден был еще раз проделывать тот же тяжелый путь.

После этого Итиро уже не успевал съездить в Хиросиму, где на заработанные деньги можно было купить на рынке около вокзала рисовых пирожков. Проголодавшись еще больше от нового физического напряжения, он засыпал с пустым желудком.

Работа разносчика газет имела, однако, одно преимущество: она давала Кавамото возможность бесплатно читать газеты и утолять свой жгучий духовный голод.

«Я садился под дерево и под стрекотание цикад читал...»

Так начинается в дневнике Кавамото абзац, повествующий о политическом и экономическом положении Хиросимы в первом послевоенном году.

В записях Кавамото за 1946 год бросается в глаза то обстоятельство, что его первоначальное преклонение перед американцами переросло мало-помалу в скептицизм. Он пишет о злоупотреблениях американских солдат, критически комментирует все возрастающее стремление оккупационных властей уничтожить свободу забастовок и сообщает об антиамериканских настроениях на электростанции. При этом сам Кавамото в основном все еще был настроен проамерикански. Он пытался даже заочно изучать английский язык. Однажды он обратился к некоему профессору Мацумото, явившемуся в Сака прочесть рабочим лекцию об «американском образе жизни», с просьбой помочь ему эмигрировать в США. Однако докладчик не слишком обнадежил Итиро: согласно американским иммиграционным законам, для въезда «азиатов» в страну была установлена ничтожно малая квота. В утешение профессор прислал Кавамото несколько номеров «Ридерс дайджест».

Когда вновь наступила зима, Кавамото попытался найти работу по обслуживанию оккупационных войск. Непосредственным толчком к такому решению послужила пропажа его монтерского инструмента — клещей, которые он днем и ночью носил у себя на поясе. Клещи Кавамото получил заимообразно. Они принадлежали не ему, а фирме, где он работал. И бедняга не осмеливался показаться на глаза мастеру до того, как разыщет клещи, ибо инструменты в то время почти невозможно было достать.

Сказавшись больным, Итиро приступил к лихорадочным поискам драгоценных клещей. Но, несмотря на то что он обошел все те места, где побывал накануне, в день пропажи, клещи так и не нашлись. Вероятно, их

у него просто украли и уже давным-давно сбыли на «черном рынке».

— У меня остается только один выход, — сказал себе Итиро. — Я должен найти себе другую работу и заработать столько, чтобы можно было заплатить за утерянную вещь. А пока что я не могу показываться на глаза товарищам.

На другое утро он снова сказался больным и уехал по железной дороге в Курэ. Из газет он знал, что американцы все время набирают людей для обслуживания своих авиаэскадрилий в Хиро.

Едва войдя в ворота американского военного городка, молодой японец сразу почувствовал, что попал в иной, непривычный ему мир. Мимо него проезжали джипы и легковые машины с белыми звездочками, повсюду виднелась колючая проволока, плакаты, брошенные фотографии красоток, надписи на чужом языке. Хотя он проехал всего несколько километров по железной дороге, ему показалось, что он находится далеко, где-то очень далеко от родных мест.

Итиро послали в отдел по найму рабочей силы и дали анкету, которую нужно было аккуратно заполнить.

— Я спросил, будет ли мне предоставлено жилье, — рассказывает Кавамото. — Мне ответили, что меня могут устроить здесь же, в городке, но со своей постелью. Услышав это, я заколебался. Не мог же я явиться сюда с тем жидким, совершенно изодранным «футоном», который остался в Сака, а без постели в этих холодных бараках, где гулял ветер, нельзя было спать, даже если бы я не стал раздеваться...

— Ну что ж, с этой надеждой придется распрощаться, — подумал я, глубоко разочарованный. — Тем не менее, не зная, как дальше поступить, я некоторое время потолкался в отделе найма, разглядывая людей, заполнявших анкеты, и человека в форме, который эти анкеты принимал... Прождав полчаса, а может быть, и целый час, я заметил, что пошел снег. Какой-то японский солдат средних лет, заявивший, что он служил в Маньчжурии, первым выдержал «экзамен». Потом американцы наняли рослого, здоровенного парня лет двадцати.

Недалеко от Кавамото стоял, переступая с ноги на ногу, незнакомый юноша. Он казался года на два старше Итиро. Незнакомец с первого взгляда вызвал у Кавамото симпатию. Шапки у него, видимо, не водилось, темные волосы были растрепаны, на локтях — заплаты. Молодой человек, как видно, также колебался, не зная, ждать ли ответа американцев. Но вдруг у него лопнуло терпение. Он резко повернулся и зашагал по направлению к вокзалу, не обращая внимания на хлопья снега, кружившиеся в воздухе. Сам не зная почему, Итиро последовал за молодым человеком, держась от него на расстоянии примерно тридцати метров.

Долгие зимние дожди и мокрый снег превратили дорогу, по которой они шли, в сплошное месиво. Только там, где проезжали джипы и армейские грузовики, шины немного утрамбовали землю. В этой узкой колее «Модзя-модзя сан» («господин Растрепан») — так Кавамото мысленно окрестил его — балансировал с такой ловкостью, что не намочил и не запачкал ног, несмотря на ветхую обувь.

— Молодец! — сказал себе Итиро, стараясь ступать в следы, оставленные незнакомцем.

3

Им пришлось прождать почти два часа до отхода ближайшего поезда на Курэ и Хиросиму. Впятером они сидели в холодном и пустом зале ожидания: три женщины, слишком усталые и голодные даже для того, чтобы поболтать друг с другом, и двое молодых людей. Кавамото охотно заговорил бы со своим сверстником, но стеснялся обратиться к нему без всякого повода. Этот рослый парень пытался согреть свои покрасневшие от холода руки, натягивая на них рукава потертого пиджака. «Не дать ли ему мои рукавицы?..» — подумал Итиро.

Но когда он вытащил рукавицу, чтобы молча предложить ее незнакомцу, тот опустил голову, а когда незнакомый парень снова поднял глаза, Кавамото уже не нашел в себе смелости, чтобы повторить свое робкое предложение.

Оба они безмолвно наблюдали за серовато-белой метелью, за миллионами белых снежинок, каждая из которых тихо опускалась на холодную землю.

Наконец поезд прибыл. Народу оказалось довольно много, но Итиро нашел купе, где было два свободных места. Он невольно все время рылся в карманах. Вытащив оттуда одну, а затем и вторую бумажку в десять иен, он начал их скептически рассматривать и сравнивать между собой. Кавамото понимающе улыбнулся. Он знал, что незнакомец разглядывал рисунок новой бумажки в десять иен, выпущенной американцами. Императорский герб «хризантема» был обрамлен на ней орнаментом, который, по мнению многих японцев, смахивал на цепь от кандалов, а изображение здания парламента в Токио было окружено рамкой, якобы напоминавшей тюремную решетку. Иные японские патриоты отказывались даже принимать новые деньги, считая их символом «порабощения Японии».

Кавамото уже собирался завязать разговор на эту тему, но поезд как раз подошел к перрону станции Курэ. Пассажиры, которым надо было сходить, поспешили к дверям. Когда все уже вышли, незнакомый парень внезапно вскочил, бросился к выходу и в следующее мгновение оказался на перроне.

«Может, побежать за ним? — подумал Кавамото. — Но какое мне, собственно, до него дело? Почему мне так хочется познакомиться с этим «растрепой»?»

Кавамото встал и уже собрался было тоже сойти, как вдруг незнакомец, видимо передумав, снова вскочил в вагон, успевший уже тронуться.

«Модзя-модзя сан» снова сел на свое место и опять начал рыться в карманах. На его лице появилось выражение озабоченности и, пожалуй, даже отчаяния.

«Он так же несчастен, как и я, — подумал Итиро. — Его что-то мучает, и у него нет никого, с кем бы он мог поделиться своими горестями. Совсем как у меня».

В эту секунду у попутчика Кавамото из бокового кармана выпала тщательно сложенная бумажка. Кавамото нагнулся, поднял бумажку и подал ее своему соседу.

— Спасибо, — сказал тот и спрятал бумажку в верхний наружный карман пиджака. Потом он признался:

— Я все время ее искал. Этот клочок бумаги мне... — он подбирал подходящее слово, — дорог... очень, очень дорог.

Поезд, громыхая, преодолевал кое-как отремонтированный участок пути.

— Хотите знать, что там написано? — спросил «господин Растрепа» и снова вытащил бумажку из кармана. — Вот, пожалуйста.

Это было «ёсэгаки» — записка с пожеланиями и утешениями. Такие записки по старой японской традиции дарят друзьям, отправляющимся в дальнюю дорогу. На помятой, уже несколько запачканной от частого развертывания бумажке было написано:

«В Китае было холодно. В Японии ледяной холод. Не забывай меня. Не давай себя в обиду.

Ноппо (Тонконогий)».

«Будь здоров. Не делай глупостей.

Минданао (Филиппины)».

«Я заранее радуюсь дню твоей первой полочки в Хиросиме. Терпи, брат!

Куцукэн (Башмачок)».

И, наконец:

«В подарок я хочу получить от тебя немножко шоколада и жевательной резинки.

Тибико (Крошка)».

Вот что рассказал мне Кавамото:

— Я совсем забыл, что поезд тронулся. Напротив меня сидел «Модзя-модзя сан» и внимательно наблюдал за тем, как я без конца перечитывал его записку. Я уже не вспоминал о потерянном инструменте, не думал о постели и даже о голоде и холоде. «Господин Растрепа» объяснял мне с гордостью, что означают эти пожелания, а я время от времени вставлял лишь несколько слов: «Неужели?» или «Ах, вот как!» — или же просто молча вздыхал.

Настоящее имя «господина Растрепы» я не узнал ни тогда, ни после, но зато я узнал его прозвище. Его звали Куцухэй («Большой башмак»). О тех, кто писал

записку, он также мне кое-что рассказал: Минданао, возвратившемуся с Филиппин, было двенадцать лет от роду, его другу сироте, по имени Нопоо, — на два года больше, он попал в Хиросиму из Китая. Восьмилетняя Тибико потеряла во время «пикадона» мать, а отец ее пропал без вести на войне. И, наконец, Куцукэн был младший брат моего нового знакомого Куцухэя, ему исполнилось пятнадцать лет.

Из рассказа «господина Растрепы» стало также понятно его странное поведение во время остановки поезда в Курэ. Он хотел там сойти, чтобы не возвращаться с пустыми руками в Хиросиму к своим подопечным.

— Я ведь, можно сказать, глава семьи, — заявил он. — И мне не удалось привезти даже самого крошечного кусочка шоколада для Тибико. Все они считали, что у американцев я наверняка получу работу. Но это оказалось невозможным: ведь у меня нет собственной постели.

Они проехали мимо холма Сака, но Кавамото этого даже не заметил. Затаив дыхание, он ловил каждое слово своего нового знакомого.

— Моего брата, — рассказывал Куцухэй, — я совершенно случайно встретил на вокзале в Хиросиме в октябре 1945 года. Он уже много недель разыскивал мать и сестру и все время околачивался на перроне, надеясь, что родные когда-нибудь да вернуться. Ведь не исключено, что они бежали в первую минуту испуга. Но они, видимо, отправились в путешествие, из которого не возвращаются. А я... я вернулся с фронта, хотя вся семья считала меня погибшим. Я уволился из армии, но у меня ничего не было, кроме одного-единственного одеяла. Его я делил с Куцукэном.

— А откуда взялись остальные ребята?..

— В армии я, собственно говоря, научился только одному — хорошо рыть окопы. И вот среди развалин я по всем правилам построил славную маленькую землянку для нас с братом. Свой паек риса мы зарабатывали чисткой сапог. Как-то вечером мы увидели маленькую девочку, очень славную, скажу я вам, просто прелесть. Она попрошайничала. Это была Тибико. Мы оставили ее у себя. Ведь за ней необходимо было присматривать. Как-то раз двое нахальных мальчишек вырвали у нее из рук

рисовые шарики, которые она только что выпросила у какого-то пассажира. Мы сейчас же погнались за этими мерзавцами, схватили их за шиворот и поколотили, ну а они, конечно, завопили что есть силы. С тех пор они также живут с нами. Вы уже знаете их: это Ноппо и Минданао. Оба страшные нахалы. Надеюсь, вы познакомитесь с ними. Вы ведь скоро приедете к нам в гости, не правда ли?..

— Так получилось, что нас, круглых сирот, слишком бедных, чтобы иметь хотя бы собственную постель, свел клочок бумаги, — рассказывает Итиро. — Перед этим мы несколько часов молча просидели друг против друга, а теперь вдруг почувствовали себя старыми друзьями. Расстались мы на станции Кайтайти, так и не наговорившись досыта. Но я обещал в самом скором времени проведать «господина Растрепу» и его друзей. На другой день я с легким сердцем вернулся к своей старой работе и сразу же признался в пропаже инструмента. Я ожидал, что меня строго отчитают, но мастер и товарищи простили меня и, успокаивая, сказали, что я слишком трагически воспринял всю эту историю. Одного я не знал: простит ли мне безработный Куцухэй то, что я опять имею постоянную работу?

Этими словами Кавамото закончил свой рассказ о неудачной поездке в Хиро. Правда, там он нашел нечто более ценное, чем искал, — товарища по несчастью. «Модзя-модзя сан» был его первый настоящий друг. И он это сразу понял.

4

Кадзуо М. также устроился в конце концов на работу. Долгое время — с самого «пикадона» — он слонялся без дела и почти ежедневно с наступлением темноты ввязывался в драки с американскими солдатами, которых встречал в обществе японских девушек.

Теперь его приняло на работу весьма солидное учреждение — хиросимская сберегательная касса. Юноша стал помощником бухгалтера. В этой должности Кадзуо мог использовать опыт, накопленный при отбывании трудовой повинности в последние месяцы войны. В шестнадцать лет он стал единственным «кормильцем» семьи.

Отец его, Сэцуэ, который в свое время настоял на том, чтобы мальчик не возобновлял «ненужную», по его мнению, учебу, прерванную войной, теперь обращался с сыном чуть-чуть приветливее, чем прежде.

Каждое утро в одно и то же время Кадзуо уходил из родительского дома на работу. Перекинув через плечо парусиновую сумку с завтраком, юноша быстро шагал между рядами лавчонок и возвращался домой обычно лишь с наступлением ночи.

Кадзуо был доволен и горд своей новой жизнью. Но однажды, недели через две-три, он вернулся домой еще днем.

— Что случилось, о-ни-тян (старший брат)? — встретила его удивленная сестра. — Ты такой бледный. Опять подрался?

Кадзуо не стал ей ничего объяснять. Когда встревоженная мать прибежала из кухни, он и ей ответил резко и односложно:

— Не беспокойся, мама.

Он был рад, что с «того дня» мать его ни о чем не спрашивала. Хотя на этот раз ему, пожалуй, было бы приятнее, если бы она все же начала приставать с расспросами. Однако, смирившись с тем, что сын, как и многие другие, со времени «пикадона» часто бывал в подавленном состоянии и капризничал без причины, она и теперь оставила его в покое.

Час или два Кадзуо пролежал с закрытыми глазами на своем матрасе. Пустую сумку он свернул и положил себе под голову вместо подушки.

— Она нескоро мне понадобится, — сказал он себе.

После Кадзуо признался, что в тот момент его подмывало крикнуть:

— Труссы! Преступники!

Но он взял себя в руки и по привычке, выработавшейся у него в последнее время, записал в дневнике о том, что с ним приключилось:

— Кадзу-тян *, — окликнула меня девушка по имени Киёко.

* Уменьшительное от имени Кадзуо. — *Прим. ред.*

А ведь я в сберегательной кассе еще совсем новичок. Но она назвала меня Кадзу-тян. словно мы старые друзья. Она, кажется, года на два старше меня, так мне по крайней мере сказали. Не особенно красива, но задирает нос, стараясь показать, какое она получила хорошее воспитание.

Я терпеть не могу ее манеру разговаривать. А после сегодняшней истории она для меня вообще не существует. Впрочем, она, собственно говоря, мое начальство.

Это произошло в обеденный перерыв. Несколько девушек громко болтали; они просто-таки корчились от смеха, чуть ли не визжали.

— Кадзу-тян! Кадзу-тян! — кричала мне Киёко, но я притворился, будто не слышу. Мне не хотелось с ней разговаривать.

— Мой маленький Кадзу, что с тобой? — Девушка подошла ко мне совсем близко и встала лицом к лицу.

— Кадзу-тян, — спросила она тихонько, — хочешь немножко подработать?

Какие дурацкие вопросы задают эти девчонки!

— Конечно, деньги всегда нужны!

— Тогда нам нужно с тобой поговорить.

В ту же секунду меня окружили все остальные девушки.

— Ну, по рукам? — наседали они на меня.

В этот момент я вспомнил, до чего мы бедны. Мы даже не можем давать сестре «бэнтю»*, когда она уходит в школу.

— А что я должен делать? — спросил я.

— Ты ведь знаешь, в наше время без хитрости не проживешь, верно? — начала Киёко издалека.

Я промолчал, а она шепотом продолжала:

— Если хочешь, ты с легкостью можешь подработать. Тебе придется только разузнать, в каких семьях все погибли от атомной бомбы. В районе моста Аиойи и в квартале Добаси таких семей не оберешься. Здесь можно играть наверняка... А мы проверим, имели ли эти люди у нас вклады, и выдадим дубликаты их сберегательных книжек. Только выдадим не им, а себе. Контролеры ничего не заметят. Это ведь проще простого! Люди

* Японский завтрак, который берут с собой в особой коробке. — *Прим. ред.*

потеряли все, кроме своих сбережений, и теперь они хотят их получить, то есть на самом деле не они, а мы. Чего ты рот разинул! Мы все это уже проделывали не раз, и никто не попался... Что ты скажешь, Кадзу-тян? Не хочешь ли попытаться, маленький Кадзу?

Теперь я припомнил, что несколько дней назад краем уха слышал их болтовню:

— Скажи, какой у тебя был нынче улов?

— Жирный кусок!

— А мой улов был скудный...

— Зато ты совсем недавно отхватила изрядный куш...

— Да, верно. Хи-хи!

Прислушиваясь к их веселой болтовне, я тогда спрашивал себя, о чем, собственно, идет речь. Теперь я знал: они хвастались тем, что обирали мертвых.

Я взял себя в руки.

— Нет, это мне не подходит, — сказал я, взглянув каждой из них в отдельности прямо в лицо. Такого ответа они, как видно, не ожидали. На лицах девушек промелькнули недоумение и испуг.

А потом Киёко воскликнула:

— Ну конечно, ведь Кадзу-тян еще невинный мальчик. Вот он и боится каждого пустяка.

Девушки визгливо расхохотались, чтобы скрыть свое смущение.

— При чем тут моя невинность?

— Посмотрите, как он покраснел, наш малыш! Как он злится! Ах, какая душка!

Внезапно одна из девушек прильнула щекой к моему лицу и посмотрела на меня многообещающе. Ее глаза заблестели.

Я хотел отвести от нее взгляд. Не знаю почему. Знаю только, что это было бы плохо. Но потом я собрался с духом и поглядел ей прямо в глаза, а еще через секунду влепил ей пощечину.

— Я не вернусь! — крикнул я и выбежал из комнаты. Ошеломленные девушки смотрели мне вслед.

Ну, а что будет теперь? Отец и мать больны со дня атомного взрыва. Они ждут моей полочки. Сестричке очень хочется получить алюминиевую коробку для завтрака. И вот все кончено. Впрочем, будь что будет, но в таких историях я участвовать не желаю...»

В первое же воскресенье в феврале 1947 года Кавамото уехал рано утром, семичасовым поездом, из Сака в Хиросиму. Так они условились с Куцухэем. Пассажирского поезда не было, так что ему пришлось сесть в товарный состав, перевозивший также пассажиров.

— Так как в вагоне не было окон, мы вынуждены были оставить открытой раздвижную дверь, — вспоминает он, — а то пришлось бы ехать в кромешной тьме. Дул ледяной ветер, и каждый из пассажиров пытался пробраться из середины вагона, где был страшный сквозняк, в переднюю часть его. Люди, стоявшие у стены, протягивали руки, чтобы за что-нибудь уцепиться. Пассажирам, оказавшимся в середине вагона, держаться было не за что. На каждом закруглении пути они валились друг на друга, наступали соседям на ноги, а потом начинали извиняться.

Несмотря на ранний час, площадь у вокзала была уже полна народу. Итиро искал глазами чистильщика сапог, так как тот обещал его встретить. В чужой толпе на него снова напало чувство растерянности, как несколько дней назад, когда он смотрел на метель из барака в Хиро.

Но тут он вдруг заметил где-то вдалеке поднятую руку с сапожной щеткой. «Господин Растрепан» смеясь приблизился к нему. Он тянул за собой маленькую Тибику. Девочка церемонно поклонилась, словно была не в драном момпэ, а в роскошном праздничном кимоно.

— Это ты, брат с Анд? — спросила она.

— Я уже успел похвастаться тем, что ты родился в Перу, — объяснил Куцухэй. — Мы гордимся, что у нас появился друг, который столько странствовал.

— Можно мне подержать твой сверток? — спросила Тибику, у которой в руках уже был кулек, свернутый из газетной бумаги.

— Да нет же, спасибо. Я сожалею, что вы в этот холод пришли меня встречать.

— Ничего, Тибику сегодня все равно уже пришлось поработать.

Подмигнув, он указал на ее кулек.

В это ледяное февральское утро при ярком солнечном свете Хиросима показала Итиро совсем не такой, как всегда. Теперь она походила на огромный, наспех построенный ярмарочный городок. За последние двенадцать

месяцев число увеселительных заведений в Хиросиме резко увеличилось; около вокзала и в центре города возникли целые кварталы баров, кабаре, публичных домов, дешевых кинотеатров и игорных притонов, над которыми развевались пестрые рекламные флажки, воздушные шары и привязные аэростаты. Самый крупный из увеселительных кварталов носил громкое название «Синтати» («Новый мир»). Карикатурный, сумасшедший новый мир!

В городе все еще ничего не предприняли для расселения множества бездомных людей, если не считать составления проекта многоквартирного жилого дома в районе Мотомати. Поэтому каждый бедняк старался на собственный страх и риск устроить себе хоть какой-нибудь приют.

— Мы выбрали на редкость аристократический квартал, — заявил «господин Растреп», когда они все вместе двинулись в путь. — Говорят, что в Нобори-тё, где мы живем, когда-то помещались самые дорогие магазины.

Они шли по лабиринту, по обе стороны которого стояли сколоченные из гофрированного железа хибарки и деревянные лачуги, построенные без всякого плана и порядка. Наконец они остановились у невысокой загородки. Это жилище казалось, пожалуй, еще более причудливым, чем все остальные.

Кусок стены какого-то разрушенного здания был искусно соединен с листами ржавой жести, почерневшими от гари обрезками досок и истрепанными соломенными циновками, придававшими всему сооружению сходство с большой плетеной корзиной.

— Прошу, это наш «Химавари-дзё» («Замок подсолнечника»), — с подчеркнутой торжественностью сказал Куцухэй, приглашая гостя войти. — А если без хвастовства, то мы называем наш дом скромненько «Корзинкой с червями».

Изнутри раздались голоса:

— Входи, брат с Анд. Поскорее, а то ты напустишь холода. Нагнись! Да-да, будь осторожен. Тут рекомендуется быть поменьше ростом!

В этом жилище без окон было темно, как в пещере. Мало-помалу при свете свечи Кавамото различил несколько лиц.

Начались взаимные приветствия, так как вся «семья» придавала большое значение хорошим манерам. Когда,

например, Куцукэн, который приходился «Модзя-модзя сан» братом, нарушил этикет, представляясь Итиро, Тибико тут же поставила ему это на вид.

— Надо говорить: я прихожусь младшим братом Куцухэю. Я прихожусь ему младшим братом. Этих слов ты не должен забывать, иначе ты будешь неучтив по отношению к гостю.

— Что у нас сегодня на завтрак?

Тибико развернула свой кулек. В нем оказались рис, рыба, морская трава и даже несколько кусков маринованной редьки.

— Хорошо постаралась, малышка!

«Семья» не считала зазорным попрошайничать у чужих. Но в собственном кругу строго соблюдалось правило, раз и навсегда преподанное «отцом семейства» Куцухэем: дома попрошайничать нельзя.

Кавамото также внес свою лепту в общий завтрак.

— Чуть было не забыл, — сказал он с притворной небрежностью и развязал свой старый красный фуросики *. Появился плоский «американский хлеб» из кукурузной муки, который он сам испек в котельной электростанции Сака.

Вскоре запах лепешки, подогретой на слабом огне, распространился по темной каморке. Разломав хлеб руками, вся компания принялась пить кипяток из старых консервных банок с хитроумно приделанными картонными ручками. При этом у друзей был такой вид, словно они наслаждались самым ароматным чаем.

Кавамото понемногу осмотрелся. Груды сухих листьев заменяли в этой хибарке постели. Раз в месяц ребята приносили свежие листья с гор.

— На них спать гораздо мягче, чем на настоящем «футоне», — похвастался Ноппо.

На стенах были аккуратно, в ряд, развешаны соломенные шляпы, военные фуражки и кое-какая одежка. Куцухэй требовал, чтобы ребята держали свои вещи в порядке.

К одной стене была кнопками прикреплена фотография. Должно быть, кто-нибудь из детей вырвал ее из журнала. На фотографии был изображен мальчик, цеп-

* Яркий платок, который японцы употребляют вместо портфеля или сумки. — *Прим. ред.*

лявшийся за чью-то руку. Вероятно, это была женская рука, может быть, рука матери. Но это так и осталось неизвестным, поскольку на фотографии не было подписи, а в кадр попала только рука. Все остальное приходилось придумывать самим.

— Хорошая картинка, — заметил Итиро.

— Да, — проговорили дети. Больше они ничего не добавили.

6

Итиро Кавамото проводил со своими друзьями в «Замке подсолнечника» каждое воскресенье и по возможности свободные вечера в будние дни. Он вспоминает разговоры, которые там велись, рассказы детей о приключениях и шалостях, но особенно запечатлелся в его памяти тот день, когда он пригласил своих друзей в кино.

За вокзалом открылся новый кинотеатр. В зрительном зале еще пахло клеем, краской и свежеструганными досками. Но на сей раз это вполне соответствовало тому, что происходило на экране. Шла картина Чарли Чаплина «Золотая лихорадка». Грубо сколоченные лачуги в калифорнийском городе золотоискателей, кабаки и драки — все это напоминало детям родную Хиросиму. Больше всего им понравились сцены, где маленького человечка с усиками и кривыми ногами преследовал гротескный голодный бред. Выйдя из темного зала кинотеатра, дети и Кавамото еще долго переживали «золотую лихорадку».

— Ох, ох... я умираю с голоду, — визжал тонконогий Ноппо, сопровождая свои слова дикими гримасами. — Какой чудесный нежный цыпленок! — Он пытался схватить Тибико, которая с криком и смехом «в ужасе» удирала от него. — Будет тебе махать крылышками, цыпленочек, — продолжал он дурачиться и, смешно переваливаясь, бежал за своей жертвой, которая с испуганным кудахтаньем пряталась за какой-нибудь лачугой.

Куцукэна — чистильщика сапог особенно поразила сцена, в которой Чарли с наслаждением уплетает сваренный сапог. Он даже начал стаскивать с левой ноги Кавамото сандалию.

— Ты не представляешь себе, какой из нее получится чудесный, сочный бифштекс, — соблазнял он прия-

теля. — Давай, ведь я заплачу тебе за нее целым слитком золота! Она того стоит.

И он сунул Кавамото покрытую сажей черепицу, валящуюся на земле с «того самого дня». Вслед за этим Куцукэн исчез вместе с сандалией, а Итиро, смеясь, продолжал прыгать на одной ноге.

Но, когда они дошли до своей «Корзинки с червями», Куцухэй, самый старший из них и потому наиболее рассудительный, стал их увещевать:

— Да бросьте наконец дурачиться. Завтра вы, чего доброго, будете действительно голодны!

7

Из дневника Итиро Кавамото:

«6 августа 1947 года. Я купил плиточку шоколада для Тибики. Но, так как настоящий шоколад страшно дорог, пришлось удовольствоваться суррогатом. Тибики все же была очень довольна. Я ей не сказал, что сегодня годовщина того дня, когда была сброшена атомная бомба. Я только вскользь заметил:

— Мне захотелось тебе что-нибудь подарить.

Куцухэй же и Куцукэн были весь день в плохом настроении. Не стали есть даже жареной картошки. Хоть братья и не промолвили ни слова, я заметил, что они прекрасно знали, какой сегодня день... Ноппо и Минданао съели только половину своей порции картошки и потихоньку вышли, словно у них совесть нечиста. Я тоже вышел.

«Красная крыша на зеленом холме...»

Ноппо тихо запел песню о «холме, где звонит колокол».

Тибики побежала за нами. Ее голос звучал громче, чем робкий голос Ноппо:

Колокол звонит чин-кон-кан,
Звонит, звонит, звонит.
Мать с отцом говорят:
«Берегитесь, дети!»

Тоненький голосок длинного Ноппо и громкий голос Тибики зазвучали слитно и проникли в «Замок подсолнечника».

— Куцукэн, Куцухэй, выходите, друзья, и пойте с нами! — позвал я. Но ответа не последовало. Я опять влез в темную лачужку.

— Что случилось? Неужели вы собираетесь хныкать, как малые дети?

— Братец с Анд, разве ты не чувствуешь себя одиноким? — сказал Куцукэн со слезами на глазах, в то время как ребята на улице продолжали петь.

— Одиноким? Почему же?

— Ведь у нас нет ни отца ни матери!

— Тут уж ничего не поделаешь. Но вы оба постоите за себя, — попытался я ободрить их. — Нельзя распускаться. Ты и Куцухэй должны взять себя в руки. Ноппо и Минданао совсем падут духом, если увидят вас в таком состоянии. Ведь это вы вселяете в них мужество. И, если хотите знать, вы даже меня ободрили.

— Спасибо, брат с Анд, — сказал Куцухэй. Но бывает, что больше нет мочи терпеть. Как бы мы ни вели себя, мы все равно оказываемся виноваты. Когда поблизости что-нибудь пропадает, или кто-нибудь разбивает оконное стекло, или случается еще какая-нибудь беда, полицейские и злые старухи обязательно говорят, будто мы одни могли это натворить. И все накидываются на нас. Они ругают нас и бросают в нас камнями. У самой нашей лачужки они выливают помои. Даже свои естественные потребности они отправляют именно здесь. А тебя люди тоже мучили?

— Конечно. Целых три месяца я жил в «хонкэ» (семейном доме), и каждый раз, когда мы садились есть, мои хозяева дурно говорили о моих покойных родителях. Это меня так оскорбляло, что мне не хотелось спать у них в доме. Я прятался в притворе ближайшего храма. Мне тогда часто ставились в вину проступки, которые на самом деле совершал не я, а кто-нибудь другой. Но в конце концов всегда находились люди, помогавшие мне выбраться из беды...

Они немного помолчали, а потом Куцухэй встал. Он казался гораздо взрослее, чем обычно.

— Куцукэн, стало жарко, почему бы нам не выкупаться?

— О' кэй... — Это выражение, как и многие другие, они переняли у американцев.

По каменным ступенькам мы спустились к реке Ота, по тем самым ступенькам, по которым бежали в день атомной катастрофы сотни почти обезумевших от страха людей, к той самой реке, в которой искали спасения горящие, словно факелы, жители Хиросимы.

Мы осторожно погрузились в воду. Вода была прохладная и приятная. Оба брата плавали как придется, вольным стилем или, вернее, без всякого стиля. А те двое ребят на берегу все еще пели...

— Нам тоже хочется поплавать! — Минданао и Тибиико подбежали к реке и стали снимать свои рваные шаровары. С радостными криками они бросились в реку и начали брызгать друг на друга водой.

...Вот она течет — та самая река, в которой в ночь «пикадона» утонула мать Тибиико. А теперь Тибиико и Минданао весело плещутся в воде, а Куцухэй и Куцукэн стараются показать, как они отлично плавают. Только запах фимиамовых палочек, которые сегодня зажжены в память погибших, будит воспоминание о том, что люди уже почти успели забыть. После купания я пошел со своими друзьями на рынок у вокзала и купил для всех нас лапшу (она стояла возмутительно дорого!). Мы с жадностью набросились на еду.

8

— Значит, сколько же здесь всего картофеля, Тиби?

— Три. Правильно?

— Правильно! А теперь давайте есть. Ты получишь ровно столько же, сколько достанется Куцухэю, Куцукэну, Ноппо, Минданао и мне. Сколько же это будет?

Тибиико начала считать, загибая свои маленькие пальцы и беззвучно шевеля губами.

— Подумай хорошенько, Тибиико, одна...

— Вторая!

Очень хорошо. Одна вторая. С сегодняшнего дня мы будем называть тебя Тибиико-сан (мадемуазель Тибиико). Как взрослую.

Когда у Кавамото находилось свободное время, он давал Тибиико уроки. Она сама потребовала этого. В конце лета в Хиросиме снова начались занятия в школах — частью все еще под открытым небом, а кое-где

в новых бараках, в подвалах или в полуразрушенных старых школьных зданиях. Увидев, что дети опять начали учиться писать, читать и считать, Тибико спросила Куцухэя, почему бы и ей не пойти в школу.

— Для «работы» осталось бы достаточно времени, — добавила она.

Старшие пытались объяснить девочке, что это не так-то просто. Если записать Тибико в школу, ее немедленно поместят в сиротский приют и ей нельзя будет оставаться у своих приятелей в «Корзинке с червями». О приютах же газеты рассказывали разные скверные истории. В некоторых будто бы завелись настоящие «боссы», как у гангстеров, и они заставляли детей отдавать им свой паек и работать на них.

— Мы научим тебя всему, что сами знаем, — заявил «господин Растрепя», и теперь все пятеро попеременно давали девочке уроки. Она научилась читать, узнавать на часах время и даже выводить на бумаге несколько японских писем.

Особенно заботился о воспитании девочки Кавамото. Он показал ей, как надо умыться и причесываться, учил ее, как следует по-разному обращаться к людям в зависимости от их возраста и положения. Но любимыми уроками девочки были «уроки географии», которые давал ей Итиро, подробно рассказывая о своей юности в Южной Америке, о людях, живущих там, о тропических кушаньях и фруктах, которые он ел в детстве.

Кавамото почти каждый день приходил в «Замок подсолнечника», и дети всегда бежали ему навстречу, радостно приветствуя его. Тем более он поразился, когда они однажды вечером едва поздоровались с ним. Ребята стояли около лачуги расстроенные, с кислыми лицами.

Минданао отвел «брата с Анд» в сторонку и шепнул ему:

— Куцухэй привел девушку. Она сестра его приятеля. И, пока она здесь, нам нельзя войти в дом.

Куцукэн так рассердился на старшего брата, что не пожелал говорить даже с Итиро и только не переставая ворчал себе под нос:

— С тех пор как она появилась, у нас все стало совсем иначе. Совсем иначе.

Только Тибико, видимо, находила в новой ситуации некоторую радость.

— Скоро Куцухэй будет женихом, — пропищала она. Рассвирепевший Куцукэн чуть не влепил ей пощечину, но девочка вовремя удрала.

Через несколько дней «господин Растрепа» вместе со своей подружкой исчез из Хиросимы. Он даже не оставил записки брату и друзьям.

Чтобы утешить Куцукэна, Кавамото в тот день не пошел на работу. Покинутые ребята в виде исключения также не пошли промышлять на вокзальную площадь.

— Куцукэн, отныне ты должен быть за старшего вместо Куцухэя! — уговаривал мальчика Итиро. — Отныне ты «глава семейства». Не унывай! Когда твой брат взял на себя заботу о вас, жить было гораздо труднее, чем теперь.

Но Куцукэн продолжал ворчать. Друзья, как могли, старались его развлечь. Они пели песни, строили гримасы и подражали походке Чарли Чаплина. Но даже это не могло развеселить мальчика. Тогда Тибико, глубоко вздохнув, приняла великое решение. Она полезла в угол, где лежал ее набитый листьями матрац, и вытащила из-под него свое ревниво оберегаемое сокровище: до сих пор к нему еще никто не смел притронуться, на него даже не разрешалось смотреть. Это была пачка аккуратно сложенных, тщательно разглаженных серебряных бумажек. Уже много месяцев, как Тибико жадно собирала валявшиеся на земле обертки от сигарет и шоколада. Нередко она часами вертелась около американских или австралийских солдат, надеясь, что они уронят блестящую бумажку. Когда какой-нибудь солдат дарил ей сладости, она зорко следила за тем, чтобы на них была серебряная бумага.

Не говоря ни слова, девочка протянула расстроенному Куцукэну свое сокровище. Это не могло не произвести на него впечатления, и он с благодарностью погладил Тибико, но вместе с тем все еще сердито спросил:

— Зачем нам это теперь?

«Я вдруг вспомнил свое детство, — рассказывает Кавамото. — Мать не могла купить мне губную гармошку. Тогда я взял папиросную бумагу и начал дуть на нее. Бумага слегка затрепетала, и вскоре я научился

извлекать из нее разные незамысловатые мелодии, прижимая губы то к одному месту, то к другому, дуть то сильнее, то слабее. Так я поступил и теперь. Взял серебряную бумажку от сигарет «Пис» * и стал выдувать мелодию песенки «Тот холм, где звонит колокол». Ребята смотрели не меня, широко раскрыв глаза.

— Правда, недурно? — спросил я.

— О, уандафуул! Вери, вери гууд, — воскликнула Тибики, подражая американским солдатам. Она тоже взяла одну из бумажек и попробовала дуть на нее. Но у Тибики ничего не получалось, сколько она ни пытела. Ноппо и Минданао также пытались подражать мне. Но и им не удавалось «выдуть» мелодию. Они слишком крепко прижимали бумажку к губам.

— Попробуйте еще, скоро дело пойдет на лад! А пока что пусть мальчишки посвистят, Тибики споет. А я буду вам аккомпанировать на гармошке из серебряной бумаги.

Наконец-то зазвучала наша песня о «колоколе на холме». Дня через три все, кроме Тибики, добились своего. Особенно удачно «играл» Куцукэн. Казалось, он примирился с уходом брата».

9

Однако несколько дней спустя произошло то, чего боялся Кавамото с тех самых пор, как исчез Куцухэй. Когда Итиро пришел в «Замок подсолнечника», там никого не оказалось.

Сначала он подумал, что над ним подшутили. Приподняв соломенные циновки у входа, он крикнул в темноту:

— Не прячьтесь, я все равно вас найду!

Ответа не последовало. Не было слышно и смеха. Кавамото зажег спичку и сразу увидел, что лачуга пуста. С низкого потолка свисала приколотая к подсвечнику записка. Кавамото вынес ее из хижины и прочел: «Больше так продолжаться не может. Брат с Анд не должен изо дня в день заботиться о нас. Куцухэй

* Распространенная в послевоенной Японии марка сигарет, наподобие американских.

в Окаяме. Завтра я махну вслед за ним. Всего доброго! Куцукэн».

О том, куда делись Тибико, Ноппо и Минданао, в записке не было сказано ни слова. Взял ли их с собой Куцукэн или они остались в городе? Может быть, остались. Нет! Наверняка нет!

С этого дня Кавамото потерял покой: он только и думал о том, как бы разыскать ребят. Разве они могут существовать одни? Ежедневно после работы он бродил по возрождавшемуся городу, заглядывал в каждый уголок, расспрашивал спекулянтов и гангстеров, проституток и бесчисленных «фуродзи». Все было напрасно! Дети исчезли бесследно. В свободные от работы воскресенья Итиро добирался до Курэ. Он наводил справки в сиротских приютах, полагая, что исчезнувших ребят могли водворить туда органы призрения малолетних.

Когда Кавамото попадал в квартал, где находился «Замок подсолнечника», ему все время казалось, что в гуле толпы он вдруг услышит смех Тибико или тоненький мальчишеский голосок Ноппо, что из «Корзинки с червями» неожиданно покажется спутанная грива «господина Растрепы», что Куцукэн попытается в шутку стянуть у него с ноги сандалию.

И каждый раз Итиро видел, что «Замок» все больше и больше разваливается. Кто-то вынул доску из стены, потом стали исчезать циновки, и в конце концов даже жестяная крыша попала на «черный рынок». Милые соседи растащили все дочиста.

Мало-помалу «Замок» погиб. Так оно случается, когда листок за листком отрывают побеги бамбука. Остались только четырехугольная ямка очага и небольшой котлован, который вырыл возвратившийся из армии Куцухэй в октябре 1945 года, чтобы построить себе и брату землянку.

А потом пошел снег и накрыл все белой пеленой. Тысячи и тысячи снежинок, кружась, падали с серого неба на Хиросиму, и каждая из снежинок походила на маленькую звезду.

«АТОМ-БОЙ»

1

Первую годовщину «того дня», когда город в одну долю секунды был уничтожен, граждане Хиросимы отметили тихо и достойно. Много тысяч белых фонариков, на каждом из которых значилось имя погибшего или пропавшего без вести, поплыли вниз по Оте к океану. Некий Сэйитиро Какихара, человек никому не известный до «пикадона», не знатный и не занимавший высоких постов, вступился за память погибших. В шуме и сутолоке «новой Хиросимы» он первый напомнил живым о мертвых. По его инициативе летом 1946 года была построена простая, лишенная всякой вычурности «Башня душевного покоя», в которой отныне хранились имена всех жертв атомной бомбардировки.

Совсем по-иному было отмечено 6 августа 1947 года. Целых три дня народ пел, танцевал, пил. Маскарады, шествия, фейерверки следовали непрерывной чередой. На улицах было шумно с раннего утра и до поздней ночи.

Не удивительно, что иностранные наблюдатели, принимавшие участие в этом так называемом «празднике мира», были шокированы отсутствием деликатности и уважения к памяти погибших. Им возражали, что к японцам нельзя применять мерки Запада. На Дальнем Востоке приняты-де такие шумные празднества в память умерших.

Но не только западные наблюдатели осуждали шумиху, поднятую в день 6 августа 1947 года. Необузданное веселье в годовщину трагического события возмутило также тех, кто потерял своих близких. В самых резких выражениях они протестовали против превращения столь грустной годовщины в шумное народное гулянье.

Их суровые и, к сожалению, справедливые упреки сводились к тому, что в Хиросиме нашлись люди — имелись в виду купцы и торговцы, — которые решили нажиться на

погибших. И действительно, идея пышного «праздника мира» возникла среди членов вновь созданной торговой палаты. Председатель палаты Тотаро Накамура еще в марте 1947 года предложил только что основанному «Обществу поощрения туризма» устроить международный праздник мира, чтобы снова привлечь внимание Японии и всего мира к Хиросиме. Против этого предложения высказался прежде всего заместитель мэра Хиросимы Синдзо Хамаи. Но через месяц его избрали первым мэром Хиросимы, и он, заняв этот пост, был вынужден вопреки своему желанию всемерно содействовать осуществлению проекта, поддерживаемого городом.

С трибуны, воздвигнутой у моста через Тэмму, 6 августа, ровно в 8 часов 15 минут, то есть в момент, когда два года назад была сброшена бомба, новый энергичный «отец города» открыл праздник под звон колокола мира. Сотни голубей взвились к небу. Потом была прочитана краткая молитва в память жертв атомной бомбардировки и оглашено обращение генерала Макартура. Вслед за тем начались речи; речей было великое множество, но все они прошли через американскую цензуру, и поэтому в них не оказалось ни одного упоминания об ужасах атомной бомбардировки. Наконец мэр Хамаи огласил весьма впечатляющую «Декларацию мира».

Весь день у Башни усопших, недалеко от трибуны, два буддийских жреца читали молитвы. Но их голоса вскоре заглушила громкая танцевальная музыка.

Вот как репортеры газеты «Тюоку симбун» описывают этот зловещий карнавал: «То был дуэт тьмы и света в новом «сити» Хиросимы, бурлившем весельем. Люди, потерявшие близких, поминали их и проливали слезы, молились в буддийских храмах об усопших, читали у себя дома священные книги. Но, как только они выходили на улицу, навстречу им несли визг патефонов, мимо них дефилировали карнавальные шествия. Из квартала Синтэн-ти появилось семьдесят, а то и больше молодых девушек в сказочно красивых кимоно. В волосах у них были цветы. Они танцевали новый танец мира — «Хэйва-ондо», сочиненный на слова

«Пика-то хиккатта	«Шар атома
Гэнси-э-но тама-ни	выпустил острую молнию
Ёи яса	Ёи яса,

Тондэ агаттэ
Хэйва-но хатоё...»

И взвился к небу
голубь мира...»

Днем на улицах Хиросимы было по крайней мере в пять раз больше народу, чем обычно. В торговых кварталах купцы смекнули: «Вот когда можно заработать!» Они вывесили фонарики, на которых было написано: «Распродажа по случаю праздника мира». Молодые продавцы обливались потом. Они говорили: «Выручка сегодня в три раза больше, чем в обычные дни...» Всю эту летнюю ночь не прекращались танцы.

В числе тех, кто не принимал участия в празднестве и держался в стороне, возмущенный всем этим шумом и гамом, был Кадзуо М. В своем дневнике он написал: «Повсюду в городе играют джазы... Новые кинотеатры вырастают на каждом шагу, как бамбук после дождя. Хозяева танцевальных площадок загребают бешеные деньги. Иногда я спрашиваю себя, действительно ли это тот мир, о котором все мы мечтали. Чтобы по-настоящему возродить город, нужно нечто большее, нежели просто отстроить дома и проложить новые улицы (говорят, что они хотят сделать одну улицу шириной в сто метров!). Ну а что будет с духовным возрождением?.. Неожиданно для самого себя я очутился на дороге, ведущей к кладбищу безыменных у холма Хидзи-яма. У меня было такое чувство, будто мне необходимо посетить Ясудзи и Сумико...

Солнце уже заходило. На кладбище я увидел старую женщину, стоявшую на коленях; она причитала: «Хадзимэ, Хадзимэ!» Так, вероятно, звали ее сына или внука. Мне были понятны ее чувства. Я потихоньку ушел, чтобы не мешать ей. Над улицами Хиросимы подымалось алое зарево вечерних огней...»

Записи Кадзуо М. в 1947—1948 годах отражают еще большие душевные бури, чем его прежние заметки. Юноша все яснее понимает, что ему вряд ли удастся сохранить свою «чистоту» среди людей, лихорадочно прожигających жизнь, в мире, который отталкивает его своей бессердечностью и коррупцией. Его протест против послевоенных нравов выливается в крик ненависти. В то же время неумение жить в изменившейся обстановке и мириться с нею вовлекает Кадзуо во все более острые конфликты, приводит к все более опасным ситуациям. Сам он называет этот период своей жизни «периодом странствований от

профессии к профессии». Вот что мне довелось прочитать в его дневнике:

«Месяц X, день X, 1947 год. С сегодняшнего дня я работаю в небольшом кинотеатре «Асахи». В отделе рекламы. Эту работу я нашел по газетному объявлению. С детства я люблю рисовать и поэтому решил, что реклама для меня самое подходящее занятие. Буду прилагать все усилия, чтобы удержаться на этой работе.

Первый день: промыл шестьдесят кистей. Они склеились и затвердели от засохшей краски. Я подумал: как можно было так запустить прекрасные кисти? Вычистил их, как мог, тщательно. А потом начал расклеивать плакаты. Это совсем не просто. Но, в общем, сегодня у меня счастливый день. Начальник отдела рекламы, видно, очень милый человек».

«Месяц X, день X, 1947 год. Сегодня я имел стычку с киномехаником. Причиной спора был хиропон. Я сказал ему, что ночная работа меня утомляет. Тогда он посоветовал мне прибегнуть к хиропону. Вероятно, без всяких задних мыслей. Я ответил, что этот наркотик вреден для здоровья. Он обозлился и обозвал меня трусом. В ответ я крикнул: «Бакаяро!» («Дурак!»). Начальник отдела рекламы разнял нас, и спор прекратился. Но потом мой шеф сказал мне: «Я вас вполне понимаю. Но без хиропона ночью работать невозможно. Сейчас у вас еще хватает здравого смысла, но подождите, в один прекрасный день и вы захотите сделать себе несколько инъекций хиропона. Что говорить — вы еще очень молоды!»

2

«Месяц X, день X, 1947 год. Я все еще размышляю над тем, что сказал тогда мой начальник. Может быть, я действительно просто молокосос. Но ведь я разбираюсь, что хорошо и что дурно. Я подумал: если бы Ясудзи остался жив! С тех пор как я его потерял, я совсем одинок. По правде сказать, я и с ним часто ссорился. Нередко мы говорили друг другу колкости, но в глубине души каждый из нас знал: а все-таки он замечательный парень! Когда я чувствовал себя несчастным, ему всегда удавалось меня развеселить. Иногда мне кажется, что я потерял его только вчера. А иногда — что с тех пор прошло уже много, много

лет. Я даже не знаю, что он думал в свои последние минуты. Если бы можно было крикнуть: «Эй, Ясудзи!» И чтобы он появился передо мной, тараща свои большие глазищи, и ответил: «Я здесь!» Если бы да кабы! Если бы он жил... Если бы он вернулся... Вздор! Ясудзи никогда не вернется. Спи спокойно, Ясудзи...»

«Месяц X, день X, 1947 год. Я поклялся себе, что не буду ввязываться в споры. Но не прошло и полугода, как я снова попался, затеяв политическую дискуссию со своим начальством...

Мой оппонент был не из тех, кто терпит возражения. Воспользовавшись правом начальника, он приказал мне явиться после киносеанса в зрительный зал. Ничто на свете не кажется таким печальным и сиротливым, как пустой кинозал. Я сел рядом с начальником. Ни слова не говоря, он смотрел на меня. А потом его губы задергались. Видно, он был в страшном гневе. Я сказал себе: «В этом споре я окажусь победителем». Но до этого дело не дошло. Начальник крикнул: «Дурак! Ничтожество!.. С завтрашнего дня... ты уволен...»

Все произошло мгновенно. Он уже давно вышел из зала, а я все еще не мог собраться с мыслями. Слова «с завтрашнего дня ты уволен» оглушили меня, как неожиданный нокаут. Совершенно разбитый, я сидел в пустом кинозале... Так я во второй раз испортил себе карьеру».

3

«Месяц X, день X, 1947 год. «Если на свете есть бог, который дает человеку упасть, то есть также кто-то, кто поднимает упавшего», — говорит пословица. Уже на третий день после моего увольнения я с помощью одного из наших соседей поступил на работу в фирму «Кирита и К^о». Эта фирма занимается коммунальным хозяйством. Я буду работать помощником инженера, проектирующего котельные установки. Фирма действительно солидная, не только на вид, но и по существу.

Всего помощников — человек пятнадцать-шестнадцать, и мы так самозабвенно чертим, что никто из нас даже не оглянется. Эта работа мне очень нравится, и я отношусь к ней с большим уважением... У нас часто

бывает так тихо, что слышишь собственное дыхание. Инженер Тэрада — мой учитель — посвящает меня во все тонкости ремесла. А так как я уже в средней школе познанился с основами черчения, то я быстро делаю успехи».

«Месяц X, день X, 1948 год. Наконец-то у меня оказалось несколько свободных дней, и я, как бывало раньше, бесцельно бродил по улицам. Все еще попадаются места, которые напоминают мне о «том страшном дне». Но «химемукаси-ёмоги» * уже нигде не растет. Проценто шестьдесят домов отстроено. Всюду слышен стук молотков, всюду возводятся новые здания... Перед мостом стоит какой-то бывший солдат в белом балахоне. На шее у него висит коробка, и он кричит прохожим: «Пожертвуйте, жертвуйте...»

«Месяц X, день X, 1948 год. Уже месяц, как на нашем предприятии ходят слухи, что нас переведут в другое место. А сегодня нам это объявили официально. Меня посылают в лагерь оккупационных войск в Кайтайти. Начальник отдела заявил мне: «Нам поручено оборудовать отопительную систему в военном городке Кайтайти. Для этого нам потребуется пять-шесть истопников, два-три инженера и один помощник. Вы будете работать помощником...»

Во второй половине дня мы на грузовиках перевезли в наше новое чертежное бюро в Кайтайти письменные столы и чертежные принадлежности. В котельной, в проходной будке и в рабочих помещениях пахнет свежей краской... Когда мы устанавливали столы, вошел австралийский солдат и сказал: «Коннити-ва» («добрый день»). Меня удивило, что он говорил чисто, без всякого акцента. Солдат улыбнулся мне и выложил весь свой запас японских слов: «одзёсан» («девушка»), «аригато» («большое спасибо»), «икура дэс?» («сколько стоит?»), «Ханако-тян» (женское имя), «мо-такусандэсу» («довольно, довольно»). Все эти слова он сопровождал движениями рук и даже ног. Мы смеялись. Целых полдня он помогал нам перетаскивать письменные столы и стулья. Никогда не думал, что среди чужеземцев есть такие люди! Мое мнение об иностранцах начало меняться. Сол-

* Сорная трава, которой после «пикадона» поросли развалины.

дата зовут Джонни, а меня он окрестил Кассу-сан *. Мы недурно изъясняемся, хотя и на ломаном языке. Он даже подарил мне плитку шоколаду».

«Месяц X, день X, 1948 год. Джонни — это, по-видимому, не настоящее его имя. Он привел к нам еще одного унтер-офицера. Тот говорит, что его также зовут Джонни. Может быть, впрочем, у них одно и то же имя. Непонятно. Что ж, буду называть обоих Джонни. Второму Джонни восемнадцать лет, и рост у него шесть футов. Я рассказал обоим Джонни об атомной катастрофе. Рассказал им также про Ясудзи и Сумико. Жаль, что я так плохо объясняюсь по-английски. Тем не менее они прекрасно поняли, о чем идет речь. «Oh, Atom bomb, Hiroshima», — пробормотали они совсем тихо. А в конце, когда я сказал: «No more Hiroshimas!», они повторили мои слова.

Как помощник инженера, я должен проверять, попадает ли горячая вода в трубы на всей территории этого большого военного городка. Поэтому мне приходится работать и в той части городка, где перед входом написано: «Prohibited Area for Japanese Trespassing!» («Для японцев — запретная зона!»). В штабе мне выдали специальный пропуск. Но мне обидно, что я, японец, не имею права без особого разрешения ходить по японской земле. Еще больше я обозлился, когда прочел на обороте пропуска, что по окончании соответствующей работы мне надлежит немедленно покинуть запретную зону. Но ведь это же наша собственная страна!»

4

«День X, месяц X, 1948 год. Один из австралийских солдат с окладистой бородой, размахивая небольшим хлыстом, громко вопил: «No loitering!» («Хватит лодырничать!»). Истощенные японские поденщики работали так, словно за ними гнались с палкой. «Хаба-хаба! ** по loitering!» Становится не по себе, когда хлыст со свистом рассекает воздух.

* Искаженное Кадзуо или Кадзуо-сан. — *Прим. ред.*

** Живее! Живее! (*японск.*)

Здесь не щадят даже тех крох человеческого достоинства, которые каждый победитель обязан признать за побежденным. С японцами обращаются, как с животными, притом как с самыми презренными животными: мы для американцев хуже свиней и пресмыкающихся. И нам, бедным японским парням, приходится сносить все унижения.

Когда после обычного обхода городка я вернулся в чертежное бюро, оказалось, что и там были неприятности. Один из истопников заявил, что у него украли наручные часы. Никто не сомневался, что это дело рук кого-нибудь из солдат. Они ведь не стесняются. Недавно к нашей машинистке один за другим приставали трое солдат. Я услышал также, что солдаты просто-напросто «похитили» прачку-японку и заперли ее на каком-то складе. Все вздыхают: «Они победители. Ничего не поделаешь».

Обычно жертвам только и остается, как у нас говорят, «поплакать в подушку». Я посоветовал истопнику пойти в штаб и заявить о пропаже. Сегодня весь день неприятные происшествия».

«Месяц X, день X, 1948 год. Я проверял в солдатских спальнях. Вдруг откуда-то донесся женский голос. Женщина кричала... Я побежал туда, где слышался крик, чуть-чуть приоткрыл дверь и просунул голову. Я увидел совершенно голую женщину в объятиях мужчины. Впрочем, мне отнюдь не показалось, что он ее принуждает к чему-то. Ничего не понимая, я от изумления ахнул. Они отпрянули друг от друга, словно их ударило электрическим током. Потом уставились на меня. Когда женщина увидела, что я совсем молодой, она грязно ухмыльнулась.

Мне хотелось громко крикнуть: «Предательница!» Но от волнения я охрип и пробормотал что-то невнятное. Выражение лица женщины внезапно изменилось. Она схватила стакан, стоявший возле нее. «Сейчас она бросит стакан в меня!» — подумал я. И в ту же секунду стакан ударился о дверь и разбился вдребезги.

— Вон отсюда, негодяй! — взвизгнула женщина. Вскочив, она начала осыпать меня непристойной бранью. Кожа у нее была очень светлая. Я плюнул и убежал. А потаскуха орала что есть мочи.

Позже, сидя за своим чертежным столом, я никак не мог забыть ее странно белого тела и рук, похожих на змей».

5

«— Эй, ты, атом-бой!

В котельную вошел солдат. Это был Никсон. Он часто приходил к нам, бил истопников и, так как они не сопротивлялись, забавы ради бросал в них куски угля. Он был гибок, как змея, и притом неплохой боксер.

Никсон подошел ко мне, кивнув, показал на жестянку с пивом и начал что-то быстро лопотать. Я расслышал: «Beer... hot... boiler... shovel...» — и сообразил, что он хотел мне сказать: «Положи консервную банку на лопату и подогрей ее в котле». Если бы я лучше говорил по-английски, то ответил бы ему: «Я вам не лакей. А из любезности тоже не желаю ничего делать для вас, потому что вы всегда издеваетесь над истопниками». К сожалению, я не мог выразить все это на чужом языке. Поэтому я ответил коротко, но горячо: «No!» («Нет!»).

На его лице я прочел ярость и удивление.

— Молчать! — заорал он. При этом он подмигнул, словно хотел показать, что смеется надо мной. Правую руку он сжал в кулак и приложил к груди, а левой раза два-три замахнулся на меня.

Обычно я не обращал особого внимания на подобные унижения. Но на этот раз, все еще взволнованный сценой с той женщиной и солдатом, сказал себе: «Если он тронет меня хоть пальцем, я с ним рассчитаюсь».

Я схватил лопату, лежавшую возле меня. Почти в тот же момент Никсон ударил меня ногой. Он попал мне в локоть. Было так больно, что лопата выпала у меня из рук. «Дзи-и-ин!» Я чуть не потерял сознания. «Ах, черт!» Я поднял лопату и, ничего не видя, взмахнул ею в воздухе. Раз... Другой... На третий я почувствовал, что куда-то попал.

— Кадзуо-сан, вы, вы...

Когда я пришел в себя, возле меня стояли несколько наших рабочих. Они крепко держали меня за руки. На руке я ощущал что-то липкое. Это была кровь. Всюду кровь... Даже на моем комбинезоне. Отвратительно. А у моих ног лежал Никсон.

Очевидно, я его убил...

Я знаю: между моей стычкой с Никсоном и страшным атомным несчастьем нет прямой связи. Но в самой глубине моего сердца остался печальный след от ожога. Толстые рубцы от ожогов на лицах, руках и ногах до известной степени можно излечить с помощью хирургического вмешательства, но «келоид» в моей душе никогда не исчезнет... И каждый раз, когда я вижу чужеземца, рана снова открывается.

Так было и сейчас. Правда, Никсон не участвовал в разрушении Хиросимы. Не он убил Ясудзи и Сумико. Нет, не он. Но Никсон пользовался тем, что принадлежал к касте победителей, он унижал всех японцев, презирал нас. Этого я не мог ему простить. Пусть мое тело разрежут на куски, все равно я отомщу за гибель Хиросимы. Это чувство может понять только тот, кто сам стал жертвой атомной бомбардировки. И только его сердце может вместить такую слепую ярость, какая бушевала в моем).

6

«— Кадзуо-сан, беги скорей, спеши, не мешкай! — кричали мне товарищи по работе, и в их голосах слышался страх.

— Зачем мне бежать? — крикнул я. — Ведь я ни капли не жалею, что прикончил Никсона. Никсон хоть и не американец, но он чужой, он победитель.

— О'кэй, о'кэй... уходи скорее домой.

Я обернулся. Позади меня стояли оба Джонни. С радостным изумлением я заметил, что их лица не выражали злобы.

— А теперь, Кадзуо-сан, предоставь нам остальное. Мы все уладим. Если ты останешься, будет гораздо сложнее.

Конечно, удирать — это трусость! Но все были так взволнованы и встревожены. Я решил пойти домой.

Я тотчас же рассказал родителям обо всем случившемся.

— Если я действительно убил Никсона, военная полиция уже поставлена на ноги, чтобы арестовать меня, — заметил я.

Когда я кончил свой рассказ, мать громко заплакала; ее слезы капали на пол. Отец был бледен. Он вперил взгляд в угол комнаты...

— Перестань плакать! — резко приказал он матери. Отец делал вид, будто он вовсе не встревожен, в действительности, однако, это было не так.

— Кадзуо, — начал он, — ты один во всем виноват, и ты за все отвечаешь... Ты сейчас же должен явиться в свою фирму, поговорить с директорами и принять решение.

Я встал. Я слышал, как у нашего дома остановилась машина. «Это они», — подумал я.

Я сразу же вышел. На улице стояли оба Джонни, переводчик и один из директоров фирмы. Военной полиции не было видно.

— Коннити-ва, — сказал Джонни номер один и подмигнул мне... Тяжелое, давящее чувство, которое я испытывал, сразу исчезло: после подмигивания Джонни его словно ветром сдуло.

Переводчик сказал, что Никсон жив. Правда, его левая щека разодрана острым краем лопаты, щеку придется зашивать. Никсон расsvирепел и все время орет: «Яр! Яр!» («Япошка! Япошка!») Явиться завтра на работу мне будет опасно. Чтобы избавить фирму от неприятностей, лучше всего вообще подать заявление об уходе. Никсона из-за его грубости очень не любят собственные товарищи. Оба Джонни отчитали его и настояли на том, чтобы он не трезвонил повсюду о случившемся.

Ко всему этому директор добавил еще несколько слов:

— Сегодняшний инцидент нас удивил. Но мы вас не упрекаем. Вы показали, что у нас, японцев, тоже есть чувство собственного достоинства. Благодаря стараниям двух австралийских солдат это происшествие, к счастью, не получит огласки.

Я сейчас же написал заявление об уходе. Отец с матерью очень обрадовались, услышав, что дело будет улажено, если я уволюсь. Они без конца благодарили обоих Джонни.

Так я в третий раз потерял работу».

ДЕВУШКА С ПАЛОЧКОЙ

1

Итиро рассказывает:

«Прежде чем девушка входила в класс, мы уже слышали, что она идет. «Тук, тук, тук», — выстукивала палка, ударясь о цементный пол домика Куонсет, в котором помещалась «Школа иностранных языков Хиросимы» и три раза в неделю проходили занятия по английскому языку для начинающих. Фудзита, бывший матрос-смертник, толкал меня в бок.

— Внимание! Идет твоя «девушка с палочкой».

Итиро уже издали слышал стук палки по камням. С притворным равнодушием он смотрел в одну точку. Он надеялся, что девушка сядет в переднем ряду и тогда целый час ее толстые косы будут у него перед глазами!

Он уже не жалел о том, что Фудзита, который, как и он сам, работал монтером на электростанции в Сака, уговорил его записаться на курсы английского языка. Итиро уступил настояниям товарища только потому, что ему очень хотелось заполнить чем-нибудь свой досуг и забыть об исчезновении друзей из «Замка подсолнечника». Но, войдя в первый раз в помещение школы и увидев крест над входом, он чуть было не повернул обратно. Неужели он добровольно ползет в сети, расставленные христианами? Ведь именно христиане в солдатской форме сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки.

Так рассуждали тогда многие в Хиросиме. Тем не менее именно в первые послевоенные годы христианские миссии в Японии, как протестантские, так и католические, пользовались большим успехом. Их школы и мероприятия по оказанию помощи населению привлекали

японцев, которые использовали возможность учиться за небольшую плату, а то и вовсе бесплатно. Некоторые преследовали еще более конкретные цели. Зная, что церковные организации часто раздают деньги или вещи, они надеялись, что ученикам христианских школ, а тем более новообращенным «христианам» будет оказываться предпочтение. Крайние националисты и военные преступники, разыскиваемые оккупационными властями, охотно прятались у христианских священников. Так, например, капитану Кусуда, военному летчику, участвовавшему в нападении на Пирл-Харбор, удалось под вымышленным именем на время устроиться помощником известного протестантского священника в Хиросиме.

Итиро отнюдь не хотел походить на тех своих сограждан, которые, стараясь быть «больше американцами, чем сами американцы», подражали победителям в языке, одежде и манерах. С другой стороны, ему не нравилось, что японцы осыпают своих противников-христиан грубыми насмешками, не нравилось, что вслед христианам издевательски кричат: «Аминь, аминь!», что над ними смеются только из-за их веры. Из недовольства недовольными Итиро в конце концов записался в христианскую школу иностранных языков. Он решил, что невредно побывать и там.

С тех пор как появилась «девушка с палочкой», Кавамото аккуратно посещал вечерние курсы. Однако он не смел заговорить с ней. Украдкой он клал английский журнал на парту молодой девушки в надежде, что она заберет журнал домой и найдет вложенную между страницами записочку с анонимным приветом. Это было единственное, на что решался Итиро.

Как-то после урока Итиро остался сидеть, делая вид, будто ему надо еще что-то записать. На самом деле он наблюдал за тем, возьмет ли девушка журнал. И действительно «она» начала листать журнал и нашла записочку, в которой было сказано: «Журнал больше не нужен. Берите его смело!» «Ну что ж, значит, удалось», — подумал Кавамото и побежал вслед за Фудзитой, с которым он каждый вечер возвращался в Сака.

— Знаешь ли ты хоть, как ее зовут? — спросил бывший участник операций «Токкотай» (операций смерт-

ников). По его мнению, операция «Девушка с палочкой» развивалась слишком медленно.

— Понятия не имею. Ведь учитель никогда не называет нас по имени.

— Но ведь она приходит на каждый урок. Разве трудно заговорить с ней?

— Когда идет дождь, она не приходит, — поправил товарища Кавамото. — Вероятно, из-за больной ноги. В такие вечера я сам не свой. Давай лучше называть ее «Гэта-сан» («девушка в деревянных сандалиях»). Деревянные сандалии тоже стучат.

— Зачем менять ей имя?

— «Девушка с палочкой» плохо звучит. Ведь неизвестно, что с ней, бедняжкой, случилось.

— Этого я не знаю. Зато я знаю, что ты в нее влюблен, — заметил Фудзита и, чтобы насмешить товарища, округлил свои и без того круглые черные глаза.

— Вздор! — сказал Кавамото. — Я вообще не интересуюсь девушками.

2

До того как с двенадцатилетней Токиэ Уэмацу случилось несчастье, она собиралась стать танцовщицей. Учительницы, обучавшие Токиэ классическим японским танцам, были очарованы ее красотой, грацией и выдержкой. По случаю приезда члена императорской фамилии принца Такэмацу, который в 1943 году должен был принимать в Хиросиме парад войск и «патриотической молодежи», девочка получила в подарок от своих родителей новые спортивные туфли на резиновой подошве. Незадолго до начала парада она вспомнила, что оставила что-то в классе. Токиэ помчалась на второй этаж, но поскользнулась на лестнице. Ее привезли домой со сложным переломом бедра.

Отец Токиэ — кузнец, значительно расширивший во время войны свою кузницу, — истратил на лечение дочери целое состояние. Когда за одну из многочисленных мучительных операций, которым подвергалась дочь, ему пришлось заплатить тысячу иен, все соседи сбегались, чтобы взглянуть па тысячеиеновую бумажку и пощупать ее. Таких денег они еще никогда не видели.

Однако ни молитвы, ни добровольные посты семьи Уэмацу (одна из сестер поклялась не пить чаю до выздоровления Токиэ) не помогали девочке. Только один приехавший издалека профессор нашел в конце концов способ лечения, обещавший молодой девушке полное исцеление. Правда, ей пришлось бы еще много месяцев носить гипсовый «корсет» от груди до пальцев ног.

Токиэ уже делала первые осторожные шаги, как вдруг недалеко от ее дома засверкала «великая молния». Еще не понимая, что произошло, девочка услышала такой шум, «словно закричали тысячи, десятки тысяч людей».

— Казалось, — рассказывает Токиэ, — что обрушился горный хребет. У упала в саду. «Опять будет перелом кости!» — это было последнее, что я успела подумать.

Предчувствия Токиэ, к несчастью, оправдались. Новый двойной перелом бедра уничтожил надежду на окончательное выздоровление. В те августовские дни 1945 года немногие уцелевшие врачи были перегружены лечением более тяжелых увечий, чем перелом бедра. С помощью одной из своих сестер Токиэ начала лечиться собственными средствами. В конце концов она добилась того, что рана закрылась, гной перестал выделяться и кости начали срастаться, но срастались они неправильно. На всю жизнь Токиэ осталась калекой. Под впечатлением этого она писала в своем дневнике: «Мне теперь четырнадцать лет. Конечно, я не знаю, сколько проживу на свете, но я бы охотно перепрыгнула через счастливый семнадцатилетний возраст, чтобы сразу превратиться в почтенную пожилую даму лет шестидесяти».

«Пикадон» полностью разрушил кузницу семьи Уэмацу, находившуюся в районе виноградников в Одзумати. Кузнецом отец так и не смог устроиться, так как пострадал от радиоактивного излучения и не был в силах заниматься своим прежним делом. На первых порах Уэмацу открыли недалеко от главного вокзала палатку, в которой они продавали носки и нижнее белье. Когда Уэмацу-сан стал поправляться и получил кое-что из своих сбережений, он начал понемногу перепродавать сырье. В конце концов он вложил все свои деньги в спекуляцию мылом. Он покупал мыло за наличные деньги оптом, крупными твердыми брусками, разрезал их на куски

и продавал в розницу. Однажды Уэмацу отпустили товар в больших бочках. Когда он вскрыл бочки, оказалось, что в них упаковано не твердое мыло, как всегда, а жидкое, маслянистое, грязное месиво, которое он не мог сбыть. Так как Уэмацу заплатил за товар наличными, он потерял почти весь остаток своих сбережений.

«Мне тоже придется работать, чтобы семья могла существовать». К этому выводу Токиэ пришла, прислушиваясь к разговорам встревоженных родителей, возвращавшихся поздно вечером домой после тщетных поисков заработка.

Девушка решила поступить в христианскую школу иностранных языков в Матоба-гё, чтобы изучить английский язык. Она надеялась со временем найти место секретарши.

Однако вначале Токиэ обуревали те же сомнения, что и Кавамото. Подобаает ли ей изучать язык тех, кто обрушил на нее и ее семью такие несчастья?

Она посоветовалась с отцом, и он напомнил ей об одном разговоре, происшедшем еще в то счастливое время, когда Токиэ была веселой, полной надежд школьницей. Она училась тогда в четвертом классе. Однажды девочка вернулась домой с большой шишкой на лбу, с синяками, в разорванном платье. Она подралась с двадцатью школьниками из-за маленького корейца, которого японские ребята довели до слез, крича ему вслед, что от него несет чесноком. Токиэ уже много раз видела, как дети мучили корейского мальчугана, но на этот раз она не стерпела.

В тот вечер Уэмацу-сан сказал своей любимой дочери: — Ты ведь знаешь, что девочкам драться нельзя. Пожалуйста, не делай этого. Но по существу ты была совершенно права: человек не может быть хуже других только потому, что он родился в другой стране.

— То, что я сказал тебе тогда, осталось в силе... — заметил отец Уэмацу, заканчивая разговор с дочерью о ее предполагаемом обучении английскому языку.

И вот Токиэ начала изучать язык тех, кого она ненавидела со дня «пикадона».

Чтобы испытать себя и проверить догадку Фудзиты о том, что он влюблен в «девушку с палочкой», Итиро Кавамото попросился в морскую поездку в Симоносэки. Как-то он уже ездил от своего предприятия по морю: они закупали на островах продовольствие для рабочих. На этот раз предполагалось более дальнее и продолжительное путешествие. Самое меньшее неделю Итиро не сможет посещать школу иностранных языков. Заметит ли «она» его отсутствие?

Их было четверо. В шторм они вышли в море на моторной шлюпке «Кёэй мару», чтобы забрать огнеупорный кирпич для котельной электростанции. К полудню море успокоилось. Под косыми лучами зимнего солнца шлюпка, испытывая легкую килевую качку, пробиралась по проливу Миядзима. Вдали на бледно-лиловом небе вырисовывались красиво изогнутые, покрытые красным лаком «тории» в знаменитом святилище на острове. Снова поднялся ветер. Он гнал волны, увенчанные бесчисленными белоснежными барашками. Море походило на луг из стекла, где пышно расцветали и мгновенно разбивались вдребезги белые цветы.

С последними лучами заходящего солнца шлюпка «Кёэй мару» бросила якорь в гавани, названия которой Кавамото не знал. Домики с травяными крышами, уютившиеся на светлом песке берега, окаймленного вдали высокими соснами, и мирная тишина, царившая вокруг, глубоко тронули Итиро, которому уже казалось, что в мире нет ничего, кроме развалин и шумных лавчонок перекупщиков. Он вытащил тетрадку с рисунками Тибико (скелеты домов, покосившиеся хижины, развалины церкви Нагарекава, в которой не осталось ни одного целого окна) и набросал идиллическую картину, расстилавшуюся перед ним. Потом при свете лампы он написал несколько писем: преподавателю английского языка Цукусимо, своему приятелю Фудзита-сан и, наконец, после некоторого колебания, с тревожно бьющимся сердцем — «девушке с палочкой».

На следующий день маленькое судно попало в тяжелый шторм. После того как оно миновало остров Убэ, пошел дождь. А потом поднялся сильный ветер, превратившийся уже через несколько минут в бурю. Шлюпку

«Кёэй мару» сильно качало. Но еще опаснее штормовых волн были черные заросли морской травы. Гигантские волны отрывали их от дна и выбрасывали на бурную поверхность моря. Трава цеплялась за винт шлюпки, несмотря на то что мотор работал на полную мощность. Объятия этих бледно-зеленых лиан оказались сильнее, нежели металл лопастей, неистово ударявших по ним.

Внезапно мотор умолк, и лодка начала беспомощно кружиться на волнах. Теперь осталась только одна возможность избежать крушения: надо было, не выходя из лодки, разрубить зеленые цепи, сковавшие суденышко. Кавамото, привязанный только узким кожаным ремнем, почти всем корпусом перегнулся через борт и начал борьбу с зеленой гидрой, орудуя длинным «тоби» — тем самым инструментом, который навсегда остался у него в памяти как атрибут страшных сцен сжигания трупов после «пикадона». Огромная волна вывела смельчака из строя. Теперь очередь была за самим капитаном. Ему наконец удалось освободить винт.

Но борьба с волнами высотой с гору и с подводными джунглями не прекращалась. Четыре раза винт застревал в водорослях, и четыре раза Кавамото прощался с жизнью.

Мысленно он писал «девушке с палочкой» множество прощальных писем, мысленно он сказал ей то, в чем до сих пор не смел признаться даже самому себе. Когда они наконец прибыли в порт Онода, Итиро, не успев снять с себя насквозь промокшую одежду, черкнул несколько строк любимой девушке. Но в этом письме не было ни слова о том, что он передумал в часы величайшей опасности.

На конверте Итиро написал: «Хиросима. Школа иностранных языков. Девушке с красивой еловой палкой».

4

Когда, вернувшись из своей поездки, Итиро Кавамото в первый раз явился в школу, «девушка с палочкой» не показала виду, что получила от него письмо. «Отважного искателя приключений» это несколько разочаровало. И в то же время он испытал чувство облегчения. «К счастью, письмо, кажется, пропало», — думал он, озабоченный единственно тем, чтобы предмет его обожания не

обиделся на него за навязчивость. Он опасался, что девушка, стремясь избежать встреч с ним, вообще перестанет посещать занятия. Мало-помалу его надежда на халатность почты превратилась почти что в уверенность. Девушка регулярно приходила на уроки, однако по-прежнему держала себя с ним, как с чужим.

И все же Токиэ действительно нашла на своей парте открытку, всю исписанную английскими буквами. На оборотной стороне открытки был изображен красивый вид какого-то порта в час заката. Под открыткой стояла подпись — Итиро Кавамото.

— Я тогда понятия не имела, кто такой Итиро Кавамото, — рассказала мне Токиэ, — и, к сожалению, должна признаться, что не поняла ни слова. Правда, я взялась за англо-японский словарь, но так и не нашла ни одного из незнакомых слов. А мне очень хотелось знать, что там написано. Поэтому я обратилась к нашему преподавателю и спросила его:

— Сэнсэй, не соизволите ли вы мне это перевести?

Преподаватель минуту смотрел на открытку, а потом громко рассмеялся.

— Уэмацу-сан, неужели вы и вправду не можете это прочесть?

— Не могу. Но я приложу все старания, чтобы впредь заниматься лучше.

— Ха-ха... Письмо ведь написано по-японски, только английскими буквами.

Разбирая загадочные строки, Токиэ наконец поняла смысл письма. Но кто же этот Итиро Кавамото? Вероятно, он тот самый, кто регулярно кладет на ее парту журналы. Несколько раз в журналах оказывались даже конфеты. Тем не менее девушка терялась в догадках. Преподаватель никого не называл по имени, а сама она стеснялась спрашивать.

— После урока в классе всегда оставалось двое учеников, чтобы навести порядок, — рассказывает Токиэ. — Один из них преувеличенно громко пел и суетливо бегал по классу. Второй вел себя очень тихо и, по-видимому, был поглощен своим делом. Мало-помалу я решила, что Кавамото-сан — это юноша, который пытается обратить на себя внимание громким пением.

В то время я посещала не только школу иностранных языков, но также христианские богослужения. ... Я ре-

шила посвятить свою жизнь религии и спросила учителя, можно ли мне креститься. Кроме меня, еще пятеро японцев должны были принять христианство.

В один прекрасный день веселый певец подошел ко мне и сунул мне в руки записку, в которой было сказано:

«Попытайтесь выучить эти слова к дню крещения. Кавамото».

— Итиро просил меня передать вам эту записку,— сказал «певец».

Я поняла, что ошибалась. Не его, а того, другого, кого я мысленно окрестила «тихоней», звали Кавамото.

5

В самом конце ноября священник обратился ко всем учащимся курсов иностранных языков:

— Если кто-нибудь из вас еще перед рождеством хочет принять крещение, пусть уже теперь заявит об этом.

— Что такое «крещение»? — спросил Кавамото своего товарища Фудзита.

— Крещение — это... для того чтобы стать христианином, — объяснил тот кратко.

Кроме немногих воспоминаний детства о перуанских алтарях с богатыми золотыми украшениями и нескольких воскресных богослужений в Хиросиме, на которых Итиро присутствовал главным образом для того, чтобы издали полюбоваться «девушкой с палочкой», Кавамото в то время ничего не знал о христианстве.

Тем не менее он решил креститься. Впоследствии он писал в своем дневнике:

«К крещению меня побуждала не вера, а какое-то мне самому неясное чувство. Мне хотелось возложить на себя бремя ответственности. И потом, мне казалось, что, если я когда-нибудь пойду по скользкой дорожке, факт моего крещения станет для меня опорой, своего рода незримым заветом, договором, который свяжет меня. Не могу сказать, что меня побуждали принять христианство какие-то глубокие чувства, связанные с этим учением, или что христианская вера меня особенно трогала и привлекала. Если бы вечернюю школу возглавляла какая-нибудь другая, совсем иная религиозная община, я, вероятно, примкнул бы и к ней».

В последнее предрождественское воскресенье шесть человек, которым предстояла церемония крещения, собрались в сколоченной из листов жести церкви Матобатё за вокзалом. Было страшно холодно. Ночью неизвестные злоумышленники снова вырезали дорогостоящие оконные стекла, которые так трудно было заменить. В помещении гулял ледяной ветер, и свечи все время гасли.

Вместе с Итиро Кавамото к «таинству крещения» готовились шестидесятилетний старик, по имени Нисикава, утверждавший, что он уступил настоящим жены, желая иметь дома покой; Миякэ — студент университета в Токио; Окамото — ученик высшей сельскохозяйственной школы в Санъё; бывший матрос-смертник Фудзита и «девушка с палочкой».

Всех вновь обращаемых ввели в церковь через левый придел. Потом они прошли вперед к алтарю, возле которого стояла большая рождественская елка.

Нужно было опуститься на колени. Но маленькая Токиэ не могла согнуть свою больную ногу.

Итиро, стоявший слева от нее, шепнул:

— Разрешите принести вам маленький стульчик?

Впервые он обратился к ней прямо.

— Не беспокойтесь, пожалуйста, — прошептала девушка.

Она была так смущена, что с трудом произнесла заученные слова, которые требовала церемония крещения.

Когда все кончилось и вновь обращенные христиане должны были встретиться за совместной трапезой, Токиэ неожиданно исчезла. Ее искали повсюду. Наконец выяснилось, что она ушла, сославшись на необходимость срочно вернуться домой.

Итиро не получил никакого удовольствия от пиршества, хотя уже давно не ел таких вкусных яств. Он все время думал: «Быть может, я ее обидел, навязывая свою помощь?»

Только гораздо позднее Итиро узнал, почему «девушка с палочкой» так поспешно ушла. Ее глубоко тронули приветливые слова чужого человека, его забота о ней, обиженной судьбой калеке. Она давно смирилась со своей участью и считала, что ей предстоит одиночество, жизнь без дружбы и любви. А теперь? Неужели все складывается по-иному? Токиэ хотелось подумать об этом

в тишине, вдали от людей. Ей необходимо было собраться с мыслями.

За церковью был кинотеатр. Тот самый, в котором Итиро со своими друзьями из «Замка подсолнечника» смотрел когда-то чаплинский фильм. Токиэ купила билет и уселась в темном зале.

— Я еще помню название фильма, — говорит она. — Словно в издевку, он назывался «Первая любовь». Но что происходило на экране, этого я сказать не могу, так как была поглощена собственными мыслями. За два часа я много передумала, очень много.

Часть третья

ГОРОД МИРА

(1948-1952)

ОДИНОЧКИ

1

— Аллилуйя, — донеслось с улицы в комнату Токиэ.

— Твой «почтальон» уже тут как тут, — насмешливо сообщила старшая сестра, — скажи ему, пусть наконец войдет в дом.

«Девушка с палочкой», прихрамывая, подошла к двери. У входа стоял Итиро Кавамото. Как всегда, он припас для Токиэ маленький подарочек. И, кроме того, разумеется, письмо. С некоторых пор они писали друг другу ежедневно. Но, поскольку почте для доставки писем требовалось гораздо больше времени, чем проходило между их встречами, они, прежде чем попрощаться, лично обменивались посланиями.

После крещения Токиэ не появлялась больше в школе. В один прекрасный день Итиро преодолел свою застенчивость и отправился к девушке. Предлогом послужила долгожданная библия на английском языке, которую наконец-то после долгих проволочек выдали ученикам школы иностранных языков. В оправдание своего визита Кавамото сослался на то, что счел своим долгом, проходя мимо дома бывшей соученицы, занести ей библию. Он тут же собрался было удалиться, но Токиэ нашла в себе достаточно присутствия духа, чтобы поговорить с гостем и тем самым задержать его, хотя неожиданный приход юноши смутил ее.

За этой первой беседой на улице, перед домом, последовало еще множество таких же бесед. Итиро начал приходить к девушке чуть ли не каждый вечер после конца работы. Однако промелькнул целый месяц, прежде

чем юноша в первый раз переступил порог ее дома.

— Я не хочу смущать ваших родных, — извинялся Итиро. При его деликатности ему было ясно, что состоятельные в прошлом Уэмацу должны страшно стесняться своей бедности.

С начала 1948 года материальное положение семьи сильно ухудшилось.

— Правда, моя сестра зарабатывала немного шитьем, — вспоминает Токиэ, — но, за что бы ни брались отец с матерью, стараясь стать на ноги, все кончалось неудачами. Изо дня в день картошка была нашей единственной пищей. Чтобы внести в наше «меню» некоторое разнообразие, мы сами варили себе что-то вроде карамели из обыкновенного сахара. Иногда мне удавалось сэкономить немного самодельных конфет и обменять их на книги.

Однажды, когда в доме впервые за долгое время появилось несколько свободных иен, сестра Токиэ пригласила скромного Итиро к обеду. Стол накрыли в коридоре, на нем были две тарелки, две ложки и ваза с цветущей веткой. Но «девушка с палочкой» была так взволнована, оказавшись вдвоем с «незнакомым мужчиной», что не могла проглотить ни ложки пшеничной каши, приправленной пряностями.

— В этот вечер я записала в своем дневнике: «Спасибо, нэ-сан (старшая сестра)», — рассказывает Токиэ. — Все остальные обитатели нашего дома ушли погулять и оставили нас вдвоем.

— Ты каждый день ведешь дневник? — спросил меня Итиро.

— Да, каждый день, — ответила я.

— А ты могла бы показать дневник своему ни-тяну (брату)?

— Хорошо... Когда-нибудь я тебе покажу свой дневник. Но тогда и ты разреши мне взглянуть в твои записи.

— Дай подумать... Согласен, ты тоже можешь прочесть мой дневник.

Однако, прежде чем Токиэ действительно отдала свой дневник Итиро, ей пришлось его несколько подправить.

— Потому что там слишком часто встречалось имя «Итиро-сан», — говорит она. — В таком виде я не могла

показать дневник. Мои мысли почти всецело были заняты Итиро. Но я никогда и не помышляла признаться ему в этом. Мне казалось, что такой больной девушке, как я, нельзя мечтать о любви. Я была убеждена, что Итиро-сан будет презирать меня, если он догадается о моем зарождающемся чувстве.

Нечто большее, чем обычная застенчивость, мешало Кавамото признаться в любви «девушке с палочкой». И Токиэ скрывала свои чувства от Итиро не только потому, что считала себя физически неполноценной и совершенно непривлекательной женщиной. Ко всему этому прибавлялось еще подсознательное действие страха перед жизнью и усталость, явственное отражение которых врачи Хиросимы различали после «пикадона» на лицах своих пациентов. Это выражение лица получило наименование «муёку-гамбо», «ничего больше не хочу». Если бы в настоящее время наряду с сотнями работ о физических последствиях атомной бомбардировки существовало такое же множество исследований о психике жертв «пикадона», мы наверняка могли бы установить, что «страх перед любовью», проявлявшийся в удивительной сдержанности обоих наших героев, стал в высшей степени типичным явлением для многих людей в Хиросиме.

Социолог Накано, который особенно серьезно занимался детьми жертв Хиросимы, ставшими тем временем взрослыми, установил, что страх перед любовными связями и потомством у большинства этих девушек и юношей поразительно велик. Накано объясняет его нежеланием из-за возможных лучевых поражений зародышевых клеток производить на свет уродов. На самом же деле этот страх имеет более глубокие корни.

Итиро Кавамото и Токиэ Уэмацу, равно как и бесчисленное множество других очевидцев атомного взрыва, пережили нечто большее, нежели просто бомбардировку, они пережили «светопреставление». И этот шок поколебал в них один из сильнейших человеческих импульсов — желание зачинать себе подобных, производить их на свет и тем самым продолжать свою жизнь в детях.

После своего крещения Кавамото начал регулярно посещать сборища «Христианского союза молодых людей» и уроки священного писания. Вскоре он взялся также развлекать детей сказками и разными забавными историями с помощью веселых рисованных картинок, которые демонстрировались через деревянную раму. В этих еженедельных «Ками-сибаи» (представления с рисованными куклами) Токиэ помогала ему. Итиро умел так хорошо подражать голосам всех животных, упоминавшихся в сказках, что быстро завоевал популярность у детворы Хиросимы.

Вскоре он начал давать свои «синсэй гакуэ» (представления) также в Сака и в сиротском доме. Дети никого так не любили, как его. И вот многие родители стали просить необразованного рабочего Кавамото поиграть с их ребятами. Несмотря на то что все они были буддистами, они охотно разрешали Кавамото не только рассказывать сказки детям, но и обучать их священному писанию.

Правда, когда Итиро и его брат по крещению Фудзита разучивали христианские гимны, им приходилось уходить в самый дальний уголок территории электростанции, где никто не мог их услышать. Коллеги Итиро по работе утверждали, что классово сознательные рабочие не могут быть христианами, и насмеялись над ним.

— Иисус вступался за бедных и был против богатых, — оправдывал Кавамото свое обращение в христианство. — И еще: он сказал «возлюби своих врагов». Вы слишком многое ненавидите и думаете, что все знаете.

Пытаясь доказать, что добрый христианин вполне может быть хорошим членом профсоюза, Итиро стал одним из самых активных борцов за повышение заработной платы, против все усиливающегося урезывания демократических прав народа, предоставленных ему новой конституцией. На третьем году после окончания войны внутривнутриполитическое положение в Японии вновь обострилось. Затяжная нехватка продуктов питания, дороговизна и инфляция приводили ко все новым боям из-за заработной платы, к демонстрациям и стачкам, которые не могли не коснуться также промышленных предприя-

тий Хиросимы, находившихся в процессе восстановления. Бесконечные рабочие делегации являлись в ратушу с протестом против катастрофически прогрессирующего обесценения денег. Мэр Хамаи рассказывает:

«С раннего утра до позднего вечера, иногда даже далеко за полночь, к нам шли делегации, добираясь даже до моего кабинета. В иные дни делегаций было свыше ста и нам вообще не удавалось заняться своими делами. Зачастую требования, которые выставляли рабочие, местные власти при всем желании не могли удовлетворить. Случалось, что демонстранты вскакивали прямо в ботинках на мой письменный стол и пытались произносить речи...»

Чтобы покончить с брожением в стране, в Токио был принят «Закон об обеспечении общественной безопасности», который расширял полномочия полиции и запрещал проведение демонстраций и митингов без предварительного уведомления властей. Неукоснительное соблюдение этого чрезвычайного закона было возложено на местные власти. Характерно, что новый закон не был представлен на утверждение японского парламента.

Мэр Хиросимы, не принадлежавший ни к какой партии, на сей раз присоединился к мнению левых группировок, считавших, что полицейское подавление социальных недугов в стране не только не даст исцеления, но, наоборот, нанесет серьезнейший вред, нарушая гарантированные новой конституцией права — свободу мысли, слова и собрания. Хамаи был твердо убежден, что некоторые извращения конституционных прав, выразившиеся в ряде вторжений демонстрантов в ратушу, являются лишь преходящим явлением, в то время как «Закон об обеспечении общественной безопасности», в случае если его проведут в жизнь, поколеблет самый фундамент демократии, которая постепенно начала укрепляться в Японии. Кроме того, этот закон легко мог быть использован для дальнейших политических мер по подавлению свободы.

Встревоженным рабочим, которые приходили к Хамаи поговорить насчет спорного закона, мэр заявлял:

— Я даже не думаю вводить у нас в Хиросиме такие порядки. Но при этом я рассчитываю на вашу сознательность.

Вскоре после этого главу городского самоуправления вызвали в штаб оккупационных войск в Курэ. Американцы были крайне рассержены проволочками с проведением закона, тем более что почти во всех японских городах мэры и муниципалитеты беспрекословно подчинились указаниям «сверху».

Хамаи, однако, остался твердым.

— Если я послушаюсь вас, я тем самым нанесу ущерб нашей новой конституции,— сказал он.

— Господин мэр,— ответил ему американский офицер,— ведущие японские правоведы уже разъяснили, что этот закон вполне соответствует конституции. Неужели вы считаете, что каждый мэр имеет право отстаивать какое-то свое особое мнение?

— На это можно по-разному смотреть. Во всяком случае, местные власти не имеют права так, запросто, проводить столь серьезные мероприятия. Если такой закон действительно необходим, пусть его без лишней спешки обсудят все выборные инстанции, соблюдая должное уважение к нашей конституции.

— Советую вам еще раз хорошенько подумать,— этой угрожающей репликой закончился разговор начальника с мэром Хиросимы.

Давление «сверху» отнюдь не ослабевало. Хамаи еще несколько раз вызывали в Курэ. В конце концов он почувствовал себя вынужденным внести компромиссное предложение. Согласно его предложению, граждане обязаны сообщать властям о готовящихся митингах и демонстрациях, а власти в этих случаях не вправе запрещать их.

Через несколько дней Хамаи вместе с председателем муниципалитета Нитогури вызвали в резиденцию оккупационных властей, находившуюся в здании префектуры Хиросимы. Навстречу ему вышел некий капитан Кэсуэлл и отрекомендовался специалистом-правоведом.

— Я уполномочен передать вам мнение вышестоящей инстанции, которой я подчиняюсь,— объявил офицер.— Мой комендант чрезвычайно разочарован отношением мэра к «Закону об обеспечении общественной безопасности». Это важнейшее мероприятие совершенно ложно истолковывается. Американцы начали сомневаться в доброй воле господина мэра.

Оба представителя Хиросимы молчали. Капитан Кэсуэлл добавил:

— Я передал вам то, что поручил мне комендант. Не больше.

С полным сознанием своего достоинства мэр Хамаи ответил:

— У нас только одно желание — охранять демократию, дарованную нам после войны. Мы глубоко сожалеем, что наша искренность поставлена под сомнение.

Прежде чем возразить, капитан поколебался секунду, а затем медленно произнес, понизив голос почти до шепота:

— Я всего-навсего подчиненный и должен повиноваться распоряжениям начальства. Лично я считаю, что вы, господин мэр, правы. Но в данных обстоятельствах мне не остается ничего иного, как выполнять приказы коменданта.

Еще несколько дней мэр Хамаи боролся с собой. Должен ли он продолжать свое сопротивление или нет? С одной стороны, он взял на себя обязательство по отношению к рабочим и не хотел нарушать его, ибо разделял их опасения. С другой стороны, Хамаи было ясно, что, если он будет упорствовать, Хиросиме в дальнейшем нечего будет рассчитывать на получение какой-либо помощи от токийских властей.

Мэр решил уступить. Более того, ему самому пришлось публично высказаться за введение «Закона об обеспечении общественной безопасности». Правда, стремясь спасти свой престиж, он сделал оговорку, но она прозвучала весьма неубедительно, так как свелась лишь к малозначительному дополнению, что митинги и собрания должны «по возможности всегда разрешаться властями».

Практика показала, как легко было злоупотреблять этим «каучуковым параграфом», когда надо было запретить что-либо. Многие рабочие Хиросимы долго не могли простить Хамаи его соглашательской политики.

Позже Хамаи узнал, что мэр Хакодате в том же вопросе остался до конца непреклонен.

— У меня появилось тогда горькое чувство, что я вел себя как трус, — признается Хамаи.

Почти в то же самое время Хамаи поступил вопреки своим убеждениям и в другом, еще более важном и более чреватом последствиями вопросе. В середине 1947 года к мэру явились лейтенант Нил, молодой американский ученый, и японский врач, по имени Такэсима. Они сообщили, что американское правительство в сотрудничестве с компетентными японскими инстанциями решили создать в Хиросиме исследовательский институт, который будет изучать последствия атомной бомбардировки для здоровья людей. Несмотря на то что в то время почти во всех официальных сообщениях и инспирированных газетных статьях все еще утверждалось, будто взрывы атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки не имели долгосрочных отрицательных последствий для здоровья людей, в Хиросиме все знали, что множество мужчин, женщин и детей страдает от самых различных недугов, получивших в народе обобщающее название «атомной болезни». Какие бы цензурные рогатки ни ставили оккупационные власти, они, в конце концов, все же не могли скрыть общеизвестные факты.

Мэр Хамаи был чрезвычайно обрадован тем, что американцы наконец-то займутся больными лучевой болезнью. Он сразу же поручил строительному ведомству подыскать удобную площадку для возведения здания новой клиники.

Предложение построить исследовательский институт в Касё, неподалеку от центра города, на месте, где до «пикадона» находился старый пороховой склад, нашло поначалу всеобщую поддержку. До клиники, расположенной в этом районе, больным было бы удобно добираться. Кроме того, сам факт строительства лечебного учреждения, ставящего себе целью исцеление ран, нанесенных войной, как раз на том месте, где в прошлом находился военный арсенал, был бы воспринят как убедительный символ.

Однако вышестоящие американские инстанции все еще не давали своего согласия на строительство. В один прекрасный день мэра Хамаи посетил еще один американский офицер, заявивший, что его правительство не устраивает предложенная для строительства площадка, поскольку здание, которое там будет воздвиг-

нуто, не гарантировано от наводнений такого масштаба, как, например, сентябрьское 1945 года. В результате бесценные протоколы и записи клиники могут-де погибнуть. В качестве «доказательства» офицер принес с собой карту Хиросимы, весьма, впрочем, старую. Так, Хамаи припоминает, что дельта реки, уже много лет назад застроенная домами, была изображена на этой карте как часть моря. Американец разъяснил, что из соображений осторожности институту следует отвести более высокое место. Подходящей территорией он, в частности, считает холм Хидзи-яма на восточной окраине города.

Хамаи с самого начала встретил в штыки предложение офицера.

— На этом холме, — сказал он, — разбит парк, к которому мои сограждане питают особые чувства. Когда-то в северной части парка находилась резиденция императора Мэйдзи, где он останавливался, приезжая в Хиросиму. С тех пор этот клочок земли считается у нас священным. На южном склоне холма расположено старое военное кладбище. Мы, японцы, с истинным благоговением относимся к могилам наших воинов. Если американские власти возведут свой институт на этом холме, все равно где — на кладбище или на территории бывшего дворца, они с самого начала восстаноят против себя жителей Хиросимы.

Чтобы отговорить американцев от их планов, мэр повел офицеров на холм Футаба, расположенный недалеко от Хиросимы, и показал им пригород Иосида, которому также не угрожали никакие наводнения. Но американцы продолжали настаивать на том, что самой подходящей для строительства площадкой является холм Хидзи-яма. Тогда Хамаи заявил ясно и недвусмысленно:

— Я говорю от имени моих сограждан. Они никогда не одобряют вашего плана. Поэтому и я не могу с ним согласиться. Не думайте, что я такой упрямец. Я убежден, что ваш институт имеет огромное значение. Но для его нормальной работы необходимо, чтобы жители Хиросимы охотно сотрудничали с вами.

Казалось, что на этом инцидент исчерпан. В начале 1948 года АБКК («Атомик бомб кэжюэлти комишн»), «Комиссия по изучению последствий атомных взрывов» временно приспособила для своих надобностей бывший Зал триумфа у гавани Удзина.

Но в конце декабря 1948 года, когда Хамаи уже почти забыл неприятный разговор о парке Хидзи-яма, к нему явился начальник отдела здравоохранения в «кабинете» Макартура и опять начал настаивать на том, чтобы муниципалитет Хиросимы предоставил в распоряжение АБКК спорный холм. Хамаи вновь отклонил требование американцев, повторив свои прежние аргументы. Тогда начальник отдела здравоохранения сообщил мэру, что у него в кармане лежит разрешение японского правительства на эту территорию и, поскольку земля является собственностью всей нации, город вряд ли может и дальше упорствовать. За этим визитом последовал еще один. В 1949 году к мэру явился крупный чиновник японского министерства общественного вспомоществования и начал читать нотации строптивому Хамаи:

— Если вы и дальше будете ставить палки в колеса, правительство попадет в крайне неприятное положение. И это не только нанесет урон всему нашему народу, но и повредит непосредственно Хиросиме.

Последний аргумент решил дело. Старому кладбищу пришлось потесниться. Именно там было решено строить новый институт. Однако события последующих лет показали, насколько справедливыми были опасения мэра.

4

Хиндзо Хамаи был бы, по всей вероятности, менее сговорчив в спорах по вопросу о «Public Security Law» («Законе об обеспечении общественной безопасности») и строительной площадке для клиники АБКК, если бы он не хотел спасти ценой своих уступок другой проект, являвшийся, так сказать, его любимым детищем. Речь шла о чрезвычайном законе, который должен был помочь Хиросиме выбраться из безнадежного финансового кризиса. Для того чтобы провести этот законопроект в Токио, мэру необходимо было заручиться расположением «дайити» — штаба Макартура — и либерально-демократического большинства в Токио, верой и правдой служившего американским политикам.

В апреле 1948 года в Хиросиме была создана «лига» из представителей всех слоев населения. Единственной целью «лиги» было добиться у правительства в Токио

чрезвычайных кредитов на восстановление города, подвергнутого атомной бомбардировке. Однако, несмотря на то что сотни членов этого «народного собрания» ездили в столицу с петициями, стараясь оказать давление на министерства, в очередном годовом бюджете для Хиросимы опять были предусмотрены лишь обычные ассигнования.

Мэр Хиндзо Хамаи заявил, что он подает в отставку. Однако его политические друзья дали ему добрый совет: надо сделать так, чтобы в японский парламент был внесен специальный законопроект об «оказании помощи Хиросиме». Ибо только в том случае, если народные представители большинством голосов решат, что Хиросиме должно быть оказано предпочтение в ассигнованиях, можно надеяться на увеличение кредитов.

После этого Хамаи составил обширную докладную записку, в которой указал на «историческое значение хиросимской катастрофы» и объяснил, какую пользу извлечет Япония в том случае, если один из городов в стране будет официально объявлен «Меккой мира». Это не только укрепит веру всего человечества в стремление «страны восходящего солнца» жить со всеми в мире, но и принесет выгоду японской экономике благодаря притоку туристов из всех стран. Наконец, Хамаи указывал в своей записке, в которой ясно чувствовались отголоски проектов Комиссии по восстановлению, что «современный идеальный город» Хиросима послужит образцом для всех японских городов.

Болезнь помешала Хамаи самолично передать записку с протестным заглавием «Петиция об интегральной политике восстановления в отношении жертв атомного взрыва в Хиросиме» в кулуары парламента в ноябре 1948 года. Однако эта небольшая задержка оказалась весьма кстати. На выборах в январе 1949 года обнаружился явный поворот влево. В связи с этим умеренная правительственная партия, незыблемые позиции которой несколько поколебались, почувствовала, что в будущем она должна больше заботиться о своей популярности. Хамаи, явившемуся в феврале 1949 года в Токио, был неожиданно оказан горячий прием реакционным правительственным большинством. Как в верхней, так и в нижней палате быстро нашлись люди, которые согла-

сились внести желаемый законопроект. Одновременно соответствующие министерства заявили, что они готовы уже сейчас, еще до принятия закона, подготовить пятнадцатилетний план восстановления Хиросимы.

Мэр взял на себя переговоры с оккупационными властями, которые должны были санкционировать закон. В сопровождении депутата Такидзо Мацумото, прожившего много лет в США, и председателя муниципалитета Хиросимы Нагури он отправился к мистеру Вильямсу — связному между Макартуром и японским парламентом. После того как Мацумото в общих чертах изложил существо вопроса, американец взял английский перевод законопроекта и начал столь же основательно, сколь и медленно изучать его.

Казалось, время остановилось. Пока Вильямс с совершенно бесстрастным лицом читал текст записки, он не проронил ни слова и ни единым жестом не дал понять, согласен ли он с проектом или отклонит его. Тот факт, что цензура оккупационного правительства делала до этого момента все возможное, чтобы заглушить воспоминание о Хиросиме, заставлял предполагать, что Вильямс скорее всего отвергнет проект. Но некоторая надежда все же оставалась. Ведь в памяти еще живо было воспоминание об официальном заявлении Макаурта относительно первого «праздника мира», проводившегося 6 августа 1947 года, и о широком резонансе, который это заявление получило во всех странах.

Вспоминая тягостные минуты ожидания в кабинете американского чиновника, Хамаи рассказывал:

— Мне стало чуть ли не дурно; я уставился на Вильямса, стараясь угадать его настроение. Если бы он сказал «нет», наш план провалился бы в парламенте. Но вот американец оторвал наконец взгляд от записки и возвестил: «Великолепно! Ваш план имеет не только внутривластное, но и внешнеполитическое значение. Попытайтесь добиться, чтобы ваше предложение было поскорее обсуждено и принято. Как только представители парламента придут ко мне с законом, я сам отправлюсь к генералу Макартуру и добьюсь, чтобы он утвердил его».

Счастливые японцы пожимали друг другу руки. А потом, когда они выходили из американского штаба,

председатель муниципалитета Хиросимы без конца повторял: «Дело в шляпе, наше дело в шляпе! Теперь закон будет наверняка принят».

И действительно, мысль о том, что Хиросима должна быть выделена из всех других городов, разрушенных войной, наконец-то нашла признание в японском парламенте. Даже премьер-министр Иосида, до того времени весьма сдержанно относившийся к Хиросиме (ни он, ни его предшественники ни разу не удосужились нанести городу официальный визит), сказал мэру:

— Разумеется, мы что-нибудь сделаем для вас. Когда я веду переговоры с представителями союзников, я всегда говорю им: «Вы можете сколько угодно кичиться своей гуманностью, но судьба Хиросимы заставляет видеть вас в совсем ином свете». В ответ они обычно машут рукой и говорят: «Лучше не будем упоминать об этом».

10—11 мая 1949 года японский парламент наконец-то принял закон, официально объявляющий Хиросиму «городом мира». Этот закон не только обеспечил Хиросиме чрезвычайные субсидии, но также передал в ее распоряжение один из двух принадлежавших ранее военным властям земельных участков, которых город уже давно домогался.

В последний момент, правда, возникло непредвиденное затруднение, чуть было не сорвавшее принятие законопроекта. Дело в том, что представители Нагасаки — второго города, где произошел атомный взрыв, — внезапно выступили с заявлением, что их город по меньшей мере с одинаковым правом может претендовать на то, чтобы стать «Меккой мира». Поэтому надо сразу же проголосовать закон о восстановлении как Хиросимы, так и Нагасаки. Если этого не произойдет, все депутаты либерально-демократической партии в округе Нагасаки единодушно выйдут из правительственной коалиции. Обращаясь к представителям Нагасаки, Бамбоку Оно, один из сторонников закона о Хиросиме, с возмущением сказал:

— Где это видано, чтобы так делалась политика? Сперва вы смотрели, как другие готовили лакомое блюдо, а потом, когда пришло время есть, заявляете: «Мы тоже хотим участвовать в трапезе!».

Депутаты спешно выработали компромиссное решение: Нагасаки было присвоено наименование «международного культурного центра». Таким образом, на долю второго разрушенного атомной бомбой города пришлось по крайней мере треть «кушанья», изготовленного на парламентской «кухне» в Токио.

5

Однако радость населения Хиросимы в связи с утверждением будущих субсидий была вскоре омрачена одним неприятным событием.

В начале июня вызванный из США для борьбы с инфляцией в Японии экономический советник Джозеф Додж предложил свой план «оздоровления японской экономики», который предусматривал немедленное, и притом значительное, сокращение всех расходных статей государственного бюджета, повсеместное замораживание заработной платы и различные мероприятия по «рационализации» японской промышленности. Тем самым пятилетний план экономического восстановления Японии, принятый только в предшествующем году, был на данном этапе сорван. Жители Хиросимы имели все основания предполагать, что проект возрождения их города, только что с большой помпой утвержденный парламентом, постигнет та же участь. Тем более что сверхосторожные защитники этого проекта не внесли в текст закона никаких точных данных о размерах помощи государства «городу мира».

В соответствии с планом Доджа в середине июня 1949 года предполагалось уволить почти треть рабочих на втором по величине предприятии Хиросимы, сталелитейном заводе «Ниппон сэйко К^о», насчитывавшем свыше двух тысяч рабочих, ибо руководство железными дорогами временно заморозило все заказы на рельсы, переданные этому заводу. Против увольнения рабочих выступили все профсоюзы в Хиросиме. Но, поскольку их жалобы ни к чему не привели, они призвали трудящихся к забастовке.

Коллектив электростанции в Сака присоединился к стачке сталелитейщиков. Все члены профсоюза этого

предприятия приняли участие в крупной демонстрации, состоявшейся 15 июня на площади у сталелитейного завода. Итиро Кавамото был одним из знаменосцев своей колонны во время этой самой многочисленной и значительной манифестации трудящихся Хиросимы.

Когда на площадь прибыл коллектив рабочих из Сака, зазвонил большой колокол и тысячи людей, как это принято в Японии в таких случаях, зааплодировали. Но вскоре к месту демонстрации начали подтягиваться грузовики с полицейскими. Представитель властей зачитал заявление губернатора провинции Кусуносэ, содержавшее приказ немедленно распустить митинг протеста. Однако это заявление было встречено возмущенными выкриками, бранными словами, песнями и слитным гулом скандирующих голосов. Когда наступила ночь, демонстрантов начали донимать тучи мошкары. Но они не двинулись с места, только немного перестроились. Физически более выносливые члены корейского профсоюза заняли заводские ворота.

Через некоторое время снова раздался звон колокола: была объявлена тревога. Задремавшие было демонстранты проснулись.

— Полиция наступает! Полиция наступает! — раздавались голоса.

Действительно, в неверном свете факелов появились люди в форме. Они приближались к заводу. Однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что это были железнодорожники, присоединившиеся к манифестации после окончания работы. Они несли флаги и плакаты.

Полиция дожидалась рассвета. Только решив, что демонстранты достаточно измучены и голодны, полицейские перешли в наступление с целью «очистить» территорию завода. Они без труда заняли баррикаду, воздвигнутую перед заводскими воротами. Вот рассказ Кавамото о последующих событиях:

«Я услышал, как кто-то резко отдал команду: «Вперед!» Мы стояли тесными рядами, сцепив руки крест-накрест, так что каждый из нас крепко держался за пояс соседа, и пели так громко, что чуть было не сорвали себе голос. Полицейские шли прямо на нас. Ряд за рядом. Их бранные выкрики: «Преступники! Собаки!» — раздавались все ближе и ближе.

Я спрятал вымпел нашего профсоюза. Но, к сожалению, забыл спрятать свою самопишущую ручку, она торчала у меня из кармана пиджака. Прорвав ряд, стоявший впереди нас, полицейские приблизились к нашему. Они начали бить дубинками по сцепленным рукам и толкать демонстрантов в грудь. Но мы еще теснее прижались друг к другу... Внезапно один из полицейских выхватил у меня из кармана ручку и крикнул:

— Если хочешь получить ручку обратно, возьми ее из моих рук!

В ответ я отрицательно покачал головой, дав ему понять, что на эту глупую провокацию не попадусь. Тогда полицейский у меня на глазах разломал ручку на две части и изо всех сил ударил меня по голове.

К счастью, я предусмотрительно набил шапку травой и поэтому не потерял сознания, хотя и был оглушен. Окончательно придя в себя, я вновь поспешил к воротам, где стычка еще продолжалась. У ворот возвышался громадный гималайский кипарис, который, казалось, презрительно взирал на беспорядочную потасовку людей. Я бросился на подмогу последнему устоявшему ряду моих товарищей. Но и этот ряд смяли полицейские.

Несколько блюстителей порядка набросились на меня. Мне показалось, что они меня вот-вот задушат; невольно я схватился за кожаный ремешок каски под подбородком одного из полицейских.

— Это посягательство на общественный порядок! — крикнул он.

Не успел полицейский меня ударить, как двое-трое демонстрантов оттолкнули его в сторону и увлекли меня за ворота.

Постепенно все вокруг стихло. Красный флаг, развевавшийся на верхушке кипариса, начал гореть. Один из охранников вскарабкался на дерево и поджег флаг. Мы молча стояли у ворот и смотрели вверх до тех пор, пока последнее облачко дыма не растаяло в воздухе...

У меня болела грудь... Перед тем как идти на демонстрацию, я купил себе медный крест. Когда меня сбили с ног дубинкой, крест согнулся и впился в тело».

Далее Кавамото подчеркнул, что в то утро поражения он, как никогда раньше, почувствовал свою солидарность

со всеми рабочими и необходимость совместной борьбы. И все-таки (сам Кавамото считает, что «именно поэтому») он в тот же вечер отправился на богослужение в свою церковь и попытался разъяснить другим прихожанам справедливость требований рабочих.

— После этого я начал молиться за благополучие рабочих, — рассказывает Итиро. — Но никто из членов моей общины не пожелал присоединиться к этой молитве.

6

Позиция христианской церкви глубоко разочаровала Кавамото.

— Правда, я и впредь регулярно посещал богослужения, но начал сомневаться в христианстве, — рассказывал он мне. — Равнодушные общины сильно обескуражило меня.

Новое чувство еще больше усилилось после второго случая «несостоятельности» общины — так по крайней мере Итиро оценил позицию верующих. Это произошло, когда через Хиросиму проезжали японские военнопленные.

В то время русские начали отпускать на родину солдат японских подразделений, взятых в плен в последние дни войны. Члены общины Матобатё, к которой принадлежал Итиро, решили явиться на вокзал и предложить своим согражданам, возвращавшимся домой, угощение. Но потом газеты сообщили, что военнопленные, прожившие почти четыре года в сибирских лагерях, вопреки всем ожиданиям заявили по прибытии на родину, что они считают себя коммунистами. Церковь тут же потеряла всякий интерес к этим своим «братьям». Около полуночи, когда поезд с бывшими военнопленными прибыл в Хиросиму, весь перрон был украшен красными флагами. Несмотря на поздний час, здесь собралось много сотен людей. Толпа, смешавшись с худыми и, видимо, до глубины души растроганными солдатами, запела «Интернационал». Эта сцена произвела на Кавамото сильнейшее впечатление, и он очень сожалел, что на вокзал не явились остальные члены его общины.

— Если вы будете прятаться в свою скорлупу, вы никогда не сможете привить людям любовь к ближнему, — упрекал он их. — Церкви не следует замыкаться в самой себе, она всегда должна стоять на стороне угнетенных! Почему вы не принесли людям, вернувшимся на родину, слово божье! Ведь Христос не гнушался проповедовать даже перед разбойниками.

После этого нового разочарования в христианстве Кавамото впервые совершенно серьезно задал себе вопрос: не стать ли ему коммунистом? Коммунисты уже давно старались привлечь его на свою сторону. Итиро в свою очередь считал, что коммунисты, с которыми он встречался, превосходят и христиан, и социалистов своими человеческими качествами. Каждый из них был готов принести любые жертвы во имя рабочего класса. С другой стороны, Кавамото отталкивала их надменность. Коммунисты, по его мнению, считали, что только они одни понимают все происходящее...

Эти личные наблюдения помешали Кавамото вступить в коммунистическую ячейку на своем предприятии.

Спустя несколько дней Кавамото встретил человека, помогшего ему преодолеть недовольство христианской религией и вселившего в него новые надежды. Это случилось в июле 1949 года на празднике по случаю принятия закона, объявляющего Хиросиму «Меккой мира».

Празднество началось с пения новой «Песни мира», которая в дальнейшем должна была стать официальным гимном, исполняемым на ежегодной церемонии 6 августа. По мнению Кавамото, песня была слишком «беззубой»: в тексте ни разу не встречалось слово «гэмбаку» (атомная бомба). В ней не было ничего, кроме общих трескучих фраз. Официальные речи все оказались на один лад — одинаково длинные и скучные.

Но вдруг на трибуне появилась совершенно седая американка и начала, запинаясь, говорить на ломаном японском языке вещи, которые еще ни разу не произносились в Хиросиме вслух; в частности, она заявила всем пережившим «пикадон», что считает сбрасывание атомной бомбы преступлением и, как американка, просит у японцев прощения за это чудовищное злодеяние.

Седая женщина — ее звали Мэри Макмиллан — оказалась миссионеркой методистской церкви. С конца 1947 года она с присущей ей энергией начала помогать многим несчастным в Хиросиме. Вскоре Кавамото познакомился с ней лично. Макмиллан вернула ему веру в то, что на свете есть христиане, «не мудрствующие лукаво», достаточно мужественные, для того чтобы критиковать преступления властей предрежущих.

7

Спустя несколько недель в Хиросиму прибыл еще один американец, чьи слова и дела оказали большое влияние на жителей этого города. Квакеру Флойду Смое, профессору ботаники в Сизтльском университете (штат Вашингтон), понадобилось два года, прежде чем ему наконец разрешили построить в Хиросиме несколько домов для людей, лишившихся крова из-за атомной бомбы.

Уже самый факт, что белый человек пожелал выразить свое участие в судьбе Хиросимы не денежными и всякими иными пожертвованиями, а делами рук своих, был в высшей степени удивителен. Крепко сложенный и физически сильный, хотя уже седой как лунь, ученый принял весть о гибели японского города особенно близко к сердцу. Во время войны он руководил лагерем для интернированных американских граждан японского происхождения и по роду своей деятельности сталкивался с японцами, а со многими даже подружился.

Почти одновременно с атомной бомбардировкой Хиросимы, когда там обрушились и сгорели десятки тысяч зданий, Смое закончил строительство своего нового дома на окраине Сизтля. Теперь он стыдился своего комфортабельного жилища, сознавая, что в это самое время люди, пережившие атомный взрыв, ютятся в землянках или вообще под открытым небом. И вот в рождественских открытках, которые Флойд разослал знакомым, он высказал пожелание, чтобы частные лица сложились и собрали некоторую сумму на строительство домов в Хиросиме.

Однако, когда профессор обратился в соответствующую инстанцию, ему было сказано:

— Если уж вы обязательно хотите помочь японцам, работайте на ЛАРА (Licensed Agencies for Relief in Asia — Зарегистрированные агентства по оказанию помощи в странах Азии). Этот благотворительный «трест», основанный в 1946 году, когда в Японии был голод, ставил своей целью объединить усилия американских филантропов и оказать помощь голодающему японскому населению. ЛАРА посылали за океан одежду, продукты питания, фармацевтические товары и другие жизненно необходимые предметы. К индивидуальным филантропическим акциям штаб Макартура относился неодобрительно, хотя и не запретил их полностью. Ученый оказал себе, что он смог добиться своей цели, очутившись в Токио. Но в то время было почти невозможно без направления военного командования или правительственных учреждений получить место на судне, направляющемся в Японию. Тогда Смое нанялся ухаживать за стадом коз, которое перевозили на пароходе в Японию. Козы были подарком одной из протестантских благотворительных организаций японскому населению.

По сравнению с той энергией, какую профессору пришлось затратить на многонедельный уход за несколькими десятками животных, страдавших морской болезнью, все остальное, даже попытка проникнуть к «новому микадо Японии» — генералиссимусу Макартуру — и убедить его в своей правоте, оказалось детской игрой.

Как бы то ни было, Смое очутился в Японии. В начале августа 1949 года он в сопровождении Энди — молодого священника из Сизтля, Рут — учительницы из Туксона и «Пинки» — веселой негритянки из Южной Каролины прибыл в Хиросиму. Специально созданный комитет под руководством губернатора Кусуносэ и мэра Хамаи, который хотел встретить профессора на вокзале в Хиросиме, чуть было не разминулся с ним. Смое и его сотрудники были первые иностранцы со времени окончания войны, приехавшие из Токио в Хиросиму в вагоне третьего класса.

Достигнув после всех мытарств места назначения, Смое очень быстро убедился в том, что формула бюрократов всего мира «Это невозможно!» уже снова дей-

ствовала в Хиросиме. Казалось бы, в городе, где тысячи людей все еще были без крова, выстроить несколько домов и подарить их нуждающимся будет легче легкого. Однако важные чиновники в благотворительных организациях высказывали бесчисленное множество опасений.

— Если вы предоставите один из ваших домов какой-нибудь семье, то остальные четыре тысячи семей почувствуют зависть к счастливицам. Соседи начнут питать к ним недоверие, даже ненависть. И еще одно: настоящие бедняки не смогут себе позволить жить в тех красивых домах, которые вы задумали построить. Им не под силу будет оплачивать даже расходы по ремонту и налоги.

Но заботливые «отцы города» Хиросимы тем не менее были готовы помочь добровольцам из Америки. Они только выдвинули свой контрпроект. Пусть Смое и его друзья построят не жилые дома, а библиотеку для юношества. Библиотека станет «символом американской щедрости» и займет подобающее место в уже запланированном новом центре «города мира».

Профессор не скрывал своего разочарования. Конечно, он согласен, что строительство библиотеки для подрастающего поколения — весьма важное дело. Возможно, что такого рода библиотека будет способствовать уменьшению детской преступности. Возможно также, что она заложит фундамент взаимопонимания между народами. Все это правильно! Но разве в Хиросиме нет пока еще более насущных задач?

— А какими книгами вы собираетесь укомплектовать вашу библиотеку? — спросил под конец Смое своих собеседников.

— За книгами дело не станет! Нам уже пожертвовали четыре тысячи томов, — ответили профессору.

Тогда Смое пожелал сам ознакомиться с пожертвованной литературой. Оказалось, что все четыре тысячи томов — дубликаты книг американской солдатской библиотеки, разумеется, на английском языке!

— С этого момента, — рассказывает Смое, — история с библиотекой для юношества была для нас исчерпана и мы снова вернулись к идее постройки жилых домов. Было нетрудно установить, что город в это время задумал воздвигнуть на городской территории сто домов для семей, не имеющих крова. Дома должны были оста-

ваться собственностью муниципалитета. Город обязался содержать их в исправности и сдавать остро нуждающимся семьям за 700 иен в месяц (приблизительно 1 доллар 85 центов). Теперь мы знали, как поступать дальше. Нам просто надо было построить четыре жилых дома из запроектированных 100...

В ближайшие месяцы жители Хиросимы имели возможность наблюдать за тем, как профессор Флойд Срое, один из самых уважаемых граждан той нации, чье «новое оружие» буквально за несколько секунд сровняло с землей их родной город, неутомимо трудился, дабы ликвидировать хотя бы мельчайшую долю атомных разрушений и лично компенсировать хоть крохотную часть нанесенного Хиросиме ущерба.

Но какое разительное несоответствие обнаружилось между силами разрушения и силами восстановления! Миллиарды долларов были потрачены на осуществление «плана Манхэттен» *, а строительство велось на медные деньги, на жалкие гроши, которые доброхотные деятели пожертвовали профессору. Лучшие ученые и практики были собраны для создания атомной бомбы, а дома строила небольшая кучка дилетантов, стремившихся обучиться строительному ремеслу. Чтобы провозвести на свет «Литл бой» — так весьма ласково окрестили свое детище создатели атомной бомбы, уничтожившей Хиросиму, — была пущена в ход самая совершенная и самая сложная машина, какую можно было себе представить, а в распоряжении Флойда Срое оказалась лишь одно «чудо техники» — небольшая тачка. На ней он самолично перевозил балки от лесопилки к строительной площадке в районе Минимати. Но когда «сэйдзонся» — люди, пережившие атомный взрыв, — видели, как этот человек, которому уже перевалило за пятьдесят, день-деньской таскает строительные материалы, словно он их товарищ по несчастью, они с истинным почтением склоняли перед ним головы.

Наконец первые четыре дома с красивыми садиками в японском стиле, построенные профессором с помощью местного плотника, своих троих американских друзей и двенадцати японских добровольцев, могли

* Маскировочное название американского плана создания первой атомной бомбы. — *Прим. ред.*

быть переданы представителям города Хиросимы. Церемония передачи состоялась 1 октября 1949 года. В своей краткой речи на этой церемонии ученый сказал:

— Те чувства, которые обуревали нас в день, когда мы узнали о трагедии Хиросимы, нельзя было выразить одними только словами. Поэтому мы при первой возможности приехали к вам, чтобы строить дома для людей, лишившихся крова.

В годовой статистике крупного центра Хиросимы за 1949 год четыре вновь отстроенных дома были почти незаметны. Но в сердцах жертв атомного взрыва энтузиаст-одиночка «Доксумое», как они его называли, до сих пор занимает значительное место.

МАРАГУМА-ГУМИ

1

После стычки с австралийским унтер-офицером Кадзуо М. долго оставался безработным. Его «слава» драчуна быстро облетела весь город, и ни один предприниматель не решался взять на работу этого «возмутителя спокойствия».

К счастью, отец Кадзуо, Сэцуэ М., наконец-то смог опять открыть маленькую патефонную мастерскую. Он занимался теперь не только ремонтом патефонов, но и продажей подержанных пластинок. Дело его процветало, ибо вся Япония была помешана на «рекорд-крэйзи» («сумасшедших пластинках»). На четвертом году после атомной катастрофы это увлечение захватило также Хиросиму, превратившись в своего рода манию.

С раннего утра до поздней ночи в городе не смолкал визг патефонов. Люди отстукивали такт кулаками, подергивались всем телом в ритм модных песенок. Из бараков и даже из новых зелено-белых автобусов, битком набитых туристами, доносились любовные вопли чужеземных певиц и хныканье саксофонов, исполнявших «шопинг-буги». Музыка была тем хиропоном, который оказался доступным каждому; ее слушали в самых разнообразных, невероятных сочетаниях: за французской шансонеткой следовал квинтет Шуберта, его сменяла модная японская песенка, заглушавшаяся бурей звуков из «Гибели богов».

Кадзуо ненавидел музыкальный угар, охвативший его соплеменников. И все же он, так же как и все другие, не мог устоять перед ним. Сразу после атомной катастрофы юноша считал, что ужасы, обрушившиеся на людей, погрузят весь мир в молчание, в мертвую тишину, из которой, быть может, родится что-то новое,

потрясающее. А вместо этого в Хиросиме гнусавили трубы, тренькали гитары, с притворной торжественностью гудели арфы, звенели и ухали ударные инструменты. Только не думать! Люди не желали ничего принимать всерьез. Апокалипсис они превратили о разменную монету, которую жаждали истратить на оглушающие увеселения.

«Слава» Кадзуо, считавшегося в Хиросиме сорвиголовой, привлекла к себе внимание господина Марагума, хозяина небольшого предприятия, которое на протяжении нескольких поколений занималось разборкой и перевозкой домов. По традиции рабочими в этой «гуми» были молодые, сильные и особо задиристые парни, которых «босс» обычно вербовал из числа бывших воспитанников исправительных заведений и отбывших свой срок заключенных. С конца войны, однако, все труднее становилось находить нужных людей, ибо банды гангстеров и «черный рынок» предоставляли «отчаянным парням» куда больше шансов хорошо заработать. А служить у Марагума было трудно и опасно.

Марагума пригласил Кадзуо в свою контору, чтобы познакомиться с ним поближе. Но когда безработный юноша явился к нему, то увидел в конторе не известного всему городу шефа фирмы, а девочку лет четырнадцати с кукольным личиком. Девочка сразу же окликнула его и завязала с ним разговор с необычной для молодой японки смелостью. В первую же минуту Кадзуо почувствовал к своей новой знакомой в школьной форме такое доверие, какого он уже давно ни к кому не испытывал. Юкико напомнила ему Сумико, девочку, умершую у него на руках на следующий день после «пикадона». Юноша начал выкладывать Юкико все, что уже много месяцев камнем лежало у него на сердце.

— Каждое слово, слетавшее тогда с моих уст, выражало злость и тоску, — вспоминал он позднее. — Но Юкико, слушая, как я высказывал свое отвращение к послевоенному миру, одобрительно кивала головой и даже посмеивалась.

Наконец по прошествии двух часов явился сам «босс». Он бросил весьма критический взгляд на худые руки Кадзуо, но, поколебавшись немного, предложил

ему все же стать служащим Марагума-гуми. Кадзуо снова имел работу. Однако главным событием этого дня был не контракт, заключенный с хозяином фирмы, а встреча с девочкой Юкико. Кадзуо почувствовал это уже по дороге домой. На следующий день он узнал, что Юкико — младшая дочь его нового шефа.

До сих пор Кадзуо выполнял только физически легкую работу. Теперь ему пришлось напрячь все силы. Но сам «босс» и его «сигото-си» (помощники) терпеливо учили новичка. Они показывали ему, как вонзать острый конец «тоби» в дерево, как, ловко орудуя крючком, рушить стены и как потом, в последний момент, отскакивать в сторону. Они предупреждали его об опасностях, таящихся под грудями развалин, которые явились следствием атомного взрыва и для расчистки которых требовался упорный, терпеливый труд.

Прошло несколько месяцев, и Кадзуо уже ни в чем не уступал всем остальным членам «гуми». Он стал сильным и ловким и выработал в себе шестое чувство, спасавшее его от падающих обломков. Теперь юноша мог выбивать косяки окон и дверей, таскать тяжести и ему уже не становилось дурно, когда он наткался на разлагающийся труп.

Принятие закона, официально объявляющего Хиросиму «городом мира», чрезвычайно благоприятно отразилось на делах фирмы. Правда, между городскими властями в Хиросиме и центральным строительным бюро в Токио пока еще шла бумажная война по вопросу об использовании чрезвычайных кредитов. Не было установлено также, что, собственно говоря, должен строить город на обещанные миллионы иен. Тем не менее работа по расчистке центра и привокзальных районов уже началась. Надо было прежде всего снести бесчисленные «бараку» и сараи, которые с молниеносной быстротой выросли там после «пикадона».

Часто фирма не могла приступить к работе без помощи полиции, выселявшей людей из трущоб. Если просьбы этих несчастных об отсрочке не помогали, дело иногда доходило до открытых столкновений. В нескольких случаях выселяемые нападали на представителей властей. Перспектива вновь оказаться на улице страшила отчаявшихся людей больше, чем тюремное заключение.

Много несчастий и бед повидал за эти месяцы Кадзуо. Внешне юноша никак не проявлял своих чувств. На самом же деле сердце у него разрывалось, когда он видел отчаяние, злость, бессилие и беззащитность людей, которых выгоняли из их временных жилищ. А когда стены домов, разрушаемых им или его товарищами, с шумом валялись на землю, он вновь слышал грохот и крики «того дня» — их не могла заглушить самая громкая джазовая музыка. Воспоминание о великой трагедии просто невозможно было вытеснить из сознания.

2

И все же месяцы работы в Марагума-гуми были для Кадзуо самыми счастливыми месяцами после 1945 года. Как большинство служащих фирмы по сносу домов, он добровольно вступил в пожарную команду. Вот что он рассказывает об этом:

«Все пожарники были люди с запятнанной репутацией. Работу в пожарной команде они рассматривали как своего рода добровольное искупление грехов, как компенсацию за неблагоприятные поступки. Мы вступали в ряды пожарников по собственному желанию. Никто не принуждал нас заниматься этим опасным делом, но и за труд свой мы не получали ни иены вознаграждения. Даже инвентарь пожарники приобретали за собственный счет и по тревоге доставляли его на место происшествия. Когда кто-нибудь из нас получал увечье, а то и вовсе погибал, семье не давали пособия. При первом звуке колокола мы набрасывали на себя защитную одежду и спешили к месту очередного пожара. Мы постоянно рисковали жизнью. Но я при этом думал: «Даже погибая в огне, я не стану ни в чем раскаиваться».

Занимаясь тушением пожаров, Кадзуо наконец-то мог дать волю своим агрессивным инстинктам, не вступая в конфликт ни с работодателями, ни с законом. Теперь им даже восхищались, теперь его почитали. Работа в пожарной команде значила для юноши гораздо больше, чем для любого из его товарищей. Он сам пишет:

«Наша «гуми» следует лозунгу «ги-ю», что означает не только «добровольно», но также «справедливо»,

«мужественно». «Город смерти» вновь возродился. Но люди живут в нем не так, как можно было предполагать. Конечно, я понимаю, что молодые юноши и девушки хотят танцевать, петь и радоваться жизни. Но все во мне противится этому; я стою в стороне от общего веселья, и меня все чаще охватывает чувство отворачивания. Чтобы преодолеть это чувство, я следую лозунгу «ги-ю» и бросаюсь навстречу демонам огня. Я хочу спасти город хотя бы от них».

Сразу же за этой дневниковой записью следует еще несколько строк, написанных мелким неразборчивым почерком:

«Моя теперешняя работа доставляет мне радость... Каждый день для меня удовольствие. И не только из-за самой работы. У меня появилась девушка; она знает, чего хочет. Умная и веселая. Мои товарищи завидуют мне. Но они говорят о нас: «Когда-нибудь они станут хорошей парой».

Девушка, которой Кадзуо так восхищался, была Юкико. Он познакомился с ней в день своего вступления в «гуми».

Через несколько месяцев Кадзуо записал в своем дневнике:

«Я заметил, что у Ю. — ямочки. Сказал ей это. Она ответила мне: «Какой вы невежливый! Неужели вы увидели их только сегодня? Я уже давно знаю, где у вас родинка. На мочке уха». Потом она нарочно улыбнулась мне, чтобы еще раз показать свои ямочки...»

Из дружбы Кадзуо с Юкико неизбежно должно было вырасти нечто большее. Это было очевидно для всех окружающих. Однако семьи молодых людей с самого начала отнесли неодобрительно к их любви. Мать Кадзуо считала, что они слишком молоды для женитьбы, а старшая сестра Юкико была шокирована тем, что Кадзуо — служащий отца невесты. Согласно японским обычаям, такие браки недопустимы.

Почти ровно через год после того, как Кадзуо и Юкико познакомились, юноша записал в своем дневнике:

«Соппротивление родителей приводит нас в бешенство. Мы не позволим нас разлучить. Наоборот. Раз так, мы не будем ждать. Тогда уже никто не посмеет нам помешать».

Пятнадцатого января 1950 года в Хиросиме произошло событие, вызвавшее у жителей города гораздо больше сочувствия и воодушевления, нежели празднество 6 августа 1949 года, состоявшееся по случаю официального провозглашения Хиросимы «городом мира». В этот день был открыт новый стадион для игры в бейсбол. Одновременно была вновь создана популярная еще до войны городская бейсбольная команда «Карпы» (такое название она получила в честь «Замка карпов», разрушенного атомной бомбой).

Еще до войны эта национальная американская игра стала в Японии наряду со спортивной борьбой популярнейшим видом спорта. Хиросима всегда считалась «царством бейсбола». Мэр Хамаи, как явствует из его воспоминаний, содействовал возрождению этого излюбленного массового зрелища не только потому, что он хотел дать гражданам что-то такое, чем бы они могли сообща наслаждаться, но и потому, что надеялся извлечь из бейсбольных матчей материальную выгоду. Город, по его мнению, мог ежегодно рассчитывать на несколько миллионов иен от налогов на продажу билетов. Однако эти расчеты оказались несостоятельными. Когда все приготовления к открытию стадиона закончились, в Японии была проведена налоговая реформа, согласно которой доходы от спортивных мероприятий изымались из ведения муниципалитетов и передавались в ведение властей провинций. Тем не менее расчет Хамаи на то, что «Карпы» будут способствовать сплочению населения, оказался правильным. Местный спортивный патриотизм помог старым и новым гражданам Хиросимы найти общий язык. Наконец-то они могли вдохновляться одним и тем же делом. Правда, «Карпы» проигрывали большинство матчей; команда Хиросимы занимала одно из последних мест в своей подгруппе. Но все же бейсболисты стали кумирами большей части населения города. С одним из этих спортивных героев, по имени Какуда, Кадзуо был довольно близко знаком, так как они вместе учились в школе. Поэтому юноша иногда приглашал его к себе, хотя спортивная «звезда» не могла говорить ни о чем другом, кроме как о бейсболе.

Юкико, игравшая в бейсбол в составе команды своей

школы, внимала хвастливым спортивным рассказам Какуда гораздо благосклоннее, нежели скучающий Кадзуо. Она, правда, как всегда, помалкивала, но ее глаза блестели, даже когда «чемпион» зачастую в четвертый, а то и в пятый раз повторял рассказ о ходе последнего матча. Кадзуо казалось, что они блестели совсем так же, как в тот памятный день, когда он в первый раз поведал ей о себе и о своей жизни.

Собственно говоря, Кадзуо должен был бы сразу почувствовать ревность к Какуда. Но он терпел присутствие спортивного героя и даже поощрял его визиты. С некоторого времени юноша догадывался, что его возлюбленная не очень-то дорожила своим романом с ним. Она была типичной представительницей японской послевоенной молодежи, любила «зажигательную» музыку, разнузданные танцы и массовые спортивные зрелища. Юкико глотала эротические романы и «разъясняющие жизнь» иллюстрированные журналы, такие, как «Либерал», «Ака то куро» («Красное и черное»), «Фуфу сэйкацу» («Семейная жизнь»), в которых восхвалялась «сексуальная свобода». Кадзуо же все больше и больше отходил от своих сверстников, не признававших ничего, кроме дешевых удовольствий и развлечений. Тщетно юноша пытался увлечь Юкико старыми японскими идеалами.

Однажды знакомая девушка шепнула Кадзуо:

— Кадзуо-сан, неужели ты не замечаешь, что происходит между Юкико и Какуда?

Кадзуо рассердился, решив, что девушка клеветает на его подругу: недаром она уже несколько раз делала ему авансы. Однако вскоре он услышал то же самое от других людей и решил потребовать объяснений.

«Вначале она отмалчивалась, — рассказывает Кадзуо, — и старалась не смотреть на меня. Но потом вдруг разразилась слезами и призналась во всем. Она даже не стала оправдываться. Тогда я влепил ей пощечину. Я ударил ее раза два-три. А потом подумал: «Какой смысл наказывать такую девицу?» Я понял, что был слеп и глуп, и чувствовал себя глубоко пристыженным... Теперь мне стало ясно, что я полностью проиграл свою игру. «Мораль» нового поколения оказалась сильнее моих принципов. Я так мучился, что решил покончить жизнь самоубийством. Я отправился на могилу Ясудзи и Сумико и проглотил солидную дозу яду. Мне пришла

в голову страшная мысль, что судьба Ясудзи и Сумико, погибших «в тот день», собственно говоря, сложилась счастливее, чем моя. Зачем я спасся? Чтобы влачить свои дни в этом насквозь прогнившем мире?..»

Тем временем у юноши начались невыносимые боли в желудке. Голова же оставалась совершенно ясной. «Что скажут люди? — спрашивал Кадзуо себя. — Самоубийство из-за несчастной любви? Нет, только не это. Я не собираюсь умереть из-за какой-то потаскухи. Все они будут вздыхать: «Какая любовь!» А ведь я принял яд совсем по другой причине. Просто мне опротивела жизнь. Я боялся, что она постепенно загрязнит и меня. Напрасно я хотел остаться чистым и справедливым. Слишком уж я был самонадеян. С этим теперь покончено...»

Внезапно юноша принял отчаянное решение. Он должен немедленно что-то предпринять. Нельзя, чтобы люди вообразили, будто он хотел умереть из-за пошлой ревности. Ведь Юкико была здесь ни при чем. Просто девушка вновь разбередила «келоид» в его сердце. Измученный воспоминаниями о «том дне», он в сотый раз задавал себе вопрос: «Неужели люди в наше время не способны противопоставить величию своих страданий величие лучшей жизни, неужели они не стремятся к чему-то новому, к чему-то хорошему?» Разочарование в людях — вот что губит его, Кадзуо. И он должен сказать это во всеуслышание. Собрав последние силы, Кадзуо потащился домой. А затем:

«Грудь у меня болит, словно кто-то давит на нее. Голова буквально раскалывается на части... Я слышу странный шум... Люди очень далеко от меня. Но потом они вдруг приближаются. Раздается чей-то громкий голос у самого моего уха. «Кадзуо!» — произносит он. Я прихожу в сознание. Перед глазами у меня нестерпимо яркий свет. Словно прямо на меня навалилось солнце. «Кадзуо-сан, ты спасен». Я лежу на операционном столе в больнице. Вокруг меня — отец, мать, наши соседи; их лица сливаются... «Теперь все в порядке. Он спасен», — говорит врач. Врачу лет сорок, и его голос звучит так самоуверенно, словно он и никто иной вырвал меня из когтей смерти. Это сердит меня.

Я громко кричу и сам удивляюсь своему крику:

— Кто сказал, что я хотел спастись? Добивайте меня! Убейте меня! Лучше уж конец!

УБИЙСТВО

1

Маленький блестящий стальной шарик пробирается сквозь лабиринт стальных шпенокков; его швыряет то влево, то вправо, то вперед, то назад. Но игрок все равно старается предугадать то, что едва ли можно предугадать. Если шарик оправдает его надежды, раздастся резкий звонок, из автомата с шумом посыплется целая куча серебристых жетонов, которые он либо обменяет на дешевые товары, либо снова поставит на кон.

Увы, игроки почти всегда проигрывают. Хозяева игорных салонов устанавливают автоматы так, что шансы на выигрыш предельно малы. Тем не менее каждый человек внушает себе, что он окажется ловчее и быстрее, чем игорный механизм. А потом, когда он, махнув рукой, уже собирается уходить, рядом с ним, у соседнего автомата, раздается возглас: «Выиграл!» Какому-то счастливицу удалось перехитрить судьбу; значит, и ему может повезти. Надо играть дальше. Он нажимает на рычаг. Новый шарик появляется на горизонте этого мира автоматов... и начинает пробираться сквозь лабиринт шпенокков...

Игра, околдовавшая после войны всю Японию, называется «патинко». Тысячи «патинко-салонов» с десятками, а то и сотнями автоматов были открыты во всех японских городах. Эти игорные дома работали с утра до поздней ночи. Некоторые предприимчивые дельцы, стремясь увеличить притягательную силу своих заведений, пытались развлекать публику музыкой или даже бесплатным стриптизом. Но игроков эта затея не устранивала. Они не хотели отвлекаться.

В Хиросиме игорные дома «патинко» тоже очень скоро приобрели популярность. Народ толпился в них

во всякое время дня и ночи. Особенно известным было заведение на вновь отстроенной центральной улице; оно называлось «Атомный гриб». В первое время после своей неудачной попытки покончить жизнь самоубийством туда заходил и Кадзуо М. Раньше он презирал маниакальную страсть людей к «патинко», считая ее симптомом падения нравов. Теперь же юноша часами простаивал перед шумными автоматами в игорных домах. Как загипнотизированный, наблюдал он за кружащимся металлическим шариком, нажимал на рычаг то с заискивающей осторожностью, то грубо, изо всех сил. И ждал... Ждал, часто все утро, того счастливого мгновения, когда один-единственный «хороший» шарик попадет в лунку и из автомата с шумом низвергнется серебряный водопад жетонов. Выигравший не получал денег. Ему выдавали только «призы» — сигареты, шоколад, жевательную резинку. Впрочем, все эти «призы» можно было с легкостью реализовать на все еще процветавшем «черном рынке».

Но вскоре Кадзуо так же внезапно охладел к игорным автоматам, как и увлекся ими. В одном из увеселительных кварталов Хиросимы юноша познакомился с электромонтером по имени Наката, чей дом был местом сборищ всех тех молодых людей, которые гнались за дешевыми развлечениями, мимолетными любовными связями и легкими деньгами.

Благодаря Наката, уже имевшему судимость, Кадзуо сошелся с настоящими «фартовыми парнями» и «дзубэ-ко». «Дзубэ-ко», — объяснил мне Кадзуо в одном из писем, которые он посылал мне из тюрьмы, — это женщины, уже не заботящиеся о своей репутации. Среди них попадают разведенные жены, кельнерши, танцовщицы, а также студентки, считающие себя эмансипированными... Все они приходили к Наката... Мораль, если таковая вообще существовала в послевоенной Японии, нас совершенно не интересовала. Мы вели совсем иную жизнь, чем все простые смертные. Это была поистине безумная жизнь!»

Вот разговор Кадзуо с одной из девушек этого сорта, собственноручно записанный юношей в дневнике:

«Эми сказала мне:

— Кадзу-сан, мне кажется, у меня будет от тебя ребенок.

Возможно, ребенок на самом деле мой. Но еще два месяца назад Эми была подругой Наката. Большинство «дзубэ-ко» живут одновременно со многими.

— Эми, ты уверена, что он мой? Только один человек на свете может знать, чей это ребенок. И этот человек — ты. А кроме тебя, разве только господь бог... Эми, не смотри на меня так своими рыбьими глазами. Подумай лучше, как нам избавиться от внебрачного ребенка. Он не нужен ни тебе, ни мне. Если хочешь денег, пожалуйста...

Я бросил ей пачку банкнот. На аборт здесь хватит. Быть может, она на это пойдет. Ну а если человек предпочитает умереть, я никогда не стану его удерживать...»

Более поздняя запись в дневнике:

«Я слышал, что Эми родила. А потом разнесся слух, будто она избавилась от ребенка. Все это, впрочем, одни разговоры, ничего определенного.

Точно известно только то, что она теперь подвизается в Осака. Значит, жива. А сейчас рядом со мной в кровати лежит другая дуручка. Ее зовут, кажется, Тиё. Как спокойно она дышит во сне!»

«Так я переходил от одной женщины к другой, — писал мне Кадзуо. — Стал завсегдатаем кабаре, все ночи напролет шатался по улицам и где только мог затевал драки. Мелкие жулики и воришки восхищались мною, я был для них Кадзуо Рианко *. В апреле я украл у родителей деньги и окончательно переселился к Наката. Как раз в то время его разыскивала полиция. Войдя в долю с несколькими богатыми шалопаями, он зарабатывал на махинациях с секундомерами. Когда дело вышло наружу, Наката исчез. Его жена осталась с тремя детьми. Ей приходилось очень туго. Без хозяина мастерская не могла долго работать. Служащие разбегались, и госпожа Наката начала продавать мебель. Я не мог спокойно смотреть на это и все время одалживал ей мелкие суммы.

Примерно недели через две после того, как я поселился в этом доме, Тоёко — так звали жену Наката — пришла ко мне в комнату и сказала:

— На свете нет более одинокого существа, чем брошенная жена. Если хочешь, Кадзу-сан, приходи ко мне.

* Романтическая фигура разбойника из национальных сказок.

Замужняя женщина! Это окончательно сбило меня с толку. Перевернуло все мои понятия о нравственности. Я спрашивал себя: «Неужели я один во всем виноват?» Нет, этого не может быть. Виновато общество, в котором царит такой разброд. А все это — следствие войны и атомной бомбы...» Люди уже погубили меня наполовину, — говорил я себе. — Пускай же они довершат свое дело. Туда мне и дорога!»

2

Деньги, деньги, деньги... Это слово стало боевым кличем Кадзуо. Он считал, что проник в суть вещей. Миром правят деньги, деньги и еще раз деньги! «Юкико бросила меня из-за денег, Тоёко спит со мной потому, что я даю ей деньги. А добываю я эти проклятые деньги, без зазрения совести шантажируя людей. Недаром говорят; «Если хочешь разбогатеть, не будь разборчивым». Эта поговорка как будто специально создана для меня».

Однако «мелкая работа», какой занимался Кадзуо, не приносила особых доходов. Одиночка-шантажист не мог запугать никого, кроме мелких торгашей; у них он и выманивал с помощью угроз по нескольку жалких иен. В поисках более крупного бизнеса Кадзуо совершенно случайно познакомился со спекулянтами валютчиками. Как-то к Кадзуо явился Дзе-о, один из электромонтеров, оставшихся без работы из-за бегства Наката. Дзе-о сказал ему:

— Послушай, в Хиросиму приехала целая группа «нисэй» (американцев японского происхождения). Они явились сюда в качестве туристов, и один из них хотел бы поменять на «черной бирже» двести долларов.

— Сколько же он хочет получить за них?

— От трехсот девяноста до четырехсот иен за доллар.

Кадзуо принялся искать человека, который интересовался бы «черными долларами». Юноша знал, что многие торговцы в Хиросиме жадно ищут валюту. За доллары они через родственников или посредников покупают в Соединенных Штатах и у военных интендантов в Японии американские товары. Вместе с неким Такэмото, «специалистом» по такого рода сделкам, уже имевшим несколько судимостей, Кадзуо посетил целый ряд заинтересованных лиц.

— Сожалеем, но курс на «черной бирже» ниже. За доллар дают от трехсот семидесяти пяти до трехсот восьмидесяти иен, — отвечали ему. — Если можете продать по этому курсу, — пожалуйста. Мы возьмем у вас даже десятикратную сумму. И, само собой разумеется, немедленно заплатим наличными.

Сделка не состоялась, ибо предложенная цена не устраивала покупателей. Однако Кадзуо приобрел весьма ценный опыт. В частности, он узнал, какие крупные суммы втайне перекачивают из одного кармана в другой при такого рода операциях.

3

Лето стояло на редкость жаркое. В первый раз после 1946 года в Хиросиме, которая уже опять «разбухла» и насчитывала около 280 тысяч жителей, не хватало воды. День за днем нещадно палило солнце. Город задыхался от пыли. Если не считать нескольких оазисов, в Хиросиме все еще почти не было зелени. Когда дул ветер, на улице тянуло гнилью. По-видимому, этот запах шел от обычно затопляемых, а сейчас пересохших низин с их наносными почвами или же поднимался со дна обнажившегося в результате засухи русла реки. По слухам, однако, вонь распространяли трупы, лежащие среди развалин еще с «того дня». Жители благоустроенного городского квартала Мотомати, по соседству с которым были в свое время вырыты массовые могилы, по целым дням не могли открывать окна.

Социальная и внутривластная напряженность, приведшая в свое время к открытому взрыву — к беспорядкам на сталелитейном заводе «Ниппон», отнюдь не ослабевала. На заборах и стенах домов то и дело появлялись плакаты со стихотворением «Икари но ута» («Песня гнева»), в котором поэт Тогэ прославлял стачку сталелитейщиков. Коммунистов уже не удовлетворяли больше боевые лозунги; они собирались начать кампанию «прямых действий».

Со времени введения «плана Доджа» экономика всей страны переживала упадок. Безработица росла, многие мелкие предприятия обанкротились, вера в демократию была подорвана взяточничеством чиновников и аферами политиков.

Крупные чиновники в Хиросиме также оказались замешанными в скандальных сделках. В частности, чиновники в управлении провинцией были изобличены в растрате денег, собранных в фонд благотворительной организации «Красное перо». Губернатора провинции Кусуносэ некоторое время подозревали в том, что он не только покрывал своих подчиненных, но и сам наживался на их спекуляциях. Объединение «Производители пеньки, Хиросима» было обвинено в миллионной афере. Преступность, как сообщала 12 декабря 1950 года «Тюгоку пресс», достигла в Хиросиме рекордной цифры. Особенно заметно возросло число поджогов (60—80 процентов всех преступлений). Поджоги являлись актом мести и отчаяния. Судебные палаты, занимавшиеся бракоразводными процессами, сочли необходимым издать специальный отчет о своей деятельности, в котором указывали на резкое увеличение числа разводов, а также на рост преступности среди несовершеннолетних. Главным виновником этих явлений, согласно отчету, был «экономический хаос».

Война в Корее произвела на жителей Хиросимы особенно глубокое впечатление. Когда поэт Тогэ, до сих пор с верой взиравший в будущее, узнал о корейской войне, у него началось тяжелое кровохарканье. Кривая самоубийств круто полезла вверх. Если население других японских городов сравнительно быстро приспособилось к ожидаемой военной конъюнктуре, то у большинства жителей Хиросимы — города, подвергшегося атомной бомбардировке, — воспоминания об ужасах войны были еще настолько свежи в памяти, что в первое время их охватило чувство полной безнадежности.

Итиро Кавамото вспоминает об этих летних днях 1950 года:

«Одним ударом нас опять отбросило в прошлое. Каждый день и каждую ночь мы вновь могли оказаться в состоянии войны... На открытых платформах мимо нас проезжали танки, грузовики, тяжелые орудия. Целые составы с белыми и черными солдатами направлялись на запад Японии, где людей грузили на суда. А, когда спускались сумерки, в небе снова гудели самолеты. Они летели быстро, словно пытались догнать солнце, а потом исчезали за горизонтом. Нам казалось, что вот-вот начнется третья мировая война...»

В конце 1949 года, когда резко усилилась гонка атомных вооружений, в Хиросиме в кругах ученых, литераторов и деятелей искусства стихийно возникло внепартийное движение за мир. Участники его, напуганные затем событиями в соседней Корее, начали упорно агитировать за мир, выпуская соответствующие воззвания и листовки. После того как в газетах появились первые сообщения о том, что в Корее, возможно, будет применено атомное оружие, городские власти заявили, что они начнут собирать рассказы очевидцев о гибели Хиросимы, переводить их на английский язык и распространять по всему миру в качестве предостережения.

По городу ползли зловещие слухи. Уже давно паникеры утверждали, будто «магистраль шириной в сто метров» — гвоздь плана восстановления Хиросимы — является не чем иным, как стартовой дорожкой для реактивных истребителей, а новая набережная, по которой собирались гулять жители Хиросимы, на самом деле станет «дорогой бегства» на тот случай, если город опять подвергнется атомной бомбардировке. Эти слухи питались тем, что и магистраль и набережная строились особенно быстро — на деле, впрочем, по совсем иным причинам. Народ гадал: знают ли «отцы города» о наступающей войне? И простое ли это совпадение, что как раз теперь мэр Хамаи отправился в заграничную поездку?

4

В этой накаленной, лихорадочной атмосфере, когда подавляющее большинство людей уже не надеялись избежать неотвратимой войны и рисовали себе картины нового разрушения Хиросимы, Кадзуо М. наметил план собственной «военной кампании», направленной против ненавистного ему общества.

«Я хочу стать истинным злодеем, настоящим преступником. В этом выразится мой бунт против людей» — так дословно сформулировал Кадзуо свою цель, отдав сам себе приказ «действовать». И притом в письменном виде!

Конкретный «противник» был вскоре найден. В квартале Инаромати жил некий Ямадзи — спекулянт и ростовщик, снискавший всеобщую ненависть своей алчно-

стью и жестокостью. Когда Ямадзи говорили, что он продает втридорога, этот кровосос приходил в ярость.

— Жаль, госпожа, что у вас так мало денег. Но меня это не касается. Раз вы считаете, что цена вам не подходит, можете уходить!

Случалось, что покупательница с тяжелым сердцем все же решалась заплатить требуемую сумму. Тогда Ямадзи начинал ее мучить.

— Нет, я не хочу вас грабить, — говорил он, — не желаю брать грех на совесть. Купите сгущенное молоко у кого-нибудь другого. У меня вы его, во всяком случае, не получите. Я не могу этого допустить.

При этом Ямадзи прекрасно знал, что ни у кого другого на складах нет банок со сгущенным молоком. Только он один нелегально получал этот товар от своего брата, работавшего у американцев.

Избрав Ямадзи своей жертвой, Кадзуо мог с полным правом сказать себе, что он действует отнюдь не из чистого корыстолюбия: ведь он устраняет опасного «вредителя», который к тому же еще обделывает разные темные делишки с презренными иностранными солдатами. И еще одно обстоятельство благоприятствовало Кадзуо М. Такэмото, тот самый посредник, которого он уже привлек к предыдущей неудачной операции с валютой, был школьным товарищем Ямадзи и потому пользовался у ростовщика полным доверием.

План Кадзуо состоял в том, чтобы подослать Такэмото к Ямадзи и предложить ему купить двести долларов. А когда спекулянт появится с соответствующей суммой в японской валюте, Кадзуо попросту нападет на него сзади и, отобрав деньги, бросится бежать. Кадзуо не был знаком со своей жертвой, никто никогда не видел их вместе, поэтому подозрение падет не на него, а на Такэмото, уже трижды судившегося за ограбление. («Второй «вредитель» также будет устранен», — мысленно торжествовал юноша.) А он, Кадзуо, в это время совершенно спокойно будет обдумывать новый удар, который затем нанесет.

Однако все эти расчеты сразу же провалились. Ямадзи передал через Такэмото, что он не заинтересован в «мелких операциях». В данный момент ему требуется по меньшей мере пятьсот долларов, и он готов заплатить за них от 170 тысяч до 200 тысяч иен — в зависимости

от курса доллара на «черной бирже» в тот день, когда будет совершена сделка.

Двести тысяч... У Кадзуо прямо-таки закружилась голова, когда Такэмото назвал эту цифру. В один день он может получить целое состояние, пусть не очень большое. Однако уже тогда у Кадзуо зародилось множество сомнений. Поскольку сумма, названная Ямадзи, была намного больше той, на какую рассчитывал Кадзуо, дело осложнялось. Совершенно очевидно, что Ямадзи явится заключать сделку не один. Наверняка он приведет с собой какого-нибудь «телохранителя», возможно, даже нескольких. «Как же я справлюсь сразу со многими людьми?» — размышлял Кадзуо.

Долгие дни этот девятнадцатилетний юноша напряженно обдумывал, как бы ему заманить в ловушку Ямадзи и его свиту. Однажды Кадзуо натолкнулся в газете на сообщение о сенсационном процессе об ограблении банка Тэйкоку, который вот уже несколько месяцев проходил в Токио и вскоре должен был закончиться. В конце января 1948 года художник Хирасава, переодетый чиновником здравоохранения, явился в конце рабочего дня в филиал банковского дома Тэйкоку и заявил директору, что весь персонал банка — сам директор и его пятнадцать сотрудников — должен для профилактики немедленно принять соответствующее лекарство. Лекарство он принес с собой, и оно, разумеется, будет выдано бесплатно. Шестнадцать человек, ни слова не говоря, подчинились предписанию мнимого чиновника: во времена, когда повсюду свирепствовали эпидемии, оно прозвучало весьма убедительно. После того как служащие банка выпили едкую на вкус жидкость, они тут же упали, потеряв сознание. Таким образом, грабитель мог спокойно приступить к своей настоящей «работе».

Кадзуо решил, что цианистый калий, фигурировавший на процессе Хирасава, является и для него наилучшим средством. Яд он мог достать относительно легко. Близкий друг семьи М., некий Фунабаси, упомянул как-то в разговоре, что ему для его работы (Фунабаси занимался позолотой рам и лакированных чаш) требуется цианистый калий. Намекая на известный процесс, он, между прочим, в шутку сказал, что этого яда у него столько, что он мог бы отравить всех банковских служащих в провинции Хиросима.

Кадзуо явился в мастерскую своего знакомого, когда там находились два клиента. Хозяин пространно разъяснял им, как пользоваться вентилятором, за которым они пришли, ибо господин Фунабаси занимался попутно и ремонтом вентиляторов. Кадзуо изо всех сил старался держаться спокойно, но ожидание быстро вывело его из равновесия. Когда он попросил Фунабаси, чтобы тот продал ему немного «кристалликов для позолоты», вид у него был настолько взволнованный, что мастер на мгновение насторожился и предостерег юношу:

— Если ты примешь хотя бы самую маленькую щепотку этого снадобья, — пальцем он показал, сколько именно, — то тебя через минуту не станет.

Возможно, что Фунабаси слышал о попытке Кадзуо покончить жизнь самоубийством и боялся, как бы юноша не повторил ее снова.

Теперь Кадзуо оставалось только договориться с Ямадзи о месте встречи. Под открытым небом такая крупная сделка, разумеется, не могла быть совершена; кафе также отпадали. Кадзуо тщетно пытался разыскать подходящее помещение, но ему ничего не приходило в голову. Тогда он поступил совершенно непостижимо: попросил Такэмото пригласить Ямадзи к нему в дом.

— Но не к Наката, а в Дэмбара-тё, то есть в дом к моим родителям.

В тот же день Кадзуо покинул свою любовницу и переехал к семье. Весьма возможно, что юноша не хотел впутывать в свои дела госпожу Наката. Возможно также, что ему доставляло известное злорадное удовольствие сделать дом своего строгого отца аренной пристройкой.

5

«Первая годовщина города мира»... «Охотники за электропроводами, перерезая линию высокого напряжения, погибли на месте»... «Запрещение газеты «Акахата» * и еще двухсот двадцати девяти периодических изданий»... «Вода на исходе!»... «Трамвайная компания в Хиросиме увольняет 131 служащего. Ожидается волна протестов»... «Мэр Хамаи вручает «Атомный крест» на

* «Акахата» («Красное знамя») — орган компартии Японии. — *Поим. ред.*

съезде организации «Моральное разоружение» в Ко (Швейцария)... «В Киото сгорел золотой храм. Поджог?»... «Открылся новый зоопарк»... «Распространители антиамериканских листовок приговорены к шести годам трудовых лагерей»... «Трумэн требует 2 миллиарда долларов для создания новой атомной бомбы»... «Кэннити Ямамото (девятнадцати лет) заколол Хисао Дана (сорока двух лет) ножом».

Кадзуо просматривал один за другим старые номера «Тюгоку симбун», но время, казалось, не двигалось, Уже ровно одиннадцать. Собственно говоря, Ямадзи давно должен был прийти. Кадзуо начал читать печатавшийся в газете роман «Ядовитая трава большого города» — 147-е продолжение. Автор этого романа, Тайдзи-ро Тамура, создал себе имя книгой под названием «Дорога плоти» и тем самым положил начало пикантной «литературе плоти» в послевоенной Японии.

Одиннадцать часов пятнадцать минут... Остались только объявления. В кино «Кокусай» идет фильм «История одной гибели». Реклама привлекает зрителей: «Героиня этого фильма, сделанного по роману Тацудзо Исикава, совершает из-за любви одно преступление за другим и наконец гибнет. Море слез...» В кинотеатре «Футобэ» — «Меня убьют» с Барбарой Стенвик в главной роли.

Наконец-то они явились, опоздав на полчаса.

Вот что рассказывает Кадзуо о дальнейшем ходе событий:

«Как я и предполагал, Ямадзи привел с собой двух «телохранителей», оба «кодло». Кроме них, пришел еще Такэмото. Я попросил всех присесть и, желая как-то объяснить им отсутствие моего мнимого партнера, сказал:

— Морита (это было вымышленное лицо, которое будто бы хотело продать доллары) еще не пришел, пожалуйста, подождите немножко.

Потом я удостоверился, что они принесли всю сумму наличными. Ямадзи показал мне толстую пачку банкнот — двести тысяч иен в тысячеиеновых бумажках. Деньги были завернуты в грязную газетную бумагу.

Обе стрелки на моих часах стояли на цифре двенадцать.

— Однако господин Морита изрядно опаздывает, — сказал Ямадзи. Вероятно, он произнес эту фразу без всякого умысла, но в моих ушах она прозвучала так, словно валютчик хотел сказать: «По-моему, здесь дело нечисто».

Мне показалось также, что оба «телохранителя» смотрят на меня с подозрением. С самого прихода парни не проронили ни звука. Они уставились на меня, глядя как-то странно, снизу вверх. «Надо поскорее кончать эту музыку», — подумал я. Теперь у меня было такое чувство, будто стрелки часов двигаются все скорее и скорее.

— Надеюсь, Морита-сан явится с минуты на минуту. Давно пора, — сказал я. — А пока что я принесу какое-нибудь питье, — я был рад хоть на минуту покинуть эту комнату, в которой атмосфера все накалялась. Через два-три дома от нас находилась маленькая лавчонка, где продавалось мороженое. Там я взял четыре бутылки лимонада «Кальпис» и незаметно всыпал в них заранее приготовленный цианистый калий.

Когда лимонад был разлит по стаканам, все четверо разом отхлебнули изрядный глоток. У одного из «телохранителей» сразу же началась рвота, и он с проклятиями выбежал из комнаты. После этого все остальные также выскочили на улицу. Я еще успел заметить, что пролитая жидкость выжгла на соломенной циновке светло-желтое пятно.

— Послушай, что это было за пойло? — Я почувствовал, как кто-то схватил меня железной рукой. Тот бандит, который выбежал первым, сжал мне плечо, как тисками.

— Что за пойло? Какое пойло? Ведь это «Кальпис». Что с вами случилось? — Я сделал вид, будто страшно изумлен. Но сам чувствовал, что голос у меня дрожит.

— Этот «Кальпис» горький как полынь! — кричал он. — Должно быть, испорченный. Пойдем, пожалуемся продавцу.

Он взял полупустую бутылку, и мы оба побежали к мороженщику.

— Какое безобразие, — сказал я. — Я только что купил у вас «Кальпис», а он, говорят, горчит.

— Не может быть. Мы не отпускаем плохого товара.

— Но он действительно совершенно горький. Спросите этого человека.

Пока мы препирались с мороженщиком, какая-то женщина на улице пронзительно закричала:

— Мертвый!.. Он умер!..

Мы выглянули в окно. Метрах в десяти от нас посреди улицы лежал Ямадзи.

Мы взяли его за голову и за ноги и потащили в дом. Когда мы переступали через порог, к моим ногам упал какой-то сверток. Из кармана Ямадзи вывалилась пачка банкнот — двести тысяч. Почти машинально я поднял ее и сунул к себе в карман. Итак, значит, я стал обладателем тех двухсот тысяч иен, которые так страстно желал получить.

Но я совсем не обрадовался. Я был в страшном замешательстве. «Убийца! — кричал во мне какой-то голос. — Убийца!» Я начал дрожать. Все кружилось у меня перед глазами. Потом мне стало легче, но голос все не смолкал: «Убийца!» Я попытался было заглушить этот голос, прижав руки к ушам и закрыв глаза. Но ничего не помогало.

— Скорее зовите врача! — закричал я, вскочив. Врач нужен был не мне — я хотел спасти Ямадзи. Мне стало страшно, не могу же я всю жизнь ходить с клеймом убийцы.

Какой-то зевака стоял, как прикованный, у распростертого тела Ямадзи и растерянно смотрел на него. Это ему я крикнул, что нужен врач. Зевака бросился бежать. Лицо Ямадзи стало пунцовым. Вид у него был ужасный, но дышал он ровно. Быть может, его еще можно спасти. Я принес воду и начал вливать ее Ямадзи в рот. Полстакана он проглотил, но больше пить не мог, его стошнило. Обнаженная грудь Ямадзи также стала багровой. Я положил ему на грудь мокрое полотенце. Я молил бога, чтобы валютчик остался в живых. Полотенце очень быстро нагрелось. Когда я хотел его сменить, то увидел, что краснота стала лиловой. Быть может, он уже умер?

Я начал изо всех сил трясти Ямадзи. Наконец появился врач. Он попытался сделать больному искусственное дыхание, — сел на него верхом. В моей голове беспрестанно звучало одно и то же слово, как привязавшийся мотив: «Убийца!.. Убийца!.. Убийца!..»

ШЕСТОЕ АВГУСТА

1

Тысячи падких на сенсацию жителей Хиросимы с жадностью проглатывали все подробности «убийства «Кальпис» — так оно именовалось по марке известного лимонада, в который Кадзуо подмешал цианистый калий. История девятнадцатилетнего юноши, с циничной откровенностью признавшегося на первом же допросе, что он был готов, если понадобится, убить четырех человек из-за двухсот тысяч иен, давала возможность каждому человеку, какими бы скользкими путями он ни шел, вообразить себя весьма добродетельным.

Кроме валютчика Ямадзи, умершего через 20 минут после отравления, сильно пострадал также продавец мороженого Терадзи, который по чистой случайности оказался впутанным в это дело. Когда покупатели пожаловались ему на горький вкус напитка, он решил доказать, что не верит их утверждениям, и одним глотком выпил весь остаток лимонада, возвращенный ему обратно. После этого жизнь его в течение многих дней висела на волоске.

Трое других отравленных, напротив, отделались весьма легко: после короткого пребывания в больнице Ёсидзакки они поправились, и их в тот же день выписали.

Убийца — Кадзуо М., — когда его схватили неподалеку от места происшествия, также производил впечатление человека, принявшего яд. Он плелся, низко опустив голову, время от времени пошатываясь, как пьяный. Видимо, он брел куда глаза глядят, безо всякой определенной цели. Полицейский Окамото, уже много лет работавший в этом районе и знавший Кадзуо еще

ребенком, отвел юношу в амбулаторию. Он был уверен, что речь идет о пищевом отравлении.

И действительно, дежурный врач амбулатории, сделав пациенту выкачивание желудка, с важным видом объявил, что он обнаружил следы яда. Эта версия держалась довольно долго, и газеты уверяли, что Кадзуо, стремясь заставить своих гостей пить, также отхлебнул глоток лимонада с цианистым калием.

В своих записках Кадзуо, однако, утверждает, что он не выпил «ни одной капли отравленного напитка». Почему же врач пришел к такому странному заключению? Возможно, он просто хотел показать свою ученость. Кадзуо сделали примерно двадцать инъекций, чтобы спасти от действия яда. Лежа на столе в амбулатории, он воспринял диагноз врача как еще одно доказательство недобросовестности людей, которых общество почитательно считает своими самыми полезными членами.

Яд, проникший в организм Кадзуо и завладевший всем его существом, нельзя было обнаружить в пробирках, — то был яд воспоминаний. Впервые юноша почувствовал действие этого яда, когда вливал воду в рот умирающего валютчика, понимая, что того уже не спасти. Точно так же он стоял на коленях возле своей умирающей подружки Сумико после «пикадона», точно так же вливал в ее окровавленный рот воду, о которой она молила, когда они вместе пробирались сквозь атомный ад.

Как похожи были лица обоих умирающих!.. Лицо Ямадзи, которого он ненавидел, и лицо Сумико, с которой он чувствовал себя так тесно связанным. «Быть может, и Ямадзи стал жертвой атомной бомбы?» — спрашивал себя Кадзуо. В невыносимо душные дни и ночи перед допросом — юноше пришлось провести их в камере, пахнувшей аммиаком, прогорклым маслом и парашей, — прошлое в его мозгу причудливо перемешалось с настоящим.

Со времени атомного взрыва Кадзуо ни разу не осмеливался вызвать в памяти свой путь через горящий город. Теперь же, когда он судил себя, прошлое снова воскресло в его душе. Теперь он имел право припомнить все, даже самое ужасное. Быть может, вспоминая

старое, он сумеет лучше объяснить свои поступки или даже искупить свою вину.

Вот что записано в его дневнике:

«Почему же я не убежал? Я совершил убийство. Как трудно в это поверить! Трудно поверить? Но ведь он мертв. И что в этом особенного? В день взрыва атомной бомбы я видел тысячи мертвецов; они лежали рядами, целыми грудами навалены друг на друга. Я слышал треск ломающихся костей, карабкаясь по телам мертвецов, и не был особенно потрясен этим. Как ни странно, но все мои чувства тогда притупились. Если бы я тогда крикнул себе: «Ты убил человека!», то тут же ответил бы: «Разве? Значит, одним мертвым больше...» Неужели я и впрямь так жаждал денег, что готов был убить человека? Нет, это невозможно. Что же заставило меня вступить на дорогу разбоя? Тот день, день 6 августа... Не меня одного он погубил. Он искромсал не только мясо и кости, но и сердца и души людей. С тех пор устои общества расшатались. Ничего удивительного, что слабые голодают, а сильные грабят. Какой мерзавец этот Ямадзи! Он почти открыто обдeldывал свои грязные делишки: ведь у него были связи с полицией.

Все произошло оттого, что в этом несправедливом городе я хотел идти в одиночку путем справедливости... Старая поговорка гласит: «В одиночку праведник всегда в опасности». А теперь они делают вид, будто потрясены моим поступком, от удивления таращат глаза — и все из-за того, что я прикончил какого-то валютчика! Хороши же они! Ну а я? Я поступил правильно! И все же... Слезы навертываются у меня на глаза. Я не могу их сдержать. Почему я плачу? От беспомощности или от жалости к себе?»

2

На первом допросе следственные чиновники по обыкновению набросились на Кадзуо. Один из них ударил его в лицо, другой пнул ногой в живот.

— Выкладывай! Признавайся, не то получишь еще! — грозились они. — Не воображай, что мы намерены с тобой миндальничать только потому, что ты еще

молокосос. Мы и так все знаем. Можешь не притворяться и не строить из себя невинного младенца.

Совсем другим тоном разговаривал с Кадзуо видный полицейский чиновник — начальник местной полиции. Это был спокойный, слоноподобный человек, и он обращался с заключенным мягко, пожалуй, даже с известным сочувствием. Начальник почти не расспрашивал юношу о его преступлении; битых два часа он заставлял Кадзуо рассказывать о своей жизни.

Необычайное участие, проявленное этим высокопоставленным чиновником, было вызвано неожиданным визитом, который ему нанесли накануне. К чиновнику явился человек по имени Сэцуо М. — отец убийцы. Назвавшись, он попросил немедленной аудиенции. «Обычная просьба о помиловании», — подумал полицейский начальник и заранее приготовил несколько трафаретных утешительных слов, ни к чему, впрочем, не обязывающих.

Но тощий человечек, сидевший напротив него, требовал совсем иного. Таких просьб начальник не слышал ни разу за все тридцать лет своей полицейской карьеры. Сэцуо М. просил, чтобы его оступившемуся сыну, который принес столько горя и бесчестья семье, непременно вынесли смертный приговор. Иначе позор не будет смыт. Отец Кадзуо предлагал также свою жизнь, дабы искупить грех, совершенный сыном.

После допроса в кабинете начальника полиции Кадзуо оказался под перекрестным огнем фоторепортеров; вспышки магния ослепили его. Тот факт, что его делом занялся самый крупный в Хиросиме чиновник по уголовным делам, вызвал повышенный интерес к юноше.

— Внешне, наверное, незаметно, но наш начальник — чемпион по дзюдо, — объяснил Кадзуо тюремный надзиратель. — В этом виде борьбы он достиг седьмой степени совершенства, что на одну степень выше, чем у большинства учителей дзюдо.

Кадзуо подумал, что в его теперешнем положении ему совершенно безразлично, кто его допрашивает и какой степени физического мастерства достиг следователь. Но все же некоторый отблеск высокого почтения, которое люди питали к начальнику полиции, падал и на него. Из следственной тюрьмы юношу перевели в большую, лучше оборудованную тюрьму Яма-

ита. Ему одному отвели обширную камеру. Обычно в таких камерах помещали по несколько заключенных. Кадзуо разрешили также писать о своем прошлом — таково было распоряжение начальника. И вот Кадзуо в первый раз после «пикадона» рискнул рассказать о тех неизгладимых переживаниях, которые он в течение пяти лет тщетно пытался вытравить из своей памяти, — рассказать о дне 6 августа 1945 года.

3

Как трудно это оказалось даже сейчас! Юноша много раз мысленно возвращался к тем минутам, когда он бежал от заводов Мицубиси обратно в город, воскресал в памяти безликих, совершенно обнаженных беглецов, кричавших ему на мосту через Тэмму: «Ни шагу дальше!», «Не иди в этот ад!» Но до сих пор у него не хватало мужества вспомнить о том, что произошло дальше.

Теперь, теперь он должен наконец собраться с силами. Кадзуо начал записывать все пережитое им в «тот день». Он писал с большими интервалами, все время прерывая свою работу. Руки у него дрожали.

«Мост уже был наполовину разрушен; от него отскакивали бревна и доски, объятые пламенем, и падали в реку. Я побежал к железнодорожному мосту, находившемуся в ста метрах ниже по течению реки. Деревянные шпалы здесь также горели, но, подтягиваясь на руках и перелезая через огонь, я продвигался вперед по раскаленным металлическим балкам. С другого берега ко мне навстречу бежали какие-то обезображенные существа. Они пытались перебраться через реку в противоположном направлении. Казалось, что это муравьиные полчища, согнанные с насиженного места. Их крики сливались в оглушительный рев. Посередине моста лежало четыре или пять человеческих тел, обезображенных до неузнаваемости. Но эти люди еще шевелились. Кожа висела на них клочьями. Она походила на темные морские водоросли! Вместо носов у них были черные впадины. Их губы, уши, руки так распухли, что превратились в бесформенную массу.

Вот один из них упал в воду. За ним второй! Теперь они один за другим срывались с моста, совершенно беспомощные и измученные. Они тонули, даже не пытаясь спастись. На мосту все еще оставалось человек пятьдесят-шестьдесят. В смертельном страхе они цеплялись за раскаленные рельсы. Глаза у них вылезали из орбит. Они спотыкались, карабкались друг на друга, сталкивали друг друга в реку. А крик все не умолкал.

Не знаю сам, как я перебрался по горящему железнодорожному мосту. На другом берегу я сразу же наткнулся на гору трупов, преграждавшую мне путь. Языки пламени, видимо, гнались за этими людьми и в конце концов пригвоздили их к месту. Люди все еще горели. В эту минуту они все еще горели! И вдруг те, кого я считал мертвыми, начали визжать. Какая-то женщина звала своего мужа. Мать — ребенка. А вновь ожившее пламя безжалостно лизало их. Брови у меня обгорели, руки и лицо были сожжены. Только бы выбраться из этой западни, только бы выбраться! Мне надо было во что бы то ни стало проложить себе дорогу сквозь трупы. Я начал отодвигать их в сторону. Схватил чью-то голову, чтобы убрать мертвого с дороги. «Дзуру... дзуру...» Какое ужасное ощущение: к ладоням прилипла человеческая кожа! А под ней что-то желтоватое. Я дрожу всем телом и выпускаю из рук голову мертвеца. Затем пытаюсь оттащить его за плечо, чтобы продвинуться вперед, и... вдруг вижу, как из-под обуглившегося мяса появляются кости, а чужая кожа все еще липнет к моим ладоням.

Я взбираюсь на гору трупов. Люди лежат штабелями. Некоторые еще шевелятся, они еще живы. Я должен выбраться отсюда, должен перелезть через эту гору. Другого выхода нет. Треск ломающихся костей до сих пор стоит у меня в ушах. Наконец гора трупов осталась позади. Но чем дальше, тем сильнее становятся пламя и дым пожарищ. Нога у меня невыносимо болит. Только сейчас я заметил, что потерял где-то туфлю. Голая ступня, израненная осколками стекла, кровоточит. Передо мною открытая цистерна с водой, ее поставили когда-то для целей противовоздушной обороны. Я всовываю в цистерну голову. Вода кипит. Голова у меня кружится. Меня мучает невыносимая жажда. Невыносимая! Тело высохло, на нем нет ни

капли пота — только кровь и куски человеческой кожи. Меня качает, я чувствую позывы к рвоте. Беру себя в руки и машинально вынимаю камешки, прилипшие к ране на ногах, а потом шатаюсь бреду дальше. Раны снова кровоточат и зловеще чернеют. Камешки опять липнут к ним. Нет смысла их вытаскивать. Раньше я хотя бы мог облегчить себе душу, громко жалуясь и крича. Теперь в горле у меня так пересохло, что я не в силах произнести ни звука. Когда я пытаюсь закричать, внутри у меня все болит, словно иголки втыкаются в свежую рану. Нельзя думать о боли! Бежать, бежать, бежать...

За что все эти муки? Я вспоминаю человека, который без конца повторял: «Эта война несправедливая». Неужели весь этот ужас — кара господняя за то, что Япония хотела обогатиться? Но сейчас нельзя думать о прошлом! Каждая секунда может решить мою судьбу. Тело мое разбухает, словно вот-вот разорвется на части. Вдруг на меня летит что-то огромное, какая-то черная громадина. Невольно отскакиваю в сторону. Оказывается, обрушился второй этаж дома; он летел, весь окутанный развевающейся огненной мантией. Злые духи хотят еще немного поиграть моей маленькой жизнью...

Спотыкаясь от смертельной усталости, я бреду дальше. Шаг за шагом пробираюсь сквозь лабиринт огня. В мозгу мелькает мысль: если сейчас остановлюсь, то уже никогда не сдвинусь с места. И вдруг совсем близко от меня раздается чей-то голос:

— Кадзуо-сан, пожалуйста, помоги мне!

Этот некто знает, как меня зовут, значит, и я его знаю. Но кто это? Что это за существо? Девочка? Ее волосы сгорели. Она совсем голая. Уцелела только резинка, придерживавшая раньше трусики. Сейчас она, словно в насмешку, бесполезно болтается вокруг бедер. В нижней части живота, страшно измазанного кровью и грязью, зияет глубокая рана. В таком виде я не узнал бы даже свою родную сестру.

— Кто ты? — спрашиваю я.

— Сумико.

Теперь я вспоминаю. Да, это Сумико! Она жила поблизости от нас. Нет, не может быть, что это Сумико! Сумико... Она была таким красивым ребенком, что мы прозвали ее Белой Лилией. Я спрашиваю Сумико:

— Неужели это ты? Крошка Суми-тян? Не бойся. Я отведу тебя домой. Соберись с духом! Пойдем!

Но девочка так ослабела, что не в силах сделать ни шагу. Я сорвал с себя рубашку, чтобы Сумико по крайней мере прикрыла свою наготу. Потом я отер с раны запекшуюся кровь. Рана оказалась более глубокой, чем я предполагал, но кровоточила не так уж сильно. Свежая светлая кровь стекала совсем тоненькой струйкой на дрожащие бедра девочки.

Я поддерживал Сумико. И все же каждый, даже самый маленький, шаг заставлял ее кричать от боли.

— Суми-тян, я знаю, как тебе больно, но ты должна терпеть.

Мы протащились еще шагов десять, а потом отдохнули у открытой цистерны, облив себя с головы до ног водой. Однако стояла такая невыносимая жара, что вода моментально высохла. Мне самому было достаточно трудно выбираться из этого пекла, а сейчас, вдвоем, это казалось непосильной задачей. Тут вдруг перед нами снова выросли целые горы тел. Люди свалились прямо на середине улицы. Мы попытались как-нибудь протиснуться, но запутались в электрических проводах. Столбы упали, и провода теперь валялись повсюду, словно металлические арканы...

Бывали минуты, когда я хотел сдаться. Возможно, я прекратил бы борьбу, но, призывая к мужеству Сумико, сам становился мужественнее. Да, я спасся в тот день только потому, что хотел спасти Сумико. В конце концов мы добрались до Добаси*.

Почти все мертвые, которых мы увидели на этой площади, были школьницы. Здесь находились первая средняя школа Хиросимы, монастырская школа Сюдо, методическая женская гимназия. И все школьницы погибли. Почти без каких-либо исключений. Вместе с ними погибли и несколько крестьян. Они приехали сюда на повозках, запряженных лошадьми и волами, чтобы помочь эвакуировать девочек: их уже давно собирались вывезти из города.

Мы все чаще спотыкались и падали. Дым стал такой густой и едкий, что сквозь него невозможно было пробиться. С тяжелым сердцем я сказал:

* Площадь недалеко от эпицентра взрыва атомной бомбы.

— Суми-тян, дальше нам не пройти. Надо повернуть назад и бежать к Ёкогава.

Итак, нам пришлось отказаться от своей цели — попасть домой, к родителям. Трудно было принять это решение. Но ничего другого нам не оставалось. Улица стала шире и свободнее. Однако нам все еще попадались родители, которые звали своих детей, и плачущие дети, призывавшие матерей. Потом мы увидели целое подразделение солдат Второго западного полка. Все они были мертвы. Они лежали вытянувшись, как на параде. Поистине фантастическое зрелище! Видимо, они разом свалились замертво на землю, вернее, попадали, как ряды костяшек домино — каждый при своем падении увлек за собой соседа. Впереди лежал офицер: его можно было отличить по форменной одежде. В руке он держал обнаженную шпагу; от нижней половины его туловища остались одни только белые кости. Мы кое-как перебрались по мосту через Ёкогава, а потом повернули на север. Наконец мы оказались на берегу реки у Мисаса. Здесь ничего не горело; этот уголок не подвергся разрушению. Но после того, что мы пережили, мирная картина показалась нам невероятной, как ночной кошмар... Мы присели на берегу на опушке бамбуковой рощи. Там уже собралось много других беглецов. Тщетно я пытался понять, сколько часов прошло с того времени, как я покинул заводское бомбоубежище в Фуруэ. Часов пять? А может, все десять? Или это случилось вчера? В первый раз я ощутил голод.

Из ближайших кустов донесся чей-то голос:

— Эй, вы там! Здесь лекарство для обожженных! Кто может двигаться, идите сюда.

Раненые поползли к человеку, державшему канистру с какой-то густой жидкостью. Я тоже протянул руки, и он налил мне ее немного в раскрытые ладони. Это было растительное масло. Я намазал им стонущую Сумико, а потом вытер жирные руки о свое тело. После этого мы впали в тяжелое забытие.

С наступлением темноты бамбуковая роща ожила.

— Воды, воды... Пожалуйста... Дайте мне воды... Итаэ, итаэ!* Мама! Убейте меня! Только бы не эта боль!..

* Крик боли.

Крики и стоны, доносившиеся из темноты, становились все громче.

— О, черт! Воды... Хоть каплю воды!

Какая-то женщина вскочила и снова упала. Другая женщина, обезумев от горя, начала кричать душераздирающим голосом:

— Ха-ха-ха!.. Ми-тян!.. Посмотрите на мою Ми-тян... Она летает... Иди сюда, Митико... Я дам тебе молока.

Молодая женщина тянула себя за обожженную грудь, поднимала груди к равнодушному небу! Она громко хохотала; ее распущенные космы торчали во все стороны. Потом она бросилась к стволам бамбука и в отчаянии начала с силой трясти их, словно с верхушек мог упасть ей под ноги исчезнувший ребенок. Но на землю, кружась, слетали лишь бамбуковые листья. Они казались красными в далеком отблеске пожаращ Хиросимы. Чем гуще становилась тьма, тем ярче полыхали вдали языки пламени.

Сколько людей нашли здесь убежище? И сколько их умрет до того, как забрезжит рассвет? Возможно, среди них будет и Сумико, которая сейчас лежит, положив голову мне на грудь. Обнявшись, мы ожидаем наступления дня...

Не помню точно, как это произошло, но мы наконец очутились на том месте, где стоял раньше мой дом. Теперь от него осталась лишь груда обугленных развалин. Моя комната с небольшой верандой (я так любил их!) бесследно исчезли. Ни матери, ни отца, ни сестер нигде не было видно. Я молча стоял, ничего не ощущая, не в силах пошевелиться. Если они погибли, надо искать их останки: я должен похоронить своих близких. Я роюсь в том месте, где когда-то была кухня, и там, где была столовая. Руки у меня изранены, но я копаю как одержимый. Я нашел мамины часы и шкатулку, в которой отец всегда держал сигареты. Их я взял себе на память. Больше ничего не было. Неужели это все, что от них осталось?..

Потом мы бредем дальше, к дому Сумико.

— Воды, воды, — шепчет девочка, — пожалуйста, Кадзуо-сан, дай мне хоть глоток воды.

Но вокруг не было ни капли воды — все высохло.

— Кадзуо-сан! Пришел... мой конец... Спасибо... Спасибо за все... Оставь меня здесь... Ты должен искать свою маму.

Сумико сложила руки, словно хотела молиться. Но я прервал ее:

— Ты сошла с ума! Вставай! Неужели ты не хочешь увидеть своих родителей? Если ты поддашься боли, значит, все было напрасно. Понимаешь? Ты не должна умирать. Не должна! — Я схватил девочку и начал трясти ее.

Мимо нас проходила какая-то старуха.

— Обаасан (бабушка)! — закричал я, хотя мне не подобало обращаться таким образом к старой женщине. — Где здесь можно достать воды?

Старуха была рассержена моей невежливостью, но все же сердито махнула рукой.

— Вода там, вон там.

— Спасибо! — крикнул я ей и обратился к Сумико: — Суми-тян, ты слышала? Вода рядом с нами, питьевая вода. Суми-тян!

Девочка попыталась улыбнуться. Но, когда я вернулся к ней с водой, она уже не шевелилась. Тело ее начало холодеть.

— Сумико! — кричал я. — Суми-тян! Проснись! Ты должна жить.

Я обнял ее и начал лить воду на ее личико, на котором застыла улыбка, выражавшая, казалось, радость избавления от мук. Капли сбегали с губ Сумико. Вода, которой она так жаждала, бесполезно текла по ее шее».

4

В то время как Кадзуо, сидя в тюрьме, воскрешал в памяти события пятилетней давности, происшедшие сразу после взрыва атомной бомбы в Хиросиме, по ту сторону тюремных стен в первый раз были запрещены ежегодные празднества в память 6 августа. Оккупационные власти и министерство общественной безопасности опасались, что в этот день возникнут массовые демонстрации, направленные против войны в Корее. Всякого рода скопления людей 6 августа были строжайшим образом запрещены. О «том дне» жителям Хиросимы должен был напомнить только сигнал тревоги вновь установлен-

ных недавно противоздушных сирен; его решено было дать ровно в 8 часов 15 минут утра. Для «обеспечения общественного порядка» из всех близлежащих районов в Хиросиму были стянуты полицейские силы. В это жаркое солнечное утро 6 августа город походил на большой военный лагерь.

Однако, несмотря на все полицейские меры, на улицу вышли колонны демонстрантов; тысячи листовок были сброшены с крыши вновь восстановленного здания универсального магазина Фукудза.

В рядах демонстрантов, разгоняемых полицией, шел Сэйитиро Тогэ. Бледный, еще не совсем оправившийся от кровотечения, он покинул санаторий, чтобы бороться за мир в «городе смерти».

Тогэ описал чувства людей, вышедших в этот день на улицу, в стихотворении, которое впоследствии читалось и цитировалось во всей Японии. Вот что написано там о 6 августа 1950 года в Хиросиме, «городе мира»:

Они идут на нас,
Идут на нас.
Слева,
Справа,
С пистолетами на боку.
Полицейские идут на нас
Шестого августа тысяча девятьсот пятидесятого...
У купола смерти, на выгоревшей дотла земле, —
Толпы людей.
Они принесли цветы.
Но, когда полицейские в касках с пропотевшими ремешками
Бросились на демонстрантов,
Цветы были смяты...

Дайте взлететь голубям,
Пусть зазвучит колокол мира!
Все мирные декларации мэра
Развеяны как дым.
Праздник мира
Превращен в ничто,
Сгорел, как фейерверк...

СОЛОМЕННЫЕ САНДАЛИИ

1

«...и прошу поэтому приговорить меня к смертной казни». На каждом допросе Кадзуо М. требовал у тех, кто подготавливал процесс, внести в протокол это его единственное последнее желание.

Упорство, с которым М. настаивал на своей необыкновенной просьбе, заставило чиновников юстиции настроиться. Из сообщений тюремных смотрителей они уже давно знали, что заключенный Кадзуо М., оставшись один в своей камере, нервно расхаживает взад и вперед, мечется и стонет во сне, — словом, выказывает все обычные признаки страха смерти. Но лишь только юноша вошел в кабинет прокурора, как напускал на себя вид законченного преступника, настойчиво подчеркивая, что единственным мотивом его преступления явилась жадность к деньгам. Были ли еще какие-нибудь мотивы? Нет, не было.

Однако показания самого обвиняемого противоречили картине, сложившейся на основе показаний всех свидетелей, более или менее близко знавших Кадзуо. Концы с концами здесь явно не сходились. И прокурор * решил непременно дознаться, почему заключенный в отличие от свидетелей хотел во что бы то ни стало оговорить себя.

Он еще раз допросил Кадзуо и сказал без всяких обвиняков:

— Вы что-то от нас скрываете. Мне рассказали, что вы вступили добровольцем в пожарную команду, я узнал о ваших драках с оккупантами. Свидетели утверждают, что вы часто ходили на холм Хидзи-яма, на кладбище

* В японском судопроизводстве прокурор допрашивает обвиняемого до начала судебного разбирательства.

неизвестных жертв атомной бомбы, плакали там и громко разговаривали сами с собой. У меня такое чувство, что все эти факты не случайны, что они каким-то образом связаны с вашим преступлением...

Кадзуо упорно молчал и смотрел в окно, словно все это его не касалось. Он избегал встречаться взглядом с прокурором.

— Разве это случайность, что вашей жертвой оказался валютчик? Послушайте, Кадзуо, обвинитель не обязательно должен быть врагом обвиняемого. Говорите со мной начистоту. Облегчите свою душу... Расскажите мне все, как было. Если вы последуете моему совету, вам станет легче...

Но Кадзуо не произнес ни слова в ответ. На его красивом лице не отразилось никаких чувств. Тогда прокурор резко заметил:

— Если вы и впредь будете настаивать на своих показаниях, вам не смогут вынести никакого другого приговора, кроме смертной казни. Чтобы спасти свою жизнь, вы должны отныне говорить правду.

— Секунду мне казалось, что я действительно должен высказать этому человеку все, что у меня на душе, — вспоминал впоследствии Кадзуо. — Но, когда он произнес слова, «чтобы спасти свою жизнь», я пришел в ярость. Значит, он думал, что я боюсь смерти. Но я ее не боялся и хотел ему это доказать.

Соответственным образом Кадзуо и повел себя. Он спросил прокурора:

— Скажите, это точно, что мои показания будут приняты судом, если они останутся такими же, какими были?

— Да, точно! — коротко ответил выведенный из себя чиновник и посмотрел обвиняемому прямо в глаза. Он знал, что, подписав свои показания в том виде, в каком они были даны, Кадзуо тем самым подпишет себе смертный приговор.

И все же прокурор не хотел складывать оружия.

— Я выдам вам один секрет, — сказал он юноше. — Передо мной лежит пространное прошение о вашем помиловании. Если все то, что здесь написано, соответствует истине, вы не обычный преступник. Ребенком вы увлекались живописью. Вас считали «книжным червем». Вы были мягким и мечтательным юношей. Но после войны вы

сразу изменились. Трудно поверить, что человек вашего склада мог совершить такое тяжелое преступление, говорится в прошении о помиловании. И у меня это тоже не укладывается в голове, с тех пор как я вас лично знаю. Мне сказали, что школьные товарищи любили вас. Говорят также, что как-то при встрече с прежними соучениками вы со слезами на глазах возмущались легкомыслием и распушенностью нынешней молодежи. Невозможно представить себе, что ваша любовь ко всему чистому и прекрасному бесследно исчезла... Преступление, в котором вы изобличены, совершено, его не скинешь со счетов. Но лично я стою за то, чтобы с ненавистью карать само преступление, а не того, кто сбился с пути... Смотрите на меня, пожалуйста, как на своего друга... Я хочу видеть в вас человека... Неужели вы этого не понимаете?

Но Кадзуо остался непреклонным, хотя, как он мне позже признавался, слова прокурора его сильно тронули. Он поступил так, как велело ему его «своевольное сердце»: поставил свою подпись — отпечаток пальца — на протоколе, в котором сам давал себе уничтожающую характеристику, рисуя себя расчетливым и жестоким убийцей.

2

Прокурор был недалек от истины, предполагая, что Кадзуо, собственно говоря, решил использовать аппарат юстиции для того, чтобы свести счеты с собственной жизнью. Мысль о самоубийстве преследовала его уже давно — и тогда, когда он разорвал свою хрестоматию, и тогда, когда в первые недели после «пикадона» он писал свое стихотворение о дожде. Узнав о предательстве Юкико, юноша сразу же попытался покончить с собой.

Преступление, совершенное Кадзуо, было на редкость непродуманным, каким-то легкомысленным. Захватив добычу, юноша так и не предпринял серьезной попытки к бегству. Наконец, странным было его поведение и во время следствия. Все эти факты, вместе взятые, заставляли предположить, что и убил-то он из желания покончить — и притом наиболее верным способом — с собственной жизнью. Не валютчик Ямадзи, а сам Кадзуо М. был той жертвой, за которой он гнался и которую теперь наконец настиг...

Согласно японскому судопроизводству, публичный допрос обвиняемого и свидетелей происходит не на одном или нескольких примыкающих друг к другу по времени судебных заседаниях. Процесс тянется очень долго, с интервалами в недели, а зачастую и в месяцы; на отдельных заседаниях рассматриваются разные аспекты «дела». В результате с октября 1950 года по август 1951 года Кадзуо М. пришлось терпеливо снести не менее шести публичных допросов. В промежутках между заседаниями суда он вел свой дневник, в котором ясно отразились его душевные сомнения и страхи.

«День X, месяц X, 1950 год. Идет небольшой дождь. Сотни глаз смотрят на меня с любопытством, ненавистью, сочувствием (кто просил вас мне сочувствовать?)... Вспышки магния прожигают меня насквозь. Ну что ж, смотрите! Я не боюсь смертной казни. Будьте уверены! Показал им зубы. Они бросают на меня возмущенные взгляды. Чувствую себя превосходно. Слушайте, вы все! Неужели вы не знаете, что рукоятка топора сделана из того же дуба, который крушится под топором? Я хотел разбить все вдребезги... Да, все... Даже свою собственную жизнь... И я это сделал... Сделал... Сделал, как хотел!»

«День X, месяц X, 1950 год. Отец, отец! Я тоскую по отцу. Они снова уставились на меня. Все здесь в зале считают меня закоренелым преступником. И я делаю вид, будто я такой и есть. Разве они могут мне повредить? Хотя от них теперь все зависит. Под конец я, наверное, все же потеряю мужество. В действительности я совсем не такой железобетонный. Я ведь хотел быть ближе к людям, мечтал любить и быть любимым, но все уходило от меня. Чем сильнее я стремился подойти к людям, тем дальше они уходили от меня. Я всегда был одинок. Я жил один, наедине с самим собой. На самом деле я вовсе не хочу умереть! Я хотел бы жить и жить...»

3

Однажды ночью, когда Кадзуо, как обычно, ворочался без сна на нарах, у его двери раздался звон ключей — пришел тюремный надзиратель.

— Эй, ты, к тебе посетитель!

Кадзуо вскочил, натянул брюки, хотел было застегнуть пояс, но вспомнил, что пояс у него давно уже отбрали. Дурацкая необходимость придерживать брюки, когда он стоял или должен был пройти хотя бы шаг, унижала юношу больше, чем что бы то ни было на всем протяжении его долгой тюремной жизни.

Там, в углу комнаты для свиданий, сидел, согнувшись в три погибели, тот, кого он больше всех ждал и уже не надеялся увидеть, — его отец.

Они посмотрели друг на друга. В глазах Сэцуо М. застыло выражение печали и отчаяния, какое появлялось в «их в те редкие минуты, когда он, забыв о своей наигранной молодцеватости, признавался: «В семье моей жены все — люди уважаемые. А я? Я никуда не пожусь».

— Кадзуо, что ты наделал? — сказал отец. — Мне стыдно наших предков и всех окружающих... Я даже пытался покончить с собой, чтобы замолить твои грехи... Но... и тут мне не повезло.

Потом Сэцуо М. попытался придать своему тону надменность.

— Я искуплю твое преступление. Я буду работать на благо общества. Загоню себя до смерти.

Больше всего Кадзуо хотелось обнять отца. Но даже сейчас он не осмеливался подойти к нему. Сэцуо М. протянул сыну маленький сверток.

— Я трудился над этим всю ночь. Это — мой последний дар... Но я хочу сказать тебе еще несколько слов. Собственно говоря, виноват не ты. За все несем вину я и твоя мать. Прости мать. Она прилагала все силы, чтобы воспитать из тебя порядочного человека... Ты должен обратить свой гнев на меня, на твоего отца... Понял, Кадзуо?.. Все в порядке, Кадзуо! У меня к тебе только одна просьба: держись стойко, мой сын!

После ухода отца Кадзуо разрешили в присутствии надзирателя развернуть завернутый в газетную бумагу сверток. Он немного помедлил, ибо это было драгоценное мгновение: отец никогда ничего не дарил ему. Но надзиратель был нетерпелив, он торопил заключенного. Медленно разворачивал Кадзуо последний дар отца. В свертке лежали соломенные сандалии с черно-белыми ремешками.

На лице надзирателя появилось выражение ужаса. Посмотрев на него, Кадзуо осознал то, во что он в первую секунду не хотел поверить: отец подарил ему сандалии, какие надевают мертвецам на церемонии погребения.

«Сандалии смертника! — стучало в мозгу у Кадзуо. — Сандалии смертника. Он сказал мне, что я должен умереть. Вот какой у меня отец. Он всегда любил выражаться намеками и загадками, вместо того чтобы ясно сказать, что он думает и чего хочет. Своему собственному детищу он приказал умереть. Он хочет, чтобы его сын исчез, превратился в ничто, испарился, как капли крови на ноже гильотины. Другой человек поднял бы на ноги весь мир. Он кричал бы: «Спасите моего ребенка!» Но мой отец поступает иначе.

Накануне решающего заседания суда Кадзуо записал в своем дневнике:

«Всю предыдущую ночь я прижимал к сердцу сандалии, которые подарил мне отец... Когда я проснулся, они были мокры от слез. Как давно я не видел во сне мать и сестру! Отец, мысленно я уже ношу их, твои сандалии. Время от времени я полирую их о пол и разглаживаю. Я хочу, чтобы они стали совсем мягкие и были мне по ноге... Под ножом гильотины я буду стоять в этих сандалиях и гордиться ими. Ведь это единственное доказательство любви отца ко мне...»

4

Изучая в архиве окружной прокуратуры «дело Кадзуо М.» — объемистый том стенограмм допросов, я и мой помощник Каору Огура наткнулись на один факт, о котором Кадзуо М. не упоминал ни в разговорах со мной, ни в своих записях. Однако как раз этот факт решил судьбу обвиняемого.

28 июля 1950 года на допросе у прокурора Такаси Мориваки Кадзуо М. показал следующее:

«2 января с. г. я упал с лестницы и сломал себе обе руки и несколько ребер. Мне показалось, что я повредил себе также череп. С тех пор я стал очень нервным; люди даже утверждали, что я истеричен. Я очень сильно ушибся, на черепе у меня появилась небольшая трещина. Тем не менее я не потерял памяти. После выписки из

больницы я с трудом двигал обеими руками, это привело меня в уныние. 14 февраля я выпил крысиный яд, пытаюсь покончить жизнь самоубийством. Но в начале марта руки, ребра и голова у меня окончательно зажили. Несмотря на это, со времени попытки самоубийства я потерял всякую охоту работать».

Официальный защитник Дайкити Хонама построил на этом факте свою защиту. Проверить показания Кадзуо о несчастном случае было чрезвычайно легко: юноша упал на глазах у многочисленных свидетелей. Дело в том, что в большинстве японских городов каждое 6 января происходит общегородской смотр пожарников, их «стиля» работы — «дэдзомэ сики». Самые ловкие и храбрые пожарники демонстрируют на смотре смелые акробатические номера. Кульминационным пунктом этого зрелища под открытым небом являются акробатические трюки на бамбуковых лестницах. Балансируя на одном колене или уцепившись ступнями за легкую петлю, пожарные на большой высоте размахивают пестрыми флажками и раскрытыми яркими бумажными зонтиками.

Еще в декабре на одной из первых репетиций Кадзуо упал с большой высоты; правда, он остался невредимым, но с тех пор чувствовал себя неуверенно. А за четыре дня до смотра юноша получил серьезные увечья. Защитник привел высказывания родственников и знакомых подсудимого, которые в один голос утверждали, что после падения Кадзуо «вел себя странно». Кроме того, Дайкити Хонама представил соответствующие медицинские заключения. Особое впечатление произвела экспертиза д-ра Такаси Худзивара из университета в Окаяма; этот психиатр заявил, что в последующие шесть месяцев после несчастного случая и вызванного им сотрясения мозга в психике обвиняемого вполне могли произойти «серьезные изменения».

Ни М., ни его защитник ни разу не упомянули на суде о внутренних причинах, приведших юношу на скамью подсудимых. Душевное потрясение, которое Кадзуо перенес во время «пикадона», и его послевоенные переживания не фигурировали на суде в качестве смягчающих обстоятельств.

Обвиняемый не говорил о прошлом, потому что для него приговор был предопределен — приговор вынес ему

отец. Что же касается защитника, то он не хотел пользоваться «психологическими» аргументами, так как знал, что, пойдя по этому пути, не встретит сочувствия у суда. Судьи будут опасаться признать прошлое юноши смягчающим обстоятельством; ведь тем самым они выдадут «охранную грамоту» тысячам людей, переживших атомный взрыв.

Шестнадцатого августа 1951 года прокурор Катаока, принявший дело Кадзуо М. от первого обвинителя, чью руку помощи юноша отклонил, потребовал для подсудимого смертной казни.

— Обвиняемый, — заявил прокурор, — хладнокровно подготовил свое преступление. По собственному признанию, он хотел из чистой алчности убить даже не одного человека, а сразу многих — грустный пример аморальности молодого поколения.

Защитник Хонама указывал в своей речи на частичную невменяемость подсудимого. Неожиданно для всех он сообщил новые установленные им факты: незадолго до преступления Кадзуо М. предпринял еще две попытки самоубийства, до сих пор неизвестные. В первый раз он несколько часов держал голову в отверстии дождеприемника, во второй раз его нашли лежащим на рельсах. По словам защитника, эти факты с еще большей определенностью показывают, что после падения с пожарной лестницы рассудок М. помутился.

5

Вынесение приговора по делу об «убийстве лимонадом «Кальпис» ожидалось 8 сентября 1951 года. Еще до начала заседания кулуары вновь отстроенного после атомной бомбардировки зала № 2, где должно было слушаться дело, оказались заполненными народом. Однако суд не мог начаться вовремя, ибо в зале еще шло другое заседание.

Среди ожидающих был и отец Кадзуо. Он отвернул лицо к стене, чтобы избежать взглядов любопытной публики.

Услышав чей-то голос, обращенный к нему, Сэцуо М. вздрогнул. Он надеялся, что ему удастся пережить в одиночестве свой позор и свою печаль.

— По-моему, вы отец того юноши... отец убийцы? Подняв глаза, Сэцуо М. увидел совершенно незнакому ему пожилую женщину.

— Я пришла сюда, чтобы подбодрить вас, — начала женщина. — Говорят, что ваш сын «оя коко мусуко» — послушный сын. Я не считаю его преступником.

Эти слова тронули Сэцуо М. до глубины души. Но, прежде чем он успел поблагодарить незнакомую женщину, двери зала заседания открылись и люди начали проталкиваться вперед. В толпе он потерял знакомку.

«Как обычно, на таких открытых заседаниях я беспрестанно чувствовал взгляды людей, устремленные на меня со всех сторон, — рассказывает Кадзуо М. — От этих взглядов все внутри у меня переворачивалось. «Эй, вы, слушайте, я говорю это каждому из вас: да, я убийца. Смотрите на меня хорошенько! Не стесняйтесь! Будьте вы прокляты, дураки! Вы не пережили и сотой доли того, что пережил я».

А потом зачитали приговор. Сотни глаз где-то там, за моей спиной, расширились от ужаса. Приговор гласил: «Пожизненное заключение».

Был ли я «счастлив»?.. Нет, это не то слово. «Несчастен»? Тоже не то. «Неправильно рассчитал» — вот что промелькнуло у меня в голове в первую секунду. Означает ли «пожизненное заключение», что я буду жить дальше? Трудно перестроиться человеку, который так долго размышлял о близком конце, каждый день думал, что идет навстречу смерти, что все сильнее запутывается в ее сетях...

Весь зал гудел. Когда я шел из здания суда, в моем настроении произошел перелом: постепенно я начал радоваться приговору. Но к чувству радости примешивалась странная печаль... Да, теперь я знал: все, что я делал, было неправильно. Все...

Часть четвертая
ОСТАВШИЕСЯ В ЖИВЫХ
(1952—1957)

«ЗАМОК РЫБНОГО ПАШТЕТА»

1

По-настоящему расцвел «город мира» лишь после того, как в его хронически пустые сейфы начали поступать прибыли от новой войны, или, как ее деликатно именовали, «конфликта» в Корее. Премьер-министр Японии Иосида назвал военные заказы американских войск в Корее «манной небесной», спасшей японскую экономику, которая захирела после программы *austerity* (программа экономии) американского финансового советника Доджа. Бывшая цитадель военной экономики Японии, Хиросима была особо щедро осыпана американской «манной». Со времени окончания войны старые военные заводы разрушенного атомной бомбой города перестроились на производство пассажирских судов, железнодорожных рельсов и платформ для перевозки машин. Но сбыт мирной продукции оказался не так легок. Зато теперь военные заводы весьма усердно ремонтировали джипы и пулеметы, изготовляли понтонные мосты и штурмовые катера для комбинированных операций, производившиеся еще во время второй мировой войны, но затем «замороженные» в 1945 году.

Статистические данные за 1950—1952 годы показывают, какими скачками поднималась вверх экономика Хиросимы. В этом городе начали много зарабатывать и много тратить. Район «сити» рос как на дрожжах. Увеселительные кварталы облекались в новые, роскошные, сверкающие одежды из неоновых ламп, бары и прочие заведения этого типа процветали так, как они процветали когда-то в «великие времена». Солдатам, воевавшим в Корее, пришлось немало удивляться

(если у них вообще было время удивляться): почти на всех их машинах белой масляной краской было выведено «Хиросима» — название города, который всего лишь пять лет назад считался символом прекращения войн. Объяснялось это явление весьма просто: на каждом предмете военного снаряжения, вновь приведенном в состояние боевой пригодности, по существовавшей традиции ставилось название города, где этот предмет снаряжения был возвращен к жизни.

Если в первые годы после «пикадона» Хиросима напоминала поселок золотоискателей на Диком Западе, то теперь центр, застроенный вперемежку одноэтажными и многоэтажными домами с прилизанными фасадами и плоскими крышами, опутанный целой сетью проводов, ослепляющий крикливыми рекламами, все больше и больше походил на Мэйн-стрит в каком-нибудь калифорнийском городе. Даже крытые торговые ряды, напоминавшие до взрыва атомной бомбы азиатские базары с их кривыми пестрыми улочками, выглядели теперь совсем как элегантные пассажи в западных столицах. Довоенная Хиросима славилась уютом — в этом она не уступала маленьким заштатным городишкам. И, хотя западнояпонский гарнизонный город считался несколько заспанным, его ценили за особую свойственную ему невозмутимость. Чиновники в те времена очень охотно переводились в Хиросиму. Когда до 1940 года в Японии говорили, что Хиросима — приятный город, под этим понимали ее жизненный уклад, безмятежный и размеренный.

Но теперь со всем этим было покончено. Нельзя же было, в самом деле, «планировать» очаровательные устричные ресторанички на берегу Оты или тихие чайные домики, живописные семейные садики или узкие улочки! Теперь Хиросиму часто называли «новым Чикаго», ибо японцы, воспитанные на штампованных американских фильмах, именно так представляли себе этот второй по величине город США. И Хиросима всячески старалась оправдать свое прозвище: в иллюстрированных журналах она тешила воображение охотников до сенсаций рассказами о многолетней междоусобице двух гангстерских банд Хиросимы — банды Ока и банды Мураками. Таких междоусобиц Япония до тех пор не знала. Только в сентябре 1952 года, когда дело

дошло до открытого уличного побоища между бандами, полиция вмешалась в дела гангстеров. Впрочем, и в это время она не сделала серьезной попытки ликвидировать преступный мир Хиросимы, который влиял на все сферы жизни города, в особенности на политическую.

На тех местах, где в первые послевоенные годы вырастали временные, наспех сколоченные бараки, в эру «процветания» воздвигались «солидные» строения; их становилось все больше и больше. С лихорадочной быстротой строились здания банков, универсальных магазинов, радиостанций, газет и различных официальных учреждений. В 1950 году католики заложили пышный «кафедральный собор мира», а токийские власти приступили к постройке обширного комплекса административных зданий; об этих зданиях с гордостью говорили, что они по размерам будут уступать разве лишь «дворцам», где помещались столичные административные учреждения. Даже университет в Хиросиме получил возможность отремонтировать свои сильно поврежденные корпуса и насадить обширный «сад мира»; деревья и кустарники для сада присланы по его просьбе учебными заведениями самых различных стран.

Теперь, когда благодаря войне в Корее сейфы промышленников ломились от денег, японские министерства начали отпускать Хиросиме средства для претворения в жизнь закона «о восстановлении города мира» — те самые средства, которые они обязались давать уже с 1949 года. Однако и сейчас чрезвычайные субсидии отпускались с множеством оговорок и условий. Мэр Хамаи хотел строить на дополнительные средства в первую очередь школы и квартиры, а также проводить канализацию. Но это ему не разрешалось. Министерства финансов и восстановления требовали использовать чрезвычайные кредиты на осуществление тех проектов, которые были специально посвящены дню 6 августа 1945 года, иными словами, для возведения монументальных, «представительских» зданий.

Градостроительным шедевром и духовным центром «города мира» должен был стать Парк мира, заложенный на острове между двумя рукавами реки Ота. Здесь предполагалось построить памятник жертвам «пикадо-на» — атомный музей для коллекции профессора Нагаока, размещенной до сих пор в одном бараке, и выставоч-

ный зал. На этот «остров воспоминаний» должен был вести новый мост, так называемый Мост мира. Однако, когда профессор Тангэ, ученик Корбюзье, представил проект паркового ансамбля — центра «новой Хиросимы» — соответствующей инстанции в Токио, ему немедленно ответили, что проект слишком грандиозный и дорогостоящий. Но мэр Хамаи не дал себя запугать; он заявил, что недостающие средства предоставит сам город, лишь бы воплотить план Тангэ в жизнь, пусть не сразу, а по частям.

Вскоре, однако, власти в Токио начали чинить городу новые препятствия. Узнав, что, согласно проекту, под памятником жертвам атомной бомбы предполагалось захоронить пепел десятков тысяч людей, погибших от «пикадона», правительственные чиновники вытащили на свет божий старый закон, запрещавший устраивать могилы в парках. В результате под гладким серым надгробием кенотафия * мог быть погребен лишь список убитых и пропавших без вести.

Но на территории будущего Парка мира уже находилась небольшая братская могила; в ней были погребены останки погибших от атомной бомбы учеников одной хиросимской средней школы. Собственно говоря, во время подготовительных работ к разбивке парка могилы следовало ликвидировать. Но власти Хиросимы проявили достаточно такта: они сделали вид, будто ничего не знают о захоронении. А когда родственники жертв «пикадона», покоившихся в этом жилище смерти, захотели поставить на могиле небольшое надгробие, им дали понять, что они могут это сделать в какое-нибудь из воскресений. Тогда официальные инстанции так и не узнают о их «противозаконных действиях».

В августе 1952 года был освящен главный памятник жертвам атомной бомбы в Парке мира. Простой и красивый, он был сделан из серого гранита и напоминал по форме крышу старого японского дома. Однако надпись, высеченная на памятнике («Покойтесь в мире. Ошибка никогда не должна повториться»), тотчас же вызвала недовольство среди части населения Хиросимы. Многие считали, что эта надпись может быть истолкована как признание вины самих жертв атомной бомбы.

* Пустая гробница. — *Прим. ред.*

Одна рассерженная мать потребовала даже, чтобы имя ее ребенка было вычеркнуто из списка жертв, положенного под могильную плиту: ведь ее трехлетний сынишка не совершал никакой ошибки.

2

Чем больше восстанавливалась Хиросима, чем скорее нормализовалась ее жизнь, тем глубже становилась пропасть между «хигайся» (жертвами атомной бомбы) и остальным населением города. Дома и улицы вырастали на месте руин, но люди, пережившие «пикадон», по-прежнему оставались калекками, день ото дня теряя силы.

В 1947—1948 годах создалось впечатление, что больные лучевой болезнью постепенно выздоравливают. Число преждевременных родов уменьшилось. Исследования семени показывали, что бесплодные мужчины стали снова способны иметь детей, «келоиды» заживали, процент гемоглобина у людей, страдавших анемией и общей слабостью, вновь приблизился к норме. Не только официальные пропагандисты оккупационных властей, но даже некоторые японские врачи поспешили сделать из этих фактов неоправданно оптимистические выводы. Во всем мире опять распространялась легенда, будто сбрасывание атомных бомб на Японию едва ли имело существенные последствия для здоровья людей.

Укоренению этого ошибочного мнения немало способствовала американская цензура. С 1952 года цензура соответствующим образом препарировала не только газетные статьи, радиопередачи и книги, упоминавшие об атомной бомбе, но и публикации японских ученых.

Упорная политика «засекречивания» последствий атомной бомбы (она проводилась и в самой Америке) приводила к весьма плачевным результатам. Уже 14 октября 1945 года специальное подразделение американской армии под командованием полковника Мэйсона закрыло Армейский госпиталь для изучения и лечения атомных болезней, оборудованный в Удзина, неподалеку от Хиросимы, на бывшей прядильной фабрике, и конфисковало все оказавшиеся налицо научно-исследовательские материалы. Японским врачам, кото-

рые всего лишь месяц назад создали эту первую в мире клинику лучевых болезней, было предложено немедленно возвратиться в Токио. Правда, им удалось спасти большую часть своих записей. На основе этих записей они, собравшись в уединенном курортном городке в горах Хаконе и воспользовавшись помощью соответствующих специалистов, за несколько недель составили обстоятельный доклад, который затем собственноручно отпечатали на небольшом печатном станке. Так 30 ноября 1945 года в Японии появилось первое специальное исследование о последствиях атомного взрыва для здоровья людей. Однако «появилось» оно лишь в кругах специалистов, где его тайком передавали из рук в руки, наподобие нелегальной листовки. Возможно, именно поэтому указанный доклад японских врачей никогда не упоминался в подробном списке трудов, составленном американской АБКК. В октябре — ноябре 1945 года в клиниках Хиросимы, занимавшихся с августа 1945 года изучением последствий «новой бомбы», появились специальные американские подразделения. Они конфисковали не только анатомические препараты, полученные учеными после резекции трупов жертв атомного взрыва, но даже научный фильм, который профессор Тамагава демонстрировал при вскрытиях в госпитале почтовых служащих, и около двадцати портретов больных лучевой болезнью, сделанных художником Моя с натуры. Тамагава вспоминает, что ему запретили говорить о своей работе даже с американцами, кроме тех случаев, когда последние докажут, что они облечены специальными полномочиями.

Американская политика запретов сильно обескуражила японских ученых. Во времена, когда в стране господствовала собственная военщина, они считали, что отношение к научным исследованиям на Западе является образцом демократии. После капитуляции Японии они надеялись получить наконец свободу творчества. А вместо этого части из них было запрещено проводить исследования и публиковать свои труды, и притом в еще более категорической форме, чем во времена военной диктатуры. На одном из чрезвычайных заседаний, созванном в 1946 году министерством просвещения, д-р Нисина — всемирно известный исследователь в области ядерной физики, ученик и помощник Нильса

Бора — сказал, обращаясь к двум представителям штаба Макартура: «Мы не собираемся исследовать способы создания и применения атомной бомбы. Мы хотим только одного — изучить последствия атомной бомбардировки Японии и тем самым внести свой вклад в мировую науку».

Гораздо резче поставил вопрос профессор Цудзуки, занимавшийся лучевой болезнью: «В ту минуту, когда я говорю здесь перед вами, в Хиросиме и Нагасаки люди умирают от новой, «атомной» болезни, загадка которой еще не решена. До тех пор пока мы лишены возможности докопаться до истины, врачи не будут знать, как лечить своих больных. Нельзя наложить запрет на изучение какой-либо болезни, нельзя запретить публикацию научных трудов по вопросам медицины. Это... противоречит всем законам человечности».

Правда, в последующие годы политика строжайшего засекречивания биологических и медицинских исследований японских теоретиков была несколько смягчена. Но, несмотря на это, ученые, пришедшие к пессимистическим выводам, не осмеливались публиковать свои работы. Профессор Дзан Ватанабэ из университета Хиросимы, например, продержал свой обширный труд об одной из групп жертв атомной бомбы до конца оккупационного режима. По его словам, американские власти заявили ему: «Мы не запрещаем никаких научных публикаций. Но, если мы сочтем, что ваши научные труды могут нанести ущерб оккупационному режиму, мы предадим вас суду военного трибунала. Извольте с этим считаться».

В результате до конца оккупации, то есть до 1951—1952 годов, даже в самой Хиросиме не было известно ничего определенного о характере хронических проявлениях лучевой болезни, а также о природе более поздних заболеваний, с той или иной степенью вероятности приписываемых действию «бомбы». А ведь тысячи больных долгие годы страдали от последствий «пикадона». У многих — но далеко не у всех — болезнь сразу же принимала острые или ярко выраженные формы. У них находили лейкозы (рак крови), язвы во внутренних органах и поражения глаз, то есть заболевания, которые почти наверняка объяснялись действием радиоактивности.

Однако у еще большего числа жителей Хиросимы, переживших атомный взрыв, заболевания носили гораздо менее выраженный характер. Эти больные жаловались на частые головокружения, головные боли, тошноту, быструю утомляемость. Самые, казалось бы, обычные и безобидные болезни становились у них хроническими. Если такой больной простуживался, то ему требовалось, к примеру, гораздо больше времени для выздоровления, чем обычно; а если он получал травму, раны заживали у него дольше, чем у других. Ситуация была такова, что около семидесяти тысяч человек, находившихся 6 августа 1945 года в пределах трехкилометровой зоны вокруг эпицентра взрыва атомной бомбы, потеряли значительную часть своей жизненной энергии и способности восстанавливать силы.

Господин Уэмацу — отец «девушки с палочкой» — был одним из тех, кого поразило это труднораспознаваемое заболевание. Он занемог сразу после «пикадона» и все не выздоравливал.

В конце концов Уэмацу, у которого атомная бомба отобрала и источник его существования — кузницу, и здоровье, окончательно слег. И семнадцатилетней Токиэ пришлось подумать о куске хлеба для себя и своей семьи.

Она рассказывает:

«В один из зимних дней, когда шел сильный снег, я отправилась в бюро по найму... Ожидая своей очереди, я дала себе торжественную клятву, что больше не буду «избалованной младшей дочерью». В первой же мастерской, куда меня направили, я получила отказ. Во второй мне сказали: «Мы не принимаем на работу калек». В третьей спросили: «Рекомендации есть? Стаж работы есть? Нет? Тогда вы нам не подходите!»

Поиски работы я начала с одного портного, жившего неподалеку от нашего дома, у вокзала. В конце концов я доковыляла до Кои — от нас это километров около пяти. Моя больная нога совсем онемела. Эта мастерская была уже шестая по счету. Если меня здесь не возьмут, я откажусь от своего намерения стать портнихой. Хозяин мастерской оказался мягким, приветливым человеком. Неужели на нашем свете еще попадаются такие люди? Я буду зарабатывать деньги и в то же время учиться шить. Я должна очень стараться. Слава богу!

Крыша мастерской, в которой я работала с шестью другими девушками, была вся дырявая; сквозь дыры просвечивало небо — то голубое, то затянутое тучами. Когда погода ухудшалась, с потолка и из-под пола так сильно дуло, что ноги у меня становились холодными, как ледышки. От долгого сидения за швейной машиной спина деревенела. Я боялась, что хозяин мне скажет: «Все равно ты не можешь шить сидя прямо, ведь ты калека».

Поэтому, не жалуясь, я молча шила до тех пор, пока не сдавали мои нервы.

В мастерской царил атмосфера легкомыслия и панибратства. Девушки пели пошлые песенки и хихикали без причины. Я же была не в силах даже улыбаться. Я никак не могла избавиться от чувства усталости, и меня постоянно мучил страх перед увольнением.

Чаще всего я приходила домой только в час или два ночи. Мои родители еще бодрствовали: они дожидались меня, чтобы напоить горячим чаем. Какие бы неприятности у меня ни случались, как бы я ни злилась на работе, я не рассказывала об этом отцу и матери: мне не хотелось доставлять им лишние огорчения. Для них я все еще была маленькой послушной девочкой, и мы, как прежде, весело смеялись...

Вместе с сестрой мы зарабатывали 8 тысяч иен в месяц. Этих денег не хватало даже на то, чтобы обеспечить отцу настоящее лечение. Единственное средство лечения, которое он мог себе позволить, — это лежать в постели.

Пролежав с полгода, отец заявил, что ему стало лучше, и начал подниматься. Однажды я подслушала его разговор с матерью. Отец говорил:

— Ужасно, что дети должны так тяжело работать!

Иногда, когда я в виде исключения приходила из мастерской часов в семь-восемь, я брала работу на дом — шила детские платья. За каждое платье я получала по 16 иен, но часто я чувствовала себя такой усталой, что не в силах была снова взяться за шитье. В изнеможении бросалась я на постель и растирала больную ногу.

Однажды в жаркий летний день отец вышел из дому с тачкой. В тачку он положил кое-какой кузнечный инструмент, еще сохранившийся у него. Я со стра-

хом спрашивала себя: что он задумал? Наступил вечер. Отец все еще не возвращался. Все мы беспокоились за него. Наконец он вернулся. Вид у него был очень усталый. Ни слова не говоря, он сел. С большим трудом мы вытянули из него, что он весь день бродил по городу — чинил кастрюли и котлы, которые ему приносили.

Я понимала, как тяжело было отцу стать бродячим мастером, работавшим прямо на улице: ведь он так гордился своей кузницей. Когда мы, девчонки, были еще маленькими, он часто рассказывал нам эпизоды из своей жизни. Когда-то он работал на Камчатке, хорошо изучил нравы и обычаи местного населения. Он был один из тех, кто строил знаменитый железный причал в Миядзиме.

После хождения с тачкой в лице отца не было ни кровинки, он обливался потом, и мы, сестры, поклялись, что будем работать еще больше, чтобы помочь семье. Но, сколько бы мы ни напрягали свои силы, все было бесполезно: никто не мог угнаться за катастрофически растущей дороговизной. Сломив свою гордость, я подала заявление с просьбой предоставить нашей семье пособие по бедности, которое полагалось нам по закону. Но чиновник городской благотворительной организации не принял всерьез моей просьбы.

— Послушайте, ведь такая семья, как ваша, не захочет... — сказал он, намекая на наш прежний достаток.

Каждый день отец отправлялся в город с тяжелой тачкой. Если ему предстояло чинить водосточные желоба, его сопровождала мать. Но работа была ему не под силу. Осенью 1952 года отцу снова пришлось лечь в постель... Его состояние день ото дня ухудшалось. Моя сестра и я брали все больше и больше сверхурочной работы. От ножной машины ноги у меня часто совершенно теряли чувствительность. Теперь я каждый день засиживалась в мастерской до двенадцати, а то и до часу ночи; мои домашние боялись, как бы и я ко всему еще тоже не слегла... Однажды моя сестра втайне от меня подала жалобу в бюро по найму. Хозяина портняжной мастерской (это был мой второй по счету работодатель, первый обанкротился) вызвали в бюро и строго предупредили. Но результаты оказались самыми плачевными. Хозяин представил фальшивые книги, кроме того, он начал каждый вечер занавешивать окна черны-

ми шторами, чтобы с улицы не было видно, что мы работаем по ночам. В остальном же все осталось по-старому.

В последний день 1952 года я летела в мастерскую, не чуя под собой ног; я заранее радовалась новогодним наградным. Отцу я посулила пару новых «гетас» (деревянных сандалий); матери обещала дать денег, чтобы она расплатилась с долгами в лавках. Сестре уже выдали 3 тысячи иен в качестве аванса, и мы на эти деньги смогли купить рис и заплатить за квартиру. Наверное, у меня еще останется небольшая сумма, так что мы сможем отпраздновать Новый год.

Но вместо праздничных наградных, на которые я рассчитывала, меня ожидала весть об увольнении. 2500 иен — вот все, что мне причиталось после окончательного расчета. Причиной увольнения, по словам хозяйина, было то, что я плохо работала. Это утверждение не давало мне покоя, ведь я знала, что работаю хорошо и старательно. Да и потом, как вернуться домой с такой смехотворно маленькой суммой? Я твердо решила бороться.

Даже отец, всегда призывавший меня к терпению и покорности, на этот раз возмутился. Он простонал: — Твой отец сам пойдет в мастерскую и скажет им несколько теплых слов!

Однако волнение сломило его. В этот новогодний вечер болезнь отца приняла опасный оборот».

3

Трудно сказать, сколько человек из примерно ста тысяч, переживших взрыв атомной бомбы в Хиросиме, мятарствовали в послевоенные годы так же, как семья Уэмацу. Точно это никогда не удастся установить, потому что большинство «сэйдзоня» (оставшихся в живых) старались скрыть свои страдания от всех окружающих, кроме ближайших родственников. Правда, в первое время очевидцы «того дня» часто рассказывали о пережитых ужасах, при случае даже хвастались ими. Теперь же они упорно молчали. Причина заключалась в том, что отношение общества к ним хоть и незаметно,

но все время менялось. То, что еще вчера рассматривалось как доблесть, сегодня считалось позором.

В общественные бани не впускали мужчин и женщин, обезображенных «келоидами»: хозяева бань совершенно необоснованно считали, что шрамы от атомных ожогов заражны. Брачные посредники, с помощью которых в Японии заключается большая часть браков, объявили, что молодые люди из Хиросимы и Нагасаки, пережившие «пикадон», нежелательны в качестве женихов и невест: ведь от них могут родиться уроды.

Большинство работающих по найму из числа тех, кто пережил атомный взрыв, потеряли работу, так как их трудоспособность резко понизилась. (Исключение составляли лишь государственные чиновники, чьи должности охранялись законом.) Эти люди часто страдали головокружениями, временной потерей памяти, повышенной нервозностью, апатией. Найти новую работу им было очень трудно, почти невозможно, ибо никто не хотел брать к себе «атомных калек».

Поэтому больные, еще имевшие работу, старались как можно дольше избегать всяких упоминаний об усталости и недомогании. Вызвав сочувствие сегодня, они рисковали потерять завтра кусок хлеба; из страха перед увольнением они не осмеливались даже жаловаться на головные боли или, скажем, на насморк. Даже в том случае, если у них были деньги, они зачастую не решались обратиться к врачу из боязни, что окружающие узнают о их болезни. Случалось, что самые ближайшие родственники не предполагали, что глава семьи тяжело болен. Только после того как он окончательно свалился, к нему звали врача, но большей частью это было уже слишком поздно.

Тысячи людей, желая скрыть свой «позор» и не считаться больше «сэйдзонся», переселялись в Токио, Осака, Кобэ и другие города. Но и это мало помогало несчастным. За японцем повсюду следуют его документы, в первую очередь «семейная книга», в которую заносится вся история его жизни.

Хуже всего приходилось людям, жившим в сельских местностях. Однажды, например, в Хиросиму явилась молодая крестьянка, недавно вышедшая замуж. Она хотела показаться врачам. Молодая женщина страдала всеми недугами, какие были характерны для начальной

стадии лучевой болезни: она жаловалась на шум в ушах, обмороки, быструю утомляемость, общую слабость.

— Нет хуже несчастья, чем молодая жена, которая только ест, а работать не может, — говорила о ней вся деревня вот уже много месяцев.

Первое время молодой супруг защищал свою жену от нападков остальных членов семьи, но потом, когда сельский врач не нашел у нее никакой болезни, он также переменился к ней. Заболевание у этой женщины зашло не настолько далеко, чтобы ее надо было класть в больницу. Но она ни за что не хотела возвращаться домой. Тщетно умоляла она врачей:

— Пожалуйста, не отсылайте меня! Пожалуйста, оставьте меня здесь.

Врачи не вняли ее мольбам. Больниц в Хиросиме было немного, мест не хватало даже для тяжелобольных. Тем не менее строить больницы за счет «Фонда восстановления» не разрешалось. Новые граждане Хиросимы считали более важным возведение грандиозных, поражающих своим великолепием зданий, нежели заботу о несчастных жертвах атомной бомбы, заболевших какой-то непонятной, никем не признанной болезнью.

Летом 1949 года мэр Хамаи провел по всем лечебным учреждениям Хиросимы Нормана Казинса — издателя американского журнала «Сатердей ревью оф литерачур». Потрясенный американец несколько позднее писал:

«Многие больничные койки были сколочены просто из досок. Я нигде не видел ни простынь, ни подушек. На полу валялись грязные бинты; в комнатку чуть побольше стенового шкафа втискивали по четыре-пять больных. Невольно я вспомнил лагерь для перемещенных лиц в Западной Германии... Операционную с трудом можно было отличить от самой обыкновенной бойни... Нельзя себе представить, что я там увидел; теперь я понял, почему мэр Хамаи беспрестанно повторял: «Хиросима нуждается в помощи Америки, чтобы позаботиться о своих больных...»

В январе 1951 года, то есть спустя всего лишь полтора года после посещения больницы Норманом Казинсом, американцы открыли на холме Хидзи-яма самую современную и наиболее хорошо оборудованную в Восточной Азии клинику. Одно только широкое, великолепное асфальтированное шоссе, которое вело через парк к сверкавшим на солнце больничным корпусам из алюминия и стекла, стоило многие миллионы иен. Больных, вежливо приглашенных для «обследования», провозили по этому шоссе в новеньких американских легковых машинах или в быстроходных джипах. Для многих из них, в особенности для женщин и детей, это была первая в жизни автомобильная поездка.

В свое время мэр Хамаи говорил американским офицерам, которые хотели во что бы то ни стало построить свой институт на территории военного кладбища Хидзи-яма, считавшегося священной землей, что это решение оттолкнет японцев от новой клиники. Однако на первых порах казалось, что радость по поводу сооружения особого института для «атомных болезней» пересилит недовольство населения Хиросимы. Тем не менее очень многих больных корбило от зрелища перевернутых и разбитых могильных плит, разбросанных около новых корпусов. Невольно они начинали сравнивать... Совсем недалеко от клиники находилось маленькое кладбище, где были похоронены несколько солдат французского экспедиционного корпуса, погибших в Хиросиме от желтой лихорадки во времена боксерского восстания. Какая-то старуха-японка самоотверженно ухаживала за этими могилами всю вторую мировую войну, когда французы были военными противниками Японии.

Очень скоро комплекс больничных зданий, возвышавшийся над новой Хиросимой наподобие феодального замка, получил добродушно-насмешливую кличку «Замок рыбного паштета». Полукруглые двухэтажные здания института, выстроенные в стиле «квонсит хатс» — американских сборных цельнометаллических домов казарменного типа, и впрямь походили на излюбленные в Японии рыбные паштеты в форме колбасок.

В американской образцовой клинике больных досконально обследовали лучшие специалисты, притом совершенно бесплатно. Более того, пациентов после обследо-

ния доставляли на машине до самых дверей их дома. Все это походило на сказку... Было только одно весьма существенное «но»: поставив со скрупулезной точностью диагноз, американские врачи отказывались лечить больных. Под конец больной обычно спрашивал:

— Что вы мне посоветуете, господин доктор? Как сделать, чтобы я стал здоровым?

На это следовал стереотипный ответ:

— Мы не являемся лечебным учреждением. Наш институт, основанный для совместной работы с японскими органами здравоохранения, занимается исключительно исследовательской работой. Лечение мы предоставляем вашим собственным врачам.

5

АБКК была основана в 1947 году. Толчком для ее создания послужили доклады двух военных миссий. На американского министра обороны Форрестола произвели большое впечатление рассказы специалистов, возвратившихся в США из Хиросимы и Нагасаки. 18 ноября 1946 года он направил послание президенту США, в котором указал на «единственную в своем роде возможность изучить медицинские и биологические последствия радиоактивного облучения». «Эти исследования, — особо подчеркнул американский министр, — будут иметь огромное значение для Соединенных Штатов».

«Единственная в своем роде возможность», о которой писал Форрестол, была использована американцами в той мере, в какой только позволяли имеющиеся в наличии денежные средства и медицинский персонал.

В течение первых двух послевоенных лет американцы ограничивались бессистемными осмотрами людей, подвергшихся радиоактивному облучению. Но уже в 1948 году они выработали обширные исследовательские программы: так называемую «программу изучения наследственности» и программу, специально посвященную детям. Выполняя эти программы, они за последующие пять лет обследовали в Хиросиме и Нагасаки не менее 75 тысяч молодых людей. Поскольку в то время в Японии органы снабжения выдавали будущим матерям специальные продовольственные карточки, американцы,

ознакомившись с документацией органов снабжения, имели возможность «захватить» женщин уже на пятом месяце беременности. Кроме того, с ними сотрудничали акушерки, получавшие за каждое сообщение о родах денежное вознаграждение. Благодаря последнему обстоятельству можно было довольно точно проследить за соотношением числа живых и мертвых новорожденных, а также за развитием грудных детей.

В рамках этой основной программы существовало еще множество частных программ. К примеру, программа ПЕ-18, согласно которой около двух с половиной тысяч детей в возрасте пяти-шести, восьми, а также десяти-девятнадцати лет, подвергшихся атомному облучению, сравнивались с двумя с половиной тысячами так называемых «контрольных детей», чьи родители переселились в Хиросиму или Нагасаки уже после «пикадона». Начиная с июля 1950 года исследованию подверглись также «дети первого триместра» (программа ПЕ-52), то есть те дети, чьи матери были на третьем месяце беременности, когда в день атомного взрыва находились в одном из двух «городов-лабораторий» — Хиросиме или Нагасаки. Наконец, было проведено обследование «тысячметровых детей» (программа ПЕ-49), то есть детей, находившихся 6 августа 1945 года на расстоянии меньше одного километра от эпицентра взрыва атомной бомбы.

Только в январе 1951 года, когда АБКК переселилась из своей временной резиденции, находившейся в бывшем Зале триумфа возле гавани Удзина, в роскошное новое здание на холме Хидзи-яма, стало по-настоящему возможным проводить задуманную еще в сентябре предыдущего года программу Adult Medical Program (медицинскую программу для взрослых). В эту общую программу также входило много частных программ, например программа МЕ-55, согласно которой по возможности раз в год должно было проводиться обследование всех людей, переживших «пикадон» в «тысячметровой зоне», а также выборочный осмотр большого числа людей, находившихся во время атомного взрыва в тысяче или полутора тысячах метрах от эпицентров взрыва. В общем и целом эта группа насчитывала не менее 2500 человек, причем для сравнения привлекалась еще одна группа той же численности —

группа «контрольных лиц», то есть людей, не подвергшихся облучению. Существовала и другая классификация — по болезням. За условными обозначениями, за сухими буквами и цифрами, как-то: ХЕ-39 (исследования на рак крови), ОГ-31 (бесплодие), ОГ-35 (непроизвольные выкидыши), МЕ-47 (исследование лучевых поражений глаз), СУ-59 (шрамы от ожогов) — скрывалась ужасающая картина страданий, выпавших на долю жителей Хиросимы и Нагасаки.

6

Конечно, за годы своей исследовательской работы, охарактеризованной здесь далеко не полностью, АБКК добились больших результатов. Благодаря многолетним массовым осмотрам жителей Хиросимы и Нагасаки были сделаны ценные наблюдения, зафиксированные в сотнях трудов, и разработаны новые методы сравнительного изучения состояния здоровья больших групп людей. Не только такие молодые науки, как радиационная биология и радиационная медицина, но также и другие отрасли знания еще долго будут извлекать пользу из этих добросовестных и серьезных исследований. Никогда раньше в истории медицины не подвергалось такому тщательному обследованию столь значительное число людей — как больных, так и здоровых — в пределах определенной территории, на определенном отрезке времени.

Совсем иначе, однако, выглядит деятельность АБКК, если рассматривать ее во взаимосвязи с теми особыми социальными, политическими и психологическими условиями, какие существовали в то время в Японии. Лучезарная картина сразу же омрачается множеством темных пятен. Деятельность АБКК, которая в отрыве от конкретно-исторической обстановки, от всего происходящего в стране могла бы считаться полезной и важной для человечества, в действительности стала символом величайшего жестокосердия и бесчеловечности.

Скандално уже само по себе то, что клиники АБКК работали под руководством американцев и финансиро-

вались главным образом Комиссией по атомной энергии США, основной задачей которой являлось усовершенствование ядерного оружия.

Значительная часть японской общественности с неудовольствием наблюдала, как граждане страны, сбросившей атомные бомбы на Японию, теперь с научной добросовестностью исследовали последствия своей акции. Это казалось японцам по меньшей мере бестактным и заставляло их сделать фатальный вывод, чрезвычайно оскорбительный для американских ученых и не совсем обоснованный, — вывод о том, что между первым действием США — сбрасыванием бомбы — и вторым — научным изучением последствий атомного взрыва — существует причинная связь. Люди в Японии невольно задавали себе вопрос: не потому ли граждане Хиросимы стали в свое время жертвами атомного нападения США, что американская наука собиралась использовать их в качестве подопытных кроликов для своего сверхграндиозного эксперимента? Распространению этого предположения содействовали некоторые заявления американской прессы об АБКК — заявления, в которых, к примеру, говорилось, что Хиросима, Нагасаки и порт Курэ в качестве «контрольного города» являются «тремя лабораториями комиссии».

Разумеется, изучение последствий радиации в высшей степени важно для будущего, ибо человечество и в мирное время все больше подвергается воздействию ядерного облучения. Но коренной ошибкой являлось уже то, что это изучение проводили американцы на деньги американской атомной комиссии. Ошибка эта во сто крат усугублялась отказом АБКК оказывать медицинскую помощь жертвам атомной бомбы и — в той мере, в какой это вообще было возможно, — бороться за их исцеление.

Уверенность руководителей АБКК в том, что они могут беспрепятственно заниматься «чистой наукой» на «мертвой земле» (так японцы называли города, подвергшиеся атомной бомбардировке), а также в том, что они при этом вправе после детального диагностирования заболеваний отсылать назад тысячи пациентов без оказания им какой-либо медицинской помощи в условиях, когда как раз «наиболее интересные» пациенты не имели решительно никаких средств для лечения,

выдает поистине трагическую близорукость тех, кто так поступал.

Не мудрено, что «атомная» клиника в Хиросиме в конце концов начала вызывать у японцев чуть ли не большую ненависть, чем сама атомная бомба. В то время как применение «нового оружия» многие жители принесенного в жертву города при всем своем резком осуждении все же склонны были извинить как в некотором роде военную меру, «чисто научная» деятельность АБКК воспринималась ими как мероприятие, которому нет решительно никакого оправдания.

Уже в 1949 году американец Норман Казинс указывал на несостоятельность принципов, которыми руководствовалась АБКК в Хиросиме, и — как следствие — на возможность серьезных осложнений. А ведь в то время комиссия еще работала в скромном помещении на окраине города и не так привлекала к себе внимание. У нее был небольшой штат, да и деятельность ее не имела такого размаха, какой получила впоследствии. Но уже тогда, побывав в терпящих нужду больницах Хиросимы, Казинс опубликовал в «Сатердей ревью оф литерачур» статью, в которой говорил:

«...Я думаю о миллионах долларов, которые Соединенные Штаты тратят на работу Комиссии по изучению последствий атомных взрывов. Не отрицаю, что работа эта нужная и важная; благодаря ей мы узнаем, что может случиться с людьми в условиях атомной войны. Но из ассигнованных миллионов ни цента не выделяется для лечения жертв атомной бомбы. Комиссия обследует пациентов, но не оказывает им помощи. Поразительное явление: тысячи долларов идут на обследование человека, страдающего лучевой болезнью, и ни гроша — на его лечение».

После возвращения в Нью-Йорк этот видный публицист и гуманный человек усердно старался помочь жертвам Хиросимы. Среди прочих мер он ратовал за постройку специальной больницы на частные пожертвования. Больницу предполагалось соорудить в новом центре Хиросимы, который собирались застраивать под девизом «Мир во всем мире».

Закладка этого «мирного центра» на месте разрушенного «пикадоном» феодального замка бывшего владельца Хиросимы состоялась в августе 1949 года, еще

в присутствии Казинса. Но задача была слишком грандиозной, она оказалась не по плечу частным благотворителям. Строительная площадка «мирного центра» так и осталась незастроенной. Успешнее осуществлялось другое предложение Казинса — «духовное усыновление атомных сирот» американцами. (К сожалению, усыновить этих детей по-настоящему американцы не имели возможности из-за расовых барьеров, в частности из-за «Ориентл иксключен экт» в американском законодательстве о миграции, запрещающего въезд «желтых» в США.) Приемные родители нескольких сотен сирот из Хиросимы вынуждены были ограничиться денежной помощью своим питомцам. Некоторые сироты приняли даже фамилии своих американских родителей, которых так никогда и не увидели.

ПОМОЩНИКИ

1

В 1951—1953 годах в Хиросиме снова резко увеличилось число заболеваний, связанных с отдаленными последствиями атомной радиации. Статистикой впоследствии было установлено, что как раз на этот период приходился максимум распространения некоторых проявлений лучевой болезни, таких, например, как лейкемия (рак крови). Часто врачи находили теперь у людей, переживших «пикадон», так называемые «катаракты» — небольшие затемненные участки на роговицах и особенно в хрусталиках глаз.

Обнаружение этой лучевой катаракты явилось одним из первых и главных научных достижений АБКК. Однажды, когда врачи сидели в своей кафетерии, обслуживавшая их официантка рассказала им о судомойке, у которой «что-то плохо стало со зрением»:

— Она пострадала от «пикадона», но потом совсем поправилась. Только с глазами у нее в последнее время что-то неладно.

Один из врачей осмотрел девушку и с помощью карманного офтальмоскопа обнаружил странное темное пятно на хрусталике глаза.

«Так было сделано самое важное открытие в послевоенной истории Хиросимы», — сообщал американский журнал «Лайф».

Герман И. Мёллер, крупный американский специалист в области генетики, анализируя новое, дотоле неизвестное заболевание, писал:

«Повреждение глаза могло проявиться только с большим опозданием, предположительно лишь тогда, когда клетки должны были делиться. Его обнаружили

потому, что хрусталик глаза — прозрачная ткань. Есть основания предполагать, что точно такой же процесс происходит во всех тканях организма, где клетки подвергаются делению. Таким образом, эти ткани неизбежно ослабевают. Правда, здоровые клетки имеют тенденцию снова заполнять поврежденные места. Но нельзя ожидать, что регенерация будет совершенной и абсолютной. Некоторые повреждения тканей все же остаются.

Они наносят вред всему организму, особенно тем его органам, которые состоят из тканей с делящимися клетками. Проявляется это в ослаблении сопротивляемости организма различным болезням и травмам. Одним словом, происходит такой же процесс, как и при старении».

Теперь стало ясно, почему люди, пережившие атомный взрыв, беспрестанно жаловались на то, что «у них все тело болит», и на то, что «во всех органах они ощущают следы когтей дьявола». Напрасно соплеменники жертв «пикадона» приписывали их жалобы ипохондрии или «атомному» неврозу. Многие тысячи больных страдали не только от своего состояния, но, пожалуй, еще в большей степени оттого, что врачи плохо разбирались в их болезни, окружающие не признавали ее вовсе, а официальные лечебные учреждения, будь то в Японии или за границей, не желали им помочь.

Эту вопиющую несправедливость усердно пытался исправить Итиро Кавамото своими слабыми силами. Он не требовал у людей «научных доказательств» их болезни — он просто-напросто делал для них все, что мог, не задавая излишних вопросов.

Через много лет после «пикадона» сам Итиро начал ощущать последствия своей работы по оказанию помощи людям в пораженном атомной бомбой городе. Но он не мог спокойно лежать в постели: ведь в нем нуждались другие люди, еще более несчастные и одинокие, чем он сам. Одному Итиро приносил кусочек вареной рыбы, другому дарил одеяло, третьего навещал, чтобы немного развеселить и отвлечь от страданий. Целый день он устраивал в сиротский дом девочку, которая жила одна-одинешенька в трущобе, населенной гангстерами и проститутками; назавтра утешал семью, только что потерявшую одного из своих членов от «поздней атомной смерти».

Эти бесчисленные, хотя и небольшие, акты милосердия предпринимались совершенно стихийно: Итиро ничего не планировал заранее. Иногда он на несколько дней забывал одного из своих подопечных, потому что другой казался ему в то мгновение более важным. А потом на середине дороги вдруг вспоминал старого больного, поворачивал назад и спешил наверстать упущенное. Однажды, по его словам, он пришел слишком поздно: молодой человек по имени И. заболел всего несколько недель назад раком крови, но, когда Кавамото явился к больному, ему сообщили, что И. уже отправлен в больницу и там умер.

В наш век такой человек, как Итиро Кавамото, кажется старомодным, чуточку смешным, а то и странным. Некоторые люди в Хиросиме так и относятся к нему. Они спрашивают себя: не потому ли Кавамото с такой готовностью помогает другим, что у него самого жизнь не удалась? Быть может, этот филантроп совершает добрые дела из чувства неполноценности или из желания вызвать похвалы и прославиться? А может, ему не дает покоя какая-то тайная вина? Люди — и не только в Хиросиме — всегда находят тысячи причин, чтобы преуменьшить заслуги своих ближних, принизить их и тем самым хитро замаскировать свое собственное бессердечие. «Дух времени» не позволяет безоговорочно восхищаться порядочностью и самоотверженностью своих сограждан.

Однако «неправдоподобный» Итиро Кавамото, как это ни странно, действительно существует. Год за годом его озабоченное длинное лицо появляется в кварталах бараков, где прозябают «атомные парии». При этом Кавамото мало волнует, что думают о нем жители Хиросимы. Ему надо хоть немного ободрить больных и несчастных. Перед сиротами в Синсэй Гакуэн он часто выступает в роли рождественского деда. Его одеяние из красной бумаги во время этих «сеансов» неизбежно превращается в лохмотья, и из-под них выглядывает тощая фигура поденщика в обтрепанных и зачастую не совсем чистых брюках. Малыши смеются, хлопают в ладоши и дразнят старого друга.

— Он единственный взрослый, которого я никогда не боялся, — рассказывал мне один из ребятишек-сирот.

Кавамото принадлежит к числу основателей Союза жертв атомной бомбы («Гэмбаку хигайся но кай»), созданного по инициативе писателя Томоэ Ямасиро в августе 1952 года. Вначале Союз объединял всего лишь около пятнадцати «хигайся». Члены Союза собирались в церкви пастора Танимото. Однако некоторым из них показалось, что пастор хочет обратить их в христианство. После этого они стали встречаться в сарае торговца сувенирами Киккава. Тут они чувствовали себя свободно: никого не надо было стесняться, ничего не надо было скрывать, можно было вволю поговорить друг с другом. Все началось с рассказов о «том дне», но потом это переросло в нечто большее: жертвы «пикадона» решили информировать общественность о судьбе «атомных парий» и потребовать у властей реальной помощи для безвинно страдающих людей.

Бродячая театральная труппа «Синкё» предоставила в распоряжение Союза свой сбор от спектаклей, показанных в Хиросиме. В результате этого Союз получил возможность арендовать небольшое помещение и нанять секретаршу. Теперь сюда могли прийти за советом все люди, пострадавшие от атомной бомбы. Первой секретаршей Союза жертв атомной бомбы стала приятельница Кавамото — Токиэ Уэмацу. Жалованье ей предполагалось выплачивать из ежемесячных пожертвований различных торговых предприятий Хиросимы, имевших специальные благотворительные фонды.

Миниатюрная «девушка с палочкой» уже давно перестала быть тем изнеженным и чувствительным созданием, каким была несколько лет назад, когда Итиро познакомился с ней на уроках английского языка в христианской общине. Жестокая борьба за существование, несказанно тяжелая работа в швейных мастерских, когда Токиэ не имела возможности даже встретиться с Кавамото, и, наконец, опасная болезнь отца совершенно преобразили девушку: она стала решительной и упорной, энергичной и даже властной. Каждое утро Токиэ, хромая, брела из отчего дома на другой конец города — в Ниси Кания-Тё, где на территории газового завода помещался Союз. Денег на трамвай у девушки никогда не было. Если Токиэ засиживалась допоздна или если на улице шел дождь и было очень грязно, она и вовсе

не возвращалась домой, а готовила себе постель в той комнате, где работала, сдвинув вместе несколько стульев.

Собственно говоря, Токиэ должна была получать 4500 иен ежемесячно. Но платили ей очень нерегулярно, ибо финансы Союза находились большей частью в плачевном состоянии, особенно с тех пор, как распространился слух, будто его члены — коммунисты... А дома сестра спрашивала Токиэ:

— Токи-тян, ты уже получила жалованье?

— Нет, но сегодня обязательно потребую его.

При этом девушка точно знала, что она и не заикнется о деньгах: все равно это не поможет. Хочешь не хочешь, а придется заложить свое пальто и сказать, что деньги получены в Союзе. Токиэ решила продержаться на своей новой работе как можно дольше. Ей опостытели мастерские, поставляющие товар магазинам готового платья; работа швеи казалась ей бессмысленной и бесперспективной; впервые у девушки появилось чувство, что она делает нечто важное. Это помогало ей переносить все невзгоды и разочарования.

«Я была потрясена, — рассказывает Токиэ, — когда услышала доктора Мицуо Такэтами, приехавшего в Хиросиму в 1952 году. Только на его лекции я поняла, какой вред приносит радиоактивность. Если тысячи людей до сих пор проявляют поразительную беззаботность в этом отношении, если многие жертвы атомной бомбы не принимают всерьез даже своих собственных недомоганий, то объясняется все это тем, что они не знают фактов. Лишь сейчас мы начинаем догадываться, какими длительными будут страдания, выпавшие на долю людей из-за чудовищной атомной бомбы. До встречи с Такэтами я сама весьма смутно представляла себе, что за «ужасная штука» атомная бомба; лишь теперь в голове у меня прояснилось.

С некоторых пор мы снимали помещение для Союза у одной «атомной вдовы», которая жила со своей глухой матерью и тремя детьми. В эту комнату собирались жертвы «пикадона». Больше всех о нас заботилась старуха, потерявшая слух от атомного взрыва. Именно тогда я научилась объясняться с помощью рук, глаз, а в крайнем случае... даже ног. Все мы пережили атомную катастрофу и, как могли, старались утешить друг

друга. Мы хотели понять друг друга. Правда, я не раз слышала слова, продиктованные малодушием:

— Все это не имеет смысла, — говорили люди, — не стоит даже рот открывать.

Но я не хотела так быстро сдаваться.

— Если мы наконец не поднимем голос протеста, то упустим свой последний шанс, — возражала я.

Я повторяла эти слова по нескольку раз подряд. Мне нельзя было терять терпение. Хотя и нерешительно, но люди все же начали тянуться к своим товарищам по несчастью, а ведь раньше они замыкались в себе и заботились только о себе. Теперь то один, то другой говорил мне:

— Вы совсем замерзли, погрейте руки у печки.

Я воспринимала их заботу как добрый знак. Однажды в Союз пришло письмо от одного из его членов. Неизвестный мне человек писал, что наши встречи были для него самыми счастливыми часами после «пикадона». Прочтя это письмо, мы забыли об усталости, голоде, постоянной нехватке денег...»

В конце зимы 1953 года, когда начали цвести персики, состояние отца Уэмацу резко ухудшилось.

«Он уже почти не приходил в сознание, — вспоминает Токиэ. — Дни и ночи напролет раздавались его стоны, последние силы покидали больного.

За четыре дня до смерти отца к нам в дом явились агенты электрической компании и начали угрожать, что отключат свет, если мы немедленно не заплатим. Отцу уже трудно было говорить, и он со слезами на глазах лепетал, обращаясь к агентам:

— Мне очень жаль, что я доставляю вам столько хлопот.

Он умер в глубокой бедности. Ах, если бы он вовремя обратился к врачу! Быть может, его еще можно было спасти. Но он работал не разгибая спины, до тех пор пока не оказался выжатым как лимон.

Атомная бомба вначале лишила отца куса хлеба, а потом отобрала у него и саму жизнь.

В день похорон, 9 марта, к дому подъехал джип с представителями АБКК, которые попросили у нас разрешения вскрыть тело отца. Они утверждали, что вскрытие принесет пользу человечеству и что отец, мол, наверняка не имел бы ничего против.

Американцы сбросили атомную бомбу, превратившую жизнь моего несчастного отца в одну сплошную муку. Они виноваты в том, что отец должен был работать до тех пор, пока не загубил себя окончательно. А теперь те же самые американцы являются к нам, чтобы использовать для своих целей его бедное, бездыханное тело!»

— Я не отдам вам своего мертвого отца, — сказала Токиэ Уэмацу почти беззвучным от подавляемого гнева голосом.

Визит представителей АБКК, или contactors («вербовщиков»), как их называли, был вызван официальным извещением о смерти Уэмацу. Они приходили ко всем без исключения семьям, где кто-либо умирал, как предполагали, от лучевой болезни. В ответ на слова Токиэ они, не моргнув глазом, выразили соболезнование и записали в своих формулярах: «Ref». Это означало «Refusal» (отказ). По этой все больше разбухавшей графе — поскольку пассивное сопротивление работе Атомной комиссии в Хиросиме неуклонно возрастало — и был проведен Уэмацу в статистике АБКК. Для АБКК он стал одним из тех мертвецов, которые, «к сожалению, из-за предубежденности родственников должны считаться потерянными для науки».

3

Первый человек, не считая близких родственников, кому Токиэ сообщила о смерти отца, был Итиро Кавамото. За последние два года они подолгу не виделись и никогда больше не заговаривали о своих чувствах. Приход девушки к Итиро в ранний утренний час был равносителен признанию в любви. С тех пор им обоим стало ясно, что они предназначены друг для друга.

Итиро взялся раздобыть денег на похороны. И действительно, каждый из его многочисленных друзей пожертвовал по несколько иен, соседи семьи Уэмацу также внесли свою лепту. Общими усилиями удалось наскрести скромную сумму, так что несчастному Уэмацу не пришлось покоиться в могиле бедняков.

На следующий день после похорон Итиро в трамвае внезапно лишился чувств. Вечером он узнал, что

приблизительно в тот же час, когда он потерял сознание, поэт Санкити Тогэ скончался на операционном столе. Сестры санатория, в котором лежал Тогэ, вопреки запрету хотели дать ему кровь для переливания, надеясь спасти таким образом жизнь больного, ослабевшего после тяжелых кровотечений. Вскрытие тела покойного поэта дало неожиданный результат: смерть была вызвана отнюдь не только застарелым туберкулезом легких; внутренние органы Тогэ были поражены и радиацией вследствие «пикадона». Парадоксально, что Тогэ, посвятивший последние годы своей жизни борьбе против атомной опасности, никогда не подозревал, что и сам он отмечен злоедей болезнью, косившей людей начиная с 6 августа 1945 года.

Кавамото познакомился с Тогэ лишь в 1950 году, во время показа японского антивоенного фильма. Он принял участие в дискуссии, разгоревшейся после демонстрации картины, и в своем выступлении сказал, что миролюбивая миссия христианства имеет в наши дни громадное значение, несмотря на то что так называемые «христианские нации» не принимают ее всерьез. Это замечание Итиро заинтересовало Тогэ.

С тех пор между поденщиком Кавамото и поэтом Тогэ завязалась тесная дружба. Теперь же, когда Тогэ умер, Итиро счел своим долгом продолжать дело, завещанное ему другом, — образованным, интеллигентным человеком и блестящим, вызывавшим всеобщее восхищение поэтом. Отныне Итиро, неотесанный, неуклюжий и необразованный рабочий, должен будет рассказывать людям о трагической судьбе атомных жертв, которые молча несли свой крест, прячась от чужих взглядов.

В жизни Итиро Кавамото начался совершенно новый период. Тихий самаритянин стал агитатором, незаметный благодетель — страстным пропагандистом. Таково было веяние времени. После окончания оккупации в Хиросиме возникло мощное движение за мир. Но главное было то, что вся остальная Япония наконец-то снова вспомнила о Хиросиме. В августе 1952 года, через несколько месяцев после вступления в силу мирного договора между Японией и Соединенными Штатами, самый крупный японский иллюстрированный журнал «Асахи» выпустил специальный номер, где были опубликованы фотоснимки атомной трагедии, задержанные

американской цензурой. Снимки эти, технически несовершенные, зачастую неясные и поцарапанные, были сделаны непосредственно после сбрасывания атомной бомбы и правдиво запечатлели картину атомного ада. Не мудрено, что они произвели огромное впечатление на читающую публику. В Японии поднялась волна возмущения против американцев. Снимки разбудили также симпатию всего народа к жертвам «пикадона». Сразу вслед за этим в печати начали публиковаться статьи и рассказы очевидцев об атомном взрыве, потом появились также фильмы и романы на эту тему.

В конце мая 1953 года в город «пикадона» прибыли автор, режиссер-постановщик и исполнители фильма «Хиросима», получившего впоследствии широкую известность. Здесь, на месте происшествия, они хотели как можно точнее воспроизвести атомную катастрофу. Кавамото немедленно связался с постановщиками фильма, стараясь помочь им чем мог.

«На следующий день, — вспоминает Итиро, — я обрил голову и стал одним из многочисленных статистов. Никаких денег нам, к стати сказать, не платили. Мои друзья на электростанции в Сака и дети смеялись над моим довольно-таки потешным видом. Я раздобыл несколько военных касок, какие мы носили на предприятиях во время войны, собрал как можно больше старых тряпок и принес все это в штаб-квартиру кинопостановщиков.

В первом массовом эпизоде фильма предполагалось показать, как толпы народу бегут по направлению к холму Хидзи-яма. Вместе с воспитательницей сиротского дома Сидоин и шестью маленькими детьми я отправился к месту сбора. Когда мы явились туда, там уже толпилась масса народу — статисты, загримированные под «атомных духов». Их вид напугал даже меня, а малыши просто пришли в ужас и начали дрожать.

— Уйдемте отсюда! Здесь страшно! — кричали они сквозь слезы.

Я старался успокоить ребят.

— Но ведь это только игра... мы играем в «духов».

Потом я купил им карамели, и они затихли. В конце концов ребятам даже понравилось все происходящее, особенно когда их загримировали. Теперь они были детьми «атомных духов», вернее сказать, детьми того страшного дня. Нашу одежду, которую нам пожерт-

вовали различные женские благотворительные организации и школы, мы превратили в лохмотья. Для пущего правдоподобия мы даже подожгли свое платье и измазали его сажей и древесным углем. Голое тело, просвечивавшее сквозь лохмотья, мы покрасили коричневой и черной краской; вдобавок я посыпал пеплом свою бриту, как у жреца, голову.

Наконец мы все отправились к холму Хидзи-яма, где должна была происходить съемка. Одно из деревьев, заранее выбранное, рабочие подожгли... Над входом в бомбоубежище постановщики начали разбрызгивать черную жидкость. Согласно замыслу режиссера, здесь должны были громоздиться «трупы» атомных жертв... После этого большую толпу статистов погнали к холму. Мы бежали опустив головы, спотыкаясь на каждом шагу. Все это приходилось без конца повторять, хотя съемка еще не начиналась.

Вначале это была просто игра. Некоторые добровольные артисты смеялись при виде своих лохмотьев и дико раскрашенных физиономий. Многие статисты вообще согласились участвовать в съемке только ради забавы. Но когда репетиция началась и они оказались в толпе действительных жертв «пикадона», игра превратилась в нечто серьезное. Внезапно мы ощутили весь ужас, всю безграничную муку «того дня». Мы мчались теперь так, словно на самом деле спасали собственную жизнь. Некоторые статисты дико вопили, как будто их терзала невыносимая боль, другие в буквальном смысле этого слова дрожали от ярости, вздымая кулаки к небу. Мы спотыкались и падали друг на друга. У входа в бомбоубежище мужчины топтали ногами женщин с детьми за спиной. У одной из статисток воспламенилась одежда...

Всего в фильме «Хиросима» участвовало в качестве добровольных статистов свыше ста тысяч человек».

4

«Сперва мы продали «татами», потом начали продавать мебель. За горстку риса мы готовы были продать все. Наконец семья дошла до того, что пришлось отдирать доски от пола: надо же было как-то протопить печку, чтобы немного согреться», — так описывает Токиэ ужасающую нищету, в которую впала семья Уэмацу, после

того как похороны отца поглотили их последние жалкие средства. «Я была не в силах больше глядеть на скорбное лицо матери. Да и тот день, когда нам уже нечего будет продавать и нечего сжигать в печке, все приближался».

Волей-неволей Токиэ пришлось уйти из Союза жертв атомной бомбы и поискать себе такую работу, где бы ей регулярно платили.

«У ближайшего перекрестка помещалось одно весьма шумное заведение, — рассказывает Токиэ. — Люди в нем старались перекричать друг друга и вдобавок с раннего утра и до поздней ночи там ставились пластинки с популярными песенками. То был новый, только недавно открытый «патинко-салон». Хозяин сразу же сказал мне, что девушка с больной ногой ему не подходит: работа в его заведении требует, чтобы служащие целый день находились на ногах. Но я так отчаянно молила его, что в конце концов он сжалился и взял меня к себе.

Все девушки, работавшие в этом игорном доме, по той или иной причине избегали дневного света: либо потому, что их прошлое было запятнано, либо потому, что их настолько изуродовали шрамы от атомных ожогов, что они стыдились показываться людям на глаза. Наше рабочее место находилось между глухой стеной и задними стенками игорных автоматов. Это был совсем узкий проход, шириной не более полуметра. Каждая из девушек должна была обслуживать двадцать механических разбойников — автоматов, которые не умолкая трещали и громыхали, как будто и впрямь были живыми существами. Нужно было время от времени заряжать их маленькими серебристо-стальными шариками. Один такой шарик стоил две иены. Их упаковывали в ящики по пять тысяч штук. Ящики девушки приносили к своим автоматам с верхнего этажа, где шарики вытирали и начищали до блеска. Когда я узнала, что мне придется таскать тяжелые ящики, я испугалась: мне было их не поднять. Ко всему еще из-за больной правой ноги я нетвердо стояла на ногах. Поэтому носить тяжелые ящики по лестнице я была уже никак не в силах. Неужели мне придется уйти с этого места в первый же день? Все мои товарки насмехались надо мной, но одна из них все же пожалела меня. Эта девушка каждый день стаскивала сверху ящик к моим автоматам. За это я буду

ей всю жизнь благодарна. Рано утром, в шесть часов тридцать минут, нас будили с тем расчетом, чтобы мы еще успели ополоснуть себе лицо. Потом начинался рабочий день. Нам надлежало равномерно распределить шарики между всеми игорными автоматами и притом ни в коем случае не обсчитаться. Работа была тяжелая, и мы буквально обливались потом. Ровно в семь «салон» открывался. Несмотря на ранний час, в него уже врывались нетерпеливые игроки. Казалось, они только и ждали, когда распахнутся двери игорного заведения.

В десять часов мы съедали свой скудный завтрак, в три часа пополудни нам давали обед, в восемь вечера — ужин. Раньше одиннадцати ночи игорный дом никогда не закрывался... За те шестнадцать часов, что «салон» работал, нам полагалось всего два часа отдыха. Наша столовая и спальня помещались на чердаке. Потолок был такой низкий, что даже при моем маленьком росте я не могла выпрямиться. Солнце накаляло черепицу, и у нас наверху было всегда жарко и душно. На восточной и западной сторонах чердака находились крохотные окошки, но они пропускали так мало света, что даже посреди бела дня невозможно было читать.

В тесном помещении, рассчитанном человек на шесть, спали двенадцать девушек. Матрацы лежали прямо на полу. Чтобы добраться до своего ложа, приходилось перелезать через постели товарок. Ни у кого из нас не было собственного шкафчика. Ко всему этому мы жили как в тюрьме. Если кто-нибудь из нас хотел выйти на улицу за покупками, надо было просить разрешения. Письмо и то нельзя было бросить самой в ящик.

Вначале я никак не могла понять, почему нас держали на привязи. Но потом узнала причину этого: просто девушкам не доверяли. Хозяин опасался, как бы одна из нас не сговорила тайком с кем-нибудь из игроков и не припрятала бы для него шарики. Игрок мог бы обменять эти шарики в «салоне» на «призы». А «призы» — это были те же деньги *. Каждой из нас хозяин

* Обменом «призов», выдаваемых «патынко», на наличные деньги занимались две самые крупные в Хиросиме банды гангстеров (банда Ока и банда Мураками). Закон не разрешал выплачивать деньги самим игорным домам. Благодаря этому обстоятельству обмен стал для гангстеров весьма прибыльным побочным занятием. «Призы» они снова продавали хозяевам автоматов, взимая за это солидную мзду в виде большого процента с оборота.

приказал шпионить за всеми остальными. Существовало даже правило, согласно которому девушка, сообщавшая о проступке своей товарки, получала в качестве вознаграждения половину ее месячного жалованья.

Большинство девушек были совершенно равнодушны к религии и вообще не задумывались ни над собственной жизнью, ни над судьбами других людей. Их интересовала только еда. Кроме того, они с увлечением обсуждали, что купят, когда соберут побольше денег. Мысленно они представляли себе, какие платья и украшения будут носить, уйдя из «патинко».

Как-то раз Итиро подарил мне темно-красную ленточку; я приколола ее к своему белому свитеру. Мои товарки немедленно приобрели себе точно такие же ленточки. Девушки почти всегда дурно говорили о своих отсутствующих подругах. Только к одной служащей игорного дома они относились с некоторым уважением: эта девушка имела возможность хорошо одеваться. У многих из них на теле остались «келоиды» и другие следы «пикадона». Больным не разрешалось развешивать свое белье рядом с бельем других девушек, а тарелки, которыми они пользовались, мылись отдельно от всей остальной посуды. Не раз я предлагала искалеченным, презираемым всеми девушкам записаться в Союз жертв атомной бомбы. Но в ответ они со скучающим видом отрицательно качали головой.

Только в полночь мы заканчивали чистку автоматов и мытье полов. Тогда нам разрешалось пойти в городские бани. Это был самый светлый момент за все сутки. Возвращались мы из бань «домой» уже поздно ночью, часов около двух. Наши беседы вертелись в это время вокруг одной и той же темы: когда же мы наконец отряхнем прах этого дома со своих ног? Такова была наша самая сокровенная мечта.

Раз в три дня я получала письмо от Итиро. В письмах он рассказывал мне о «Хигайся но кай», о наших общих друзьях, о жизни за стенами моей тюрьмы...

Трижды мне приходилось менять место работы, искать себе нового хозяина. В первый раз это произошло потому, что я попыталась уговорить игрока, который уже проиграл тысячу иен, уйти. Случайно хозяин оказался поблизости и услышал наш разговор. Он вызвал меня к себе и обвинил в том, что я наносу ущерб его

«бизнесу». Когда я начала оправдываться, он изо всех сил ударил меня. Впредь я решила ни во что не вмешиваться, но моего решения хватило ненадолго. Я начала презирать себя. Нет, я была не в силах молчать!

Наконец наступила минута, когда мне представилась возможность выбраться из этой дыры и снова увидеть дневной свет. Одну из моих товарок рассчитали, и она задумала открыть небольшую швейную мастерскую. Она обещала дать мне знать, если ее дела пойдут хорошо. И впрямь, в один прекрасный день я получила письмо, в котором говорилось: «Можешь рискнуть. Приходи ко мне».

Я отказалась от работы в «патинко-салоне», но в первое время чувствовала себя такой усталой, что была не в состоянии ни за что приняться. Десять дней подряд я ни о чем не думала и ничего не читала, только спала и спала почти без просыпу. И, лишь когда смертельная усталость несколько прошла, я начала размышлять о жизни, которую вела до сих пор, и о своем будущем. Пора устраивать свои дела умнее, говорила я. А потом возражала себе: «Что, собственно, я собой представляю? Чем я лучше других? Дура я! Нечего мнить о себе бог знает что!»

5

В ноябре 1953 года Кавамото решился на чрезвычайно рискованный шаг: он ушел с электростанции в Сака, где работал много лет. Итиро считал, что ему надо иметь побольше сил и времени для своих побочных занятий, иными словами, для своей «службы на благо общества», как он сам говорил. Эта служба с каждым днем казалась ему все важнее.

Чтобы оценить всю серьезность решения Кавамото, надо представить себе Японию того времени. Хроническая безработица изнуряла страну. Народу было куда больше, чем свободных мест. В то же время согласно японским традициям человек, который начал свою трудовую деятельность учеником на солидном предприятии и ничем себя не запятнал, мог до конца жизни рассчитывать на верный, хотя и небольшой заработок. Только лишившись трудоспособности, он терял работу. Даже во

времена кризисов японские фирмы, чтобы «сохранить свое лицо», всеми силами старались не увольнять старых кадровых рабочих. С другой стороны, человек, потерявший или бросивший солидное место, не обеспечив себе заранее другой работы, был обречен на прозябание; ему очень трудно было во второй раз добиться прочного положения.

К Кавамото явились товарищи по работе, его посетил даже непосредственный начальник. Все они уговаривали Итиро отказаться от «безумного намерения». Даже друзья и подопечные Кавамото предостерегали его от необдуманного шага. Прочное место в богатой фирме, твердое жалованье, постепенное продвижение по служебной лестнице — для тысяч людей в Хиросиме это являлось недостижимой мечтой. По их понятиям человек не имел права бросаться такими вещами, обрекая себя на жизнь, полную забот и лишений, без каких бы то ни было видов на будущее.

Итиро обещал товарищам еще раз все хорошенько обдумать. 29 ноября 1953 года он на целую ночь заперся один в комнате. «Достанет ли у меня мужества жить в бедности? Не побоюсь ли я потерять уверенность в завтрашнем дне? — вопрошал он себя. — Ведь, если я стану поденщиком, мне придется браться за любую работу, даже за самую тяжелую, а физически я слишком слаб для этого».

До утра Кавамото ревностно молился. Потом он дал знать друзьям, что его решение неизменно. Так оно и было в действительности: ничто не могло увести Итиро с пути, который он себе избрал. В дальнейшем многие христианские организации, благотворительные общества и «Движение против атомной бомбы» предлагали Итиро различные посты с постоянным жалованьем. Но он отклонял все подобные предложения, не желая низводить свою деятельность на благо человечества до уровня обычной работы ради хлеба насущного.

В ту ночь Итиро пришел еще к одному важному решению. Однако прошло больше недели, прежде чем он приступил к его выполнению.

«30 ноября я окончательно попросил расчет на электростанции, — рассказывал он, — а 8 декабря собрался наконец с духом и предложил Токиэ Уэмацу стать моей женой».

После смерти г-на Уэмацу Кавамото стало нелегко ладить со своей подругой. Она переживала период сомнений, чувствовала себя усталой от жизни и презирала людей. Все это напоминало состояние Кадзуо М. на определенном этапе его жизненного пути.

«В то время в моем сердце не было никаких иных чувств, кроме ненависти, ярости и жажды мести, — вспоминает Токиэ. — Больше всего я ненавидела страну, которая сбросила на нас атомную бомбу и была занята созданием нового ядерного оружия. Когда-то я пыталась поверить в христианство, но теперь евангельские притчи оставляли меня холодной. В этот период моей жизни я потеряла веру. Свою библию я выбросила на помойку».

Однако если Кадзуо всегда был в одиночестве, то рядом с Токиэ находился человек, оказывавший ей моральную поддержку.

«В те дни Итиро часто поглядывал на меня с тревогой, — говорит Токиэ. — Но он никогда не поддавался моим настроениям, он уверенно шел по избранному пути. Я завидовала Итиро-сану, но иногда его уверенность бесила меня. Тогда я совершала самые бессмысленные поступки, только для того чтобы вывести его из себя. Но, что бы я ни делала, Итиро мне все прощал. Его любовь удержала меня на краю пропасти. Что стало бы со мной, если бы он потерял терпение?»

Возможно, Кавамото предложил своей подруге стать его женой, чтобы вернуть ей чувство уверенности в себе, которое она потеряла со смертью отца. Токиэ была счастлива. Она тотчас же согласилась выйти замуж за Кавамото. Теперь они часами строили планы совместной жизни. Предстояло также обсудить, как рассказать матери Токиэ о их решении. Кавамото вспоминает:

«Я начал прилежно учить принятую в Японии формулу, с которой обращаются к родителям невесты, чтобы попросить руки их дочери. Но, сколько я ни повторял ее, я каждый раз что-то путал. Приходилось начинать все сызнова. Наконец дело пошло на лад. И я поспешно направился в дом Уэмацу.

Сердце у меня сильно билось.

— Пожалуйста, скажи все, что полагается, — шепнула мне Уэмацу-сан, а потом снова с самым безразличным видом углубилась в свое занятие: она помешивала рис, варившийся на очаге.

Я раздвинул бумажную дверь в соседнюю комнату. Мать Токиэ сидела у своей хибати (жаровня с древесным углем). Запинаясь, я обратился к ней:

— Э... я пришел, чтобы попросить о дружеской услуге.

— Какой же?

— Э... Токи-тян, Токи-тян.

— Ну и что?

— Токи-тян... Я бы охотно...

— Ах, вот оно что! Ты хочешь сказать, что желаешь взять Токи-тян в жены? Ну что ж... Хорошо...

— Спасибо! Большое спасибо!

Не дослушав мать, я побежал в соседнюю комнату, чтобы сообщить Уэмацу-сан, как все произошло. Вне себя от радости мы взялись за руки.

ХОЛОДНЫЕ СЕРДЦА

1

На рассвете 1 марта 1954 года за много тысяч километров от Хиросимы произошло несчастье, которое сыграло громадную роль в судьбе людей, переживших атомный взрыв. Японское рыболовецкое судно «Дайго фукуру-мару» («Счастливый Дракон № 5»), бороздя просторы Тихого океана, попало в крайне странную «снежную бурю». Только через четыре дня после возвращения судна в родную гавань Яидзу выяснилось, что это была не снежная буря, а радиоактивный дождь из пепла, вызванный испытанием мощнейшей американской водородной бомбы в атолле Бикини.

Судьба двадцати трех моряков, плававших на «Счастливым Драконе», взбудоражила общественное мнение Японии больше, чем какое бы то ни было другое послевоенное событие. Свыше полугода вся страна только и говорила о так называемом «си-но най» (смертоносном пепле) и о его действии на людей. Газеты, журналы, радио и телевидение на все лады обсуждали состояние первых жертв водородной бомбы, помещенных в два токийских госпиталя. Общественности было во всех подробностях сообщено о ходе болезни этих несчастных. Когда же состояние одного из членов экипажа — радиста Кубояма — резко ухудшилось и врачи начали опасаться за его жизнь, миллионы японцев пришли в неописуемую тревогу. Они требовали, чтобы несколько раз в день публиковались специальные бюллетени, где бы сообщалось о кровяном давлении больного, его пульсе и т. д.

Только люди, пережившие атомный взрыв в Хиросиме и Нагасаки, не почерпнули ничего нового из многочисленных сообщений о моряках «Счастливого Дракона». Кому-кому, а им пришлось лично испытать мучительные

и совершенно неожиданные симптомы лучевой болезни, которой они страдали еще с 1945 года. До сих пор окружающие не желали принимать всерьез их жалоб. Те немногие «хигаися», которые не хотели молчать, считались чуть ли не «мнимыми больными» или даже «злостными больными». Говорили, что они-де хотят возбудить к себе сочувствие, рассказывая разные грустные истории, или даже выманить деньги у чересчур сострадательных людей. Наконец такого рода больных стали даже обвинять в том, что они спекулируют на атомной бомбе».

«Теперь нам наконец-то поверят», — говорили со вздохом облегчения жертвы атомных взрывов в Хиросиме и Нагасаки, читая сообщения об экипаже «Счастливого Дракона». Они послали двадцати трем рыбакам ободряющие письма, а двое «сейдзонся» написали даже целую брошюру под названием «Как можно пережить атомную бомбу?», сплошь состоявшую из практических советов. Однако жители Хиросимы и Нагасаки, сочувствуя своим товарищам по несчастью, испытывали в то же время что-то вроде зависти к ним. Жертвам 1945 года общественность не уделяла и сотой доли того внимания, какое было уделено экипажу «Счастливого Дракона», несмотря на то что многие из них гораздо больше нуждались в помощи и лечении. Моряки даже в несчастье оказались «счастливыми». «Сейдзонся» повторяли старую поговорку: «Хотя первая ворона прилетела раньше, вторая захватила ее добычу».

Люди, пережившие «пикадон», снова подняли голос: «Помогите же нам! Мы страдаем вот уже скоро десять лет от страшной болезни... Нас надо считать совершенно новой категорией инвалидов войны, и мы имеем право на поддержку!» Но, к сожалению, только небольшая часть атомных жертв осмелилась заговорить. Этим обстоятельством немедленно воспользовались. В ход была пущена старая клевета — излюбленное психологическое оружие реакции во всем мире с начала «холодной войны», помогавшее ей справляться со всеми движениями протеста. Реакционеры распространили слух, будто за больными в Хиросиме и Нагасаки стоят... коммунистические агитаторы. Эту явную клевету реакция задним числом подкрепила даже рядом «доказательств». А все дело было в том, что в Москве и Пекине апелляции

жертв «пикадона» вызвали гораздо большее сочувствие, чем в Вашингтоне и Токио. Там к ним прислушались. Коммунистические правительства пожертвовали 7,5 миллиона иен (около 19 тысяч долларов) для лечения японских жертв атомной бомбы. Эта сумма явилась основой фонда помощи жертвам «пикадона». Отныне общество начало заботиться о их лечении.

2

Несчастный случай со «Счастливым Драконом» подстегнул общественное мнение Японии. Скрытое стало явным, и возмущение деятельностью АБКК, уже давно зревшее, вырвалось наружу. Всю страну охватила буря негодования. С весны до осени 1954 года японская пресса яростно атаковала американскую лечебницу. На «Замок рыбного паштета» градом посыпались петиции протеста.

Непосредственным поводом к этому взрыву послужило заявление американцев, которое его инициаторы рассматривали как своего рода дружественный жест, но которое, по отзыву американского антрополога и социолога Герберта Пессина, проживавшего тогда в Токио, оказалось «самой худшей из всех ошибок». Дело в том, что директор АБКК Д-р Джон С. Мортон предложил перевести двадцать три пострадавших моряка со «Счастливого Дракона» в клинику на холме Хидзи-яма в Хиросиме.

«Это предложение директора АБКК свидетельствовало о его полном непонимании психологии японцев, — писал Пессин. — На протяжении многих лет американское правительство проводило кампанию, преследовавшую цель убедить японцев в том, что АБКК была основана отнюдь не для лечения пораженных лучевой болезнью и что такое решение является правильным. Мы аргументировали свою позицию тем, что результаты объективных научных исследований принесут японскому народу в будущем по меньшей мере столько же, если не больше, пользы, чем обычное лечение. Несмотря на это, японцы в глубине души всегда подозревали, что Америка использует их в качестве подопытных кроликов. Таким образом, предложение АБКК они могли истолковать двояким образом: либо как доказательство того, что их обманули, утверждая, что американский институт не

имеет возможности заниматься лечением, либо как проявление желания американских ученых заполучить и новых — пострадавших от водородной бомбы — больных для своих наблюдений и экспериментов. Обе версии были одинаково нелестны для нас. Когда д-р Мортон из АБКК посетил университетскую клинику в Токио, японцам не пришлось в голову, что он хочет выразить больным соболезнование или предложить им помощь. Они сразу же подумали, что Мортон желает понаблюдать за некоторыми последствиями, вызванными радиоактивным облучением в результате взрыва водородной бомбы. В газетах появились десятки статей, на разные лады трактовавших одну к ту же тему: «Мы не являемся подопытными кроликами!»

Руководство АБКК в Хиросиме признало, что в итоге этой газетной кампании все больше и больше людей из числа тех, которым предлагалось явиться на холм Хидзидзюма, отвечали отказом.

Тем самым, однако, была поставлена под угрозу достоверность уже полученных данных. Необходимо было что-то предпринять, дабы приостановить «дальнейшую убыль лечебного материала» (*affrition patient material*), достигшую уже 39 процентов. Именно так авторы полугодового отчета АБКК охарактеризовали создавшееся положение. Причем они далеко не случайно пользовались скорее военной, чем медицинской, терминологией.

Уже в 1952 году руководитель службы вербовщиков АБКК И. Скот Мацумото написал специальную работу о трудностях и недоразумениях, возникающих у работников АБКК при их соприкосновении с внешним миром, то есть с больными и здоровыми японцами. Эта работа, однако, была настолько откровенной, что могла появиться в печати только в измененном и сокращенном виде, да и то после ряда проволочек.

Проблемы, поставленные американским социологом японской национальности, безусловно, выходят за рамки конкретных условий данной страны. Ибо Мацумото на многих частных примерах показывает, какие трения вообще должны неизбежно возникнуть, когда современные западные учреждения пытаются работать в стране чужой и древней культуры, не желая приноровиться ни к внутреннему содержанию этой культуры, ни к ее внеш-

ним формам. Альберта Швейцера* часто упрекали в том, что его клиника в джунглях нарочито примитивна. Швейцер-де из чистого «упрямства» не хочет оборудовать ее по последнему слову медицинской науки. Опыт АБКК с ее сверхсовременной клиникой подтверждает правоту Швейцера, основное правило которого гласит, что люди, оказывающие помощь, обязаны приноравливаться к образу жизни тех, кому они эту помощь оказывают. Доктор Мацумото пишет, что уже внешний вид новой клиники АБКК отталкивал японцев: она казалось им преувеличенно изысканной и роскошной. Некоторые женщины не осмеливались являться в клинику в своем обычном виде. Перед приемом они ходили в институт красоты и надевали свои лучшие наряды. Люди победнее, например рабочие, отправляясь к американским врачам, одалживали одежду у соседей, чтобы «прилично» выглядеть.

Едва переступив порог приемной, выдержанной в стиле «модерн», больные тотчас же начинали проявлять все признаки «замешательства и смущения». Деревянные сандалии разъезжались на гладко натертом паркете. В холлах лежали американские иллюстрированные еженедельники, которые японцы при всем желании не могли прочесть. Надписи на дверях также были сделаны на английском языке, так что пациенты зачастую не могли разыскать нужный кабинет. Персонал клиники, занимавшийся приемом больных, почти сплошь состоял из «нисэй» (американцев японского происхождения), которые, по словам д-ра Мацумото, вели себя не всегда правильно: они позволяли себе разговаривать с больными резким, грубым и нетерпимым тоном. «Шоферы, заезжавшие за пациентами и отвозившие их домой, заботились о сохранности своих машин больше, чем об удобствах пассажиров», — пишет социолог.

Японцы привыкли, чтобы их осматривал один врач. Поэтому их неприятно поражала и даже пугала процедура обследования в АБКК. Как только больные снимали с себя одежду и облачались в непривычный, открытый на спине халат, они как бы попадали на конвейер,

* Известный ученый и общественный деятель. Еще в 1913 году основал в Ламбарене (на территории нынешней Республики Габон) больницу для лечения местного населения. Ныне активно выступает за запрещение ядерного оружия. — *Прим. ред.*

перебрасывавший их от одного специалиста к другому. У них брали на исследование кровь, семенную и спинномозговую жидкость, ткани тела; их выстукивали, просвечивали, делали пункции и рентгеновские снимки, что-то впрыскивали, и никто не давал себе труда объяснить, для чего и почему все это делается. При проверке здоровья детей их раздевали догола и подвергали крайне неприятному осмотру. У девочек-подростков эта процедура вызывала бурный протест. Недовольство еще больше усугублялось тем, что врачи, производившие осмотр, согласно утверждению Мацумото, не всегда вели себя этично, то есть не всегда сохраняли врачебную тайну.

Молва еще во много раз преувеличивала грубость и нечуткость американцев из АБКК, проистекающие прежде всего от недостатка такта. Не мудрено, что клиника в Хиросиме пользовалась такой дурной репутацией: ее считали чем-то вроде современной «камеры пыток».

«Интервьюеры» д-ра Мацумото, собрав все циркулировавшие о клинике слухи, попытались опровергнуть их. После окончания осмотра они с некоторых пор проводили exit interviews (заключительные опросы): больным предлагалось с глазу на глаз с опрашивающим рассказать о «своих впечатлениях об АБКК». При этом выяснилось, что две процедуры, которые, по мнению американских врачей, должны были вызывать наибольшее недовольство, — анализ спинномозговой жидкости и анализ семени — не так уж смущали больных.

Основная жалоба, зафиксированная Скотом Мацумото в его работе, сводилась к тому, что больные, ежегодно подвергаемые контрольным осмотрам, не получали диагнозов своей болезни, а если и получали, то с громадным опозданием. Вот что дословно пишет Мацумото по этому вопросу:

«Многие пациенты сообщают, что только через два-три месяца после обследования они получили письма, в которых говорилось: «Вы находитесь в отличном физическом состоянии», а они в это время лежали больные в постели. Один из опрашиваемых сказал, что такое медицинское заключение о состоянии своей матери он получил через неделю после ее смерти».

Под воздействием резко самокритических высказываний Мацумото руководители АБКК попытались устранить некоторые недостатки в своей работе еще до того, как весной 1954 года протест против деятельности клиники принял открытую форму. Полы больше не натирались до блеска, обращение персонала с больными несколько улучшилось: ему внушили, что он должен быть отзывчивым и вежливым; в приемных теперь лежали не только английские, но и японские журналы, а на дверях висели таблички с надписями на двух языках. Пациентам подробнее, чем раньше, разъяснялось, какой цели служат исследования, которым они подвергаются. Больные, имевшие возможность обращаться к частным докторам, могли рассчитывать на то, что американцы сообщат их лечащим врачам результаты подробных и основательных исследований, проделанных в АБКК.

Однако все эти изменения и улучшения не могли устранить недовольства жителей Хиросимы деятельностью клиники. Лучшее тому доказательство — автобиографический роман японского писателя Хироюки Агава под названием «Посев дьявола», горячо обсуждавшийся во всей Японии. В центре романа — описание работы АБКК. Автор его сам родом из Хиросимы. В романе повествуется о переживаниях репортера, который посетил свой родной город Хиросиму через восемь лет после «пикадона», чтобы собрать там материал для газеты. Поселившись в Хиросиме, репортер становится свидетелем того, как «атомная смерть» подбирается к его собственной семье. Маленький племянник репортера внезапно вынужден слезь в постель, он чувствует себя не совсем здоровым. Очень скоро выясняется, что у него лейкемия, вызванная ядерным облучением; ребенок медленно угасает. После смерти его тело подвергают вскрытию.

Из всех упреков в адрес АБКК, которыми изобилует книга Агавы, ни один не является столь страшным, как упрек в том, что американские врачи заинтересованы не в лечении и спасении больных, а в их смерти, ибо только в этом случае они имеют возможность без всяких помех наблюдать за течением лучевой болезни.

Другое обвинение Агавы в адрес АБКК (оно сразу же было подхвачено общественностью и до сих пор широко

обсуждается) сводится к тому, что американские ученые, заявляя на словах о своей готовности предать гласности результаты исследований АБКК, на деле держат самые важные из них в секрете. Они надеются, что Америка благодаря этому будет в случае атомной войны лучше подготовлена к защите от радиации, чем ее противники.

Японский писатель не приводит в своей книге конкретных доказательств обоснованности этих тяжелых обвинений. И все же его тезисы получили широчайшее распространение. Упорство, с каким американцы отказывались лечить больных в Хиросиме и Нагасаки, все больше усиливало действенность аргументов Киккавы. Оно все время накаляло атмосферу, вызывало все более резкие нападки на АБКК. Люди спрашивали себя: не потому ли американские ученые не желают лечить и исцелять жертвы атомной бомбы, что боятся выдавать свои секретные методы лечения, рассматривая их как особое «оружие» в будущей атомной войне?

Аргументы, с помощью которых АБКК защищалась от упреков общественности, были слишком формальными, чтобы звучать убедительно. Доктор Мацумото, к примеру, рекомендовал при опровержении главного обвинения в нежелании лечить ссылаться на то, что врачи института не получили специальных патентов и потому не имеют права практиковать в Японии, что лечение пораженных лучевой болезнью является привилегией и долгом местных хиросимских врачей и что комиссия не желает вмешиваться в частные дела японцев и конкурировать с японскими медиками.

Однако эти аргументы немедленно вызвали множество вопросов. Во-первых, если в свое время японское правительство удовлетворило весьма необычное требование американцев, предоставив им право обследовать японских граждан, так неужели же японские власти не разрешат американским ученым лечить больных лучевой болезнью, когда ученые этого всерьез захотят? Во-вторых, если американцы потратили миллиарды иен на то, чтобы японские инженеры и рабочие восстановили их боевую технику для войны в Корее, то почему же они не употребят хотя бы небольшую часть этой суммы на то, чтобы помочь японским врачам восстановить здоровье жертв атомной бомбы — в той мере, в какой это вообще возможно? Почему они не построят госпитали для «атом-

ных» больных и не передадут их японцам? Почему не учредят специальный фонд для лечения людей, переживших атомный взрыв?

4

Убедительных ответов на все эти вопросы японцы так никогда и не получили. Однако в одной изъятной поздней части своей работы д-р Мацумото намекает, по крайней мере в косвенной форме, на действительную причину отказа американской клиники в Хиросиме лечить жертвы атомной бомбы.

В отчете Мацумото много раз недвусмысленно подчеркивается: «Со стороны АБКК не проявляется ни малейшего желания искупить совершенное зло». Этой основной установкой руководства следовали настолько строго, что, согласно Мацумото, пришлось даже отказаться от первоначального, совершенно, казалось бы, естественного намерения использовать в качестве «вербовщиков» японцев, назначенных в клинику для осмотра. Руководители АБКК, как видно, опасались, что и эта столь незначительная уступка с их стороны может создать впечатление, будто американцы раскаиваются в содеянном ими злодеянии.

Официальные американские инстанции с самого начала яростно отрицали и по сию пору отрицают тот факт, что города, подвергшиеся атомной бомбардировке, требуют к себе особого отношения и что люди, пострадавшие от ядерного оружия, вправе претендовать на особое лечение. Они боялись, что все это вынудит их, пусть в косвенной форме, признать особый характер атомного оружия и тем самым предвосхитит роковой вопрос: не является ли применение ядерного оружия с его радиоактивным излучением, разрушающим живые клетки, практически таким же недопустимым, как применение ядовитых газов, запрещенных международным правом? Иными словами, не является ли сбрасывание атомных бомб на Японию военным преступлением? Именно этим объяснялось также желание различных американских органов преуменьшить значение отдаленных последствий радиоактивного облучения в результате атомной бомбардировки, представить их как весьма безобидные и случайные явле-

ния. Они надеялись, что, умаля значимость отдаленных последствий, им удастся замазать свою великую вину.

Однако не все сотрудники АБКК хотели следовать лозунгу американских властей — не проявлять в отношении людей, переживших «пикадон», никакого сочувствия, раскаяния или, упаси боже, готовности искупить свою вину. В Хиросиме рассказывают, что несколько американских врачей тайком навещали больных лучевой болезнью, чтобы оказать им посильную помощь. Некоторые американцы демонстративно проявляли участие к местным жителям.

Анатом д-р Р., например, охотно приглашал в свою квартиру на «холме» японцев. Начальник Р., д-р Холмс, запретил ему общаться с японцами на территории клиники, мотивируя это тем, что даже в кафетерии АБКК действуют расовые законы. Тогда Р. начал уходить в Хиросиму и ее окрестности; почти все свободное время он проводил со своими японскими друзьями, носил за пределами клиники японскую одежду и, наконец, даже принял буддизм. Доктор М. женился на японке без ведома тогдашнего директора клиники. Однако после этого его начали буквально сживать со свету, и в результате М. был вынужден покинуть Хиросиму.

Д-р Эрл Рейнолдс — один из трех американских антропологов в АБКК — в течение нескольких лет осматривал детей, заболевших в результате воздействия радиации. Это произвело на него такое впечатление, что позднее он попытался принять участие в рейсе протеста на специальном судне, направлявшемся из Гаваев в район испытания ядерного оружия.

Особенно интересный случай произошел с американским терапевтом д-ром Х. После первого же приема больных лучевой болезнью он не сдержался и в беседе со своими коллегами в кафетерии заявил:

— Жутко становится, когда подумаешь, что мы здесь натворили!

Х. вызвали к тогдашнему руководителю клиники АБКК Д-ру Роберту Холмсу, старому военному врачу. Холмс набросился на Х. за проявленное им сочувствие к жертвам атомной бомбы и немедленно отстранил его от работы, связанной с осмотром таких больных. Официально эта мера мотивировалась тем, что «эмоциональная вспышка» д-ра Х. явно свидетельствует о его неустой-

чивой психике. Поэтому Х., мол, должен пройти курс лечения у психиатра в соседнем городе Курэ.

Однако энергичный врач не пожелал примириться с таким решением — он начал бороться за свои гражданские права. Отказавшись подчиниться приказу начальника АБКК, Х. подал апелляцию в Национальную академию наук в Вашингтоне, требуя восстановить его на прежней работе в клинике. После года «бумажной войны» Х. добился своего. За время работы в Хиросиме д-р Х. сумел провести несколько интересных исследовательских работ, главным образом в области кардиологии. При этом он так и не поступился своим правом высказывать чувство сострадания в стенах клиники.

Под давлением общественного мнения глава АБКК в своем отчете за второе полугодие 1954 года, направленном в Вашингтон, наконец-то внес предложение лечить больных лучевой болезнью. Характерны аргументы, с помощью которых Холмс защищал это нововведение. В его рапорте говорится дословно следующее:

«Умножив свои усилия по наблюдению за большим числом больных и оказав им некоторую медицинскую помощь, мы решительно улучшим наши отношения с больными и их семьями. В случае смерти пациентов вскрытие их трупов окажется куда более эффективным» *.

На первом месте в этом рапорте, казалось бы продиктованном соображениями гуманности, стоит, таким образом, не стремление добиваться излечения больных, а призыв к более гибкой политике и надежда получить более богатый «материал для исследования».

Впрочем, и эти аргументы, лишенные каких бы то ни было проблесков человечности, не повлияли на вашингтонское начальство АБКК: клинике не были предоставлены специальные фонды для лечения. Правда, ей разрешили использовать небольшой стационар на десять коек, оборудованный еще в 1953 году, так называемое «диагностическое отделение». Раньше АБКК не разрешали и этого, поскольку американские власти утверждали, что создание стационара противоречит принципу «не оказывать больным медицинской помощи». Однако в диагностическое отделение принимались только особо «интерес-

* Semi-Annual Report ABCC Headquarters Hiroshima Japan, 1 July thru 3 December 1954. For Official Use Only. P. 9.

ные случаи». Ни в одном из отчетов АБКК ни разу не упоминаются факты успешного лечения больных в стенах клиники; наоборот, в одном-единственном комментарии к созданию стационара говорится следующее:

«Пациенты, положенные в диагностическое отделение, страдали, как было установлено ранее, болезнями, которые в конечном счете должны были привести к смертельному исходу. Таким образом, стационар выполняет весьма важную функцию в программе АБКК: он создает благоприятные условия для наблюдения за тяжелобольными и поставляет отделению патологии тщательно и добросовестно исследованный клинический материал. А это в равной степени важно и для отделения патологии, и для терапевтического отделения. Тем более что, к нашему величайшему сожалению, АБКК удалось за истекшее полугодие обследовать до вскрытия менее полудюжины амбулаторных больных» *.

Недаром Киккава, один из основателей Союза жертв атомной бомбы, утверждал, что для небольшого диагностического отделения АБКК специально выискивались безнадежные больные и что поэтому стационар являлся не чем иным, как «фабрикой для поставки трупов».

5

В уже цитированном выше анализе американо-японских недоразумений **, написанном после трагического случая со «Счастливым Драконом», Герберт Пессин подробно остановился на коренном различии в поведении обеих сторон — американской и японской — и на их разном понимании проблем, возникших после «пикадона»:

«Ни американцы, ни японцы не в силах были признать искренность противной стороны. Все, что говорили американцы, казалось японцам оскорбительным, так как американцы принимали в расчет лишь рациональные мотивы и чисто технические соображения, отрицая всякие чувства и эмоции».

* Op. cit., p. 6.

** «Japan and the H Bomb» in «Bulletin of the Atomic Scientists», Chicago, October 1955.

Ссылаясь на допущенные в Японии ошибки, американский социолог настойчиво предостерегает свою страну от попыток действовать и по отношению к другим народам по тому же рецепту, то есть исходить лишь из «рациональных мотивов и чисто технических соображений».

Практике официальных американских инстанций, из-за которой американцы приобрели в Японии репутацию людей «холодных и бессердечных», Пессин противопоставляет деятельность отдельных американских граждан, их «великодушные жесты» в отношении японцев. В частности, он с похвалой отзывается о приглашении так называемых «атомных мэйденс» («атомных девушек», то есть девушек, переживших атомный взрыв и пострадавших от него) из Хиросимы в Соединенные Штаты для бесплатного лечения. Только зная описанную выше закулисную сторону событий — подчеркнутую холодность американского института, — можно понять, какое глубокое впечатление произвела эта акция на японскую общественность.

Инициатива приглашения девушек в США исходила от неумолимого Нормана Казинса, который несколько лет назад призывал к «духовному усыновлению атомных сирот». Однако, прежде чем Казинсу удалось осуществить свое предложение, ему пришлось преодолеть множество тяжелых финансовых трудностей и бюрократических рогаток.

Сверх того, предшествовавшие события сделали японцев крайне недоверчивыми. Когда Казинс весной 1955 года приехал в Хиросиму, чтобы заняться последними приготовлениями к отъезду двадцати пяти искалеченных молодых девушек, он не встретил сочувствия к своему предприятию: почти все японцы приписывали ему различные корыстные соображения. Японские репортеры хотели знать, в чем суть хитрого замысла Казинса. От кого поступают деньги? И не финансирует ли втайне американское правительство эту акцию помощи, для того чтобы изгладить скверное впечатление, созданное аферой в Бикини? Люди спрашивали себя: не собираются ли американцы таскать несчастных девушек по стране, устроив что-то вроде бродячего цирка? Не намерены ли они взимать большие деньги за показ этих девушек? Ни у кого из японцев просто не укладывалось в голове, что американцы могут почувствовать сострадание к жертвам атомной бомбы.

Впервые Норман Казинс познакомился с несколькими девушками, обезображенными необычайно большими шрамами от атомных ожогов, в 1953 году в церкви Киёси Танимото. Уже тогда он подумал о том, нельзя ли помочь этим девушкам, не осмеливающимся показаться на глаза людям из-за своего уродства, косметическими операциями.

Казинсу удалось заинтересовать своим проектом ряд духовных лиц, врачей и филантропов в США. Чтобы создать материальные предпосылки для поездки девушек в Америку, пришлось объявить сбор пожертвований, склонить людей к шефству над несчастными жертвами атомной бомбы, добиться согласия хирургов на отказ от гонорара за операции, уговорить больницы бесплатно содержать девушек.

Когда все это уже было достигнуто, осталось договориться с авиакомпанией, которая взялась бы перевезти девушек и сопровождающих их лиц через Тихий океан и затем доставить обратно. Однако здесь Казинс потерпел неудачу. Но тут неожиданно в дело вмешались военно-воздушные силы США: их представитель на Дальнем Востоке генерал Хэлл предоставил девушкам для поездки в Нью-Йорк специальный самолет. Это обстоятельство сыграло вскоре весьма важную роль, хотя и по совершенно неожиданному поводу. Дело в том, что, как только «Скаймастер С-54» вылетел из Японии с «атомными девушками», на борт самолета прибыла радиограмма, подписанная начальником дальневосточного отдела госдепартамента Уолтером Робертсоном. Пилоту было приказано немедленно прервать полет. По-видимому, видный чиновник впервые узнал о готовящейся акции и в последний момент решил помешать ей.

Казалось, что вся двухлетняя подготовительная работа неминуемо погибнет из-за одного бюрократического росчерка пера. Однако пилот самолета, который своими глазами видел, с какой радостью и надеждой отправлялись в путь молодые девушки, отмеченные когтями атомной смерти, размышлял недолго. Он немедленно дал ответную радиограмму, заявив в ней, что обязан подчиняться лишь приказам своего военного начальника генерала Макнотона и, пока не поступит соответствующее распоряжение именно от Макнотона, самолет будет по-прежнему держать курс на США.

Однако приказа о возвращении девушек в Японию — чего так опасались немногие посвященные на борту самолета — так и не последовало. Путь от госдепартамента до командования американскими ВВС оказался, к счастью, длиннее, нежели воздушная трасса между аэродромом в Токио и Митчел эйрфилд в Нью-Йорке. Отослать же девушек ни с чем обратно после устроенной им на американской земле необычайно радушной встречи — на это не мог решиться даже самый бессердечный политикан.

6

Наименьшую популярность снискала акция помощи «атомным девушкам» в самой Хиросиме. Начать с того, что при выборе счастливиц, которые могли поехать в Соединенные Штаты, важную роль играл пастор Танимото. Во всем мире этот превосходный человек получил широкую известность как главный персонаж нашумевшего репортажа Джона Герси «Хиросима». Однако в родном городе к Танимото относились на редкость недоброжелательно. Возможно, что успех действительно несколько вскружил голову доброму пастору: по временам он не прочь был похвастаться. Но все это еще далеко не оправдывает тех нападков, которым он подвергался. По-видимому, они были вызваны главным образом завистью его сограждан.

И на этот раз Танимото был избран мишенью всевозможных недоказанных и недоказуемых нареканий. Так, про него говорили, что он устроил поездку девушек в США исключительно в целях саморекламы. Вместо того чтобы организовывать сенсационную поездку за океан, можно было бы оперировать «келоиды» в самой Японии с гораздо меньшими затратами. Считалось также, что Танимото рекомендовал для лечения только девушек, принадлежавших к его пастве, и что американцы в свою очередь выискивали мэйденс не слишком обезображенных шрамами, так как показать американским гражданам еще более искалеченных девушек — жертв атомной войны — просто-напросто не осмеливались.

Однако сообщения японских корреспондентов из Америки о необычайно сердечном приеме, оказанном двадцати пяти young ladies from Hiroshima (молодым леди из Хиросимы), заставили критиканов замолчать. Восторженные письма, которые участницы поездки посылали своим близким, также способствовали тому, что возражения и подозрения японцев мало-помалу стихли.

Зато все громче становились голоса, задававшие вопрос, который хотя давно уже ставился японской общественностью, но приобрел особую актуальность лишь после трагедии «Счастливого дракона», — вопрос о том, что, собственно говоря, делают сами японцы для своих соотечественников, переживших атомную бомбардировку. Ответ на этот вопрос дали вновь посланные в Хиросиму и Нагасаки японские репортеры. Он гласил: «Ровным счетом ничего». Теперь в Японии наконец начали осуждать не только бессердечие американцев, но и свое собственное безразличие к судьбе «хибакуся».

Так, к примеру, только сейчас стало известно, что профессора и студенты курсов по усовершенствованию врачей в Хиросиме уже давно заявили о своей готовности бесплатно лечить жертвы атомной бомбы и что их предложение было отклонено из-за интриг нескольких влиятельных частных медиков. В связи с этим возникло подозрение: не могли ли те же самые врачи с помощью различных хитросплетений заставить японское министерство здравоохранения ответить отказом на предложение американцев лечить больных лучевой болезнью, если такое предложение было сделано? Обнаружилось также еще одно обстоятельство: мэр Хамаи, хлопотавший в Токио о дальнейших субсидиях для Хиросимы, получил отказ, потому что представители правительственного большинства потребовали от популярного главы города вступить в их партию. Однако Хамаи не пошел на эту бесчестную сделку. Он считал, что обманет своих избирателей, которые два раза подряд оказывали ему доверие как представителю оппозиции.

После первого «хождения по мукам» в Токио Хамаи сделал в 1953 году еще одну попытку получить заем для Хиросимы, на этот раз в США. Но и тут он потерпел фиаско. Провалился также проект Гарольда Орама — главы известной фирмы коммерческой рекламы. Орам

хотел организовать в Соединенных Штатах большую кампанию по сбору средств для Хиросимы.

В июне 1954 года он дал знать Хамаи, что вопреки всем ожиданиям ему не удалось основать задуманное им Общество помощи Хиросиме, потому что предполагаемые покровители — «влиятельные и выдающиеся личности» — отказались участвовать в этом предприятии. (Особенно рассчитывал Орам на Мильтона Эйзенхауэра, одного из братьев тогдашнего президента.) «Виною всему, — писал Орам, — сложившееся в настоящий момент положение в мире и явное изменение образа мыслей у видных западных деятелей».

Все эти неудачи прервали политическую карьеру Хамаи. Мэра упрекали в том, что он не имеет влиятельных покровителей в США, которые могли бы помочь Хиросиме. В результате самый заслуженный борец за восстановление города, выставивший в 1955 году в третий раз свою кандидатуру на выборах мэра, потерпел поражение.

И все же через десять лет после «пикадона» широкая общественность Японии начала хоть как-то помогать жертвам атомной бомбы. Одна только продажа специальных новогодних марок по всей стране принесла миллионы иен; выручки от этой продажи хватило на то, чтобы построить в Хиросиме госпиталь для больных лучевой болезнью. В парламенте впервые начал обсуждаться вопрос о принятии закона, обеспечивающего жертвам атомной бомбардировки бесплатное медицинское обследование, а также пожизненное лечение. Кампания, начатая в 1951 году горсткой решительных людей в многострадальной Хиросиме, наконец-то была поддержана всем японским народом.

ВДВОЕМ ПРОТИВ ГИБЕЛИ

1

Собственно говоря, Кавамото намеревался жениться на Токиэ сразу же после того, как попросил ее руки. На выходное пособие, которое Итиро получил, распрощавшись с электростанцией в Сака, жених и невеста приобрели несколько дешевых предметов домашнего обихода и сняли комнату в районе вокзала.

Незадолго до рождества женился их общий друг и брат по крещению Фукуда: это он привел Итиро шесть лет назад на уроки английского языка, где тот и познакомился с Токиэ. Казалось само собой разумеющимся, что одновременно будут сыграны две свадьбы. Бракосочетание Фукуды действительно состоялось, но Токиэ и Итиро присутствовали на нем лишь в качестве гостей.

— Мы должны, к сожалению, еще немного подождать, — объяснял Кавамото. — Денег, которые я получил, не хватило на то, чтобы приобрести все необходимое. У нас нет даже приличного постельного белья. Я теперь простой поденщик, а Токиэ надо заботиться о своей матери.

Нескольким близким друзьям Итиро признавался:

— Видите ли, наша связь не совсем обычная. Мы с Токиэ решили быть вместе, чтобы помогать друг другу, раз общество отказывается помогать людям.

И затем, как бы в объяснение своих слов, он, слегка покраснев, добавлял:

— Целый день я провожу с больными и калеками, а когда потом прихожу домой, то просто не в силах обнять Токи-тян. В такие минуты меня преследует мысль: разве мы имеем право на личное счастье?

Однако и это объяснение еще не раскрывало всей правды. Уже много лет назад в разговоре с сиротами из «Замка подсолнечника» Итиро обмолвился, что он никогда не вступит в брак, потому что боится произвести на свет нежизнеспособных детей. Итиро разделял в этом вопросе тайные опасения всех молодых людей, переживших атомную катастрофу, — опасения, что их потомство пострадает от радиации и что они произведут на свет слабоумных или физических уродов.

С «того дня» в Хиросиме люди рассказывали друг другу десятки «акушерских историй», в которых повествовалось о неудачных родах и о новорожденных-чудовищах, не похожих на человеческие существа. Молва утверждала, что большую часть этих искалеченных детей сразу же после родов тайком уничтожали акушерки и врачи, а то и сами роженицы. Немногие оставшиеся в живых уроды были будто бы помещены в специальные заведения.

В стране, где с древних времен верили, что существуют люди, «одержимые лисицами», и что надо избегать вступления в брак с некоторыми юношами и девушками, чтобы этот недуг не передался по наследству, новый вариант старого суеверия нашел весьма благодатную почву.

Но в легендах, передававшихся из уст в уста в Хиросиме и Нагасаки, в самом деле содержалось зерно истины. В частности, соответствовал истине тот факт, что плод каждой пятой-шестой женщины, пережившей «пикадон», подвергся известным изменениям от радиоактивных лучей. В 1945—1946 годах необычно большое число родов проходило ненормально. Несколько детей появились на свет с несоразмерно маленькими головами; наблюдались задержки в росте и развитии грудных детей. Властям пришлось даже учредить «Рэппо Гакуэн» — специальный приют для умственно отсталых «атомных сирот». Наконец, верно и то, что, согласно статистике, число уродов, родившихся в 1945—1946 годах в Хиросиме, было несколько выше, чем во всех других японских городах.

Однако все это не касалось детей, зачатых после атомной катастрофы, даже если один или оба родителя подвергались воздействию радиации. Ни одной из про-

блем АБКК не уделяла столько внимания, сколько проблеме наследственности. Из лабораторных опытов над мухами, мышами и крысами было установлено, что радиация, изменяя зародышевые клетки, наносит существенный вред потомству.

Ученые из АБКК хотели узнать, подвержено ли потомство людей тем же законам. Результаты оказались негативными, по крайней мере для первого поколения детей Хиросимы. К сожалению, эта успокоительная весть исходила от американских исследователей на холме Хидзи-яма. А этих исследователей уже давно упрекали в том, что они не осмеливаются сказать народу всю правду. Так вышло, что японское население с полным недоверием отнеслось к заявлениям американских ученых*.

И если даже результаты исследований были объективными и американцы не собирались обманывать японский народ, то и в этом случае вопрос о том, не повлияет ли радиация на более поздние поколения детей, оставался открытым... Как бы то ни было, а Кавамото боялся стать отцом. Вскоре после помолвки он разъяснил своей невесте причины, которые, по его мнению, мешают им вступить в брак. Он, Кавамото, поддался чувству, однако, поразмыслив спокойно, осознал свою ответственность за будущее, поэтому он готов вернуть слово, данное ему Токиэ.

Разговаривая со своим женихом, убеждавшим ее разорвать помолвку, Токиэ в свою очередь открыла ему тайну, которую семье Уэмацу удалось скрыть от всех окружающих.

— Через несколько месяцев после «того дня» моя старшая сестра родила... такого ребенка. С тех пор

* Полемизуя с трудами АБКК и оптимистическими выводами, которые неоднократно делались из них, упоминавшийся выше И. Мёллер, крупнейший представитель современной генетики, писал: «Я считаю, что неправильно было бы отрицать последствия облучения, основываясь лишь на негативных результатах проделанных исследований. Нельзя быть ни в чем уверенными и предаваться благодушию только потому, что до сих пор не было обнаружено никаких существенных последствий радиации («The Nature of radioactive fallout and its effect on Man». Congressional Hearings, June 4—7, 1957, Washington D. C.).

и меня обуял страх, которым терзаешься ты. Быть может, мы действительно не должны вступать в брак. Но давай по крайней мере останемся вместе. Хорошо?

2

Они остались вместе и провели новогодние праздники, которые хотели первоначально использовать для свадебного путешествия, в сиротском доме Сидоин. Там они замещали сестер, так что сестры хотя бы на несколько дней смогли уйти в отпуск. А потом дни опять потекли своей чередой. Токиэ пришлось снова поступить в игорный дом «патинко». А Итиро стал настоящим «ни-коён»*: он работал землекопом на прокладке нового шоссе, которое должно было пройти через холм Тендзими-яма.

Некоторым людям Токиэ и Итиро говорили, что они брат и сестра, других не разубеждали в том, что они уже давным-давно без особой помпы поженились. Но такого рода комедию нельзя было разыгрывать перед их общим другом американской миссионеркой Мэри Макмиллан. В угоду ей они все же решили пожениться.

В начале февраля, за месяц до предполагаемой свадьбы, к Итиро явился некий господин Камикури, директор сиротского дома Синсэй. Он спросил Кавамото, не возьмут ли они с Токиэ «атомного» сироту. В настоящее время парнишка сидит в тюрьме по обвинению в краже, но его смогут освободить, если какая-нибудь семья согласится взять его на поруки.

Решив, что они не вправе иметь детей, Итиро и Токиэ надумали брать к себе осиротевших ребят. Теперь впервые им представилась вполне реальная возможность осуществить это намерение. Но как раз в тот период, накануне женитьбы, предложение Камикури было в высшей степени некстати. Неужели им придется потратить свои сбережения, скопленные с таким трудом, на своего гостя? Заметив колебания Итиро, директор сирот-

* Так назывались в Японии с 1951 года безработные, которых бюро по найму использовало в качестве чернорабочих. Их дневная оплата, 240 иен (ни — два, н — четыре), считалась нищенской даже в условиях Японии.

ского дома объяснил, что их будущему питомцу девятнадцать лет и что он сможет работать вместе с Кавамото на прокладке шоссе. Таким образом, он будет получать немного денег и вносить свою лепту в семейный бюджет.

«Нельзя сказать, чтобы Токиэ выразила особую радость, когда я поделился с ней этой новостью, — рассказывает Кавамото, — но в конце концов она согласилась.

— Ну хорошо, — сказала она, — я буду готовить для вас.

Я пошел к господину Камикури, чтобы встретиться с юношей, — я буду называть его А. У парня оказалась вполне интеллигентная внешность. Этого я не ожидал. Приятно было увидеть также, как просияло лицо директора Камикури, когда он дарил А. новый костюм, купленный специально для него. Пробыв еще дня два-три в сиротском доме, А. явился к нам. С тех пор для Токи-тян настали трудные времена: нелегко было сохранить ту же непринужденную атмосферу, какая царила раньше у нас в доме. А. был довольно-таки пустой мальчишка и говорил всегда только о себе. Часто он хвастался своей жизнью в тюрьме.

— Наверняка ни-сан (старший брат) Кавамото не пережил того, что пережил я, — любил он повторить. И вообще он разговаривал со мной так, как будто из нас двоих он был старшим.

Однажды Токи-тян спросила меня:

— Не знаешь ли ты случайно, где лежит отрез черного бархата?

Она говорила почти шепотом, хотя А. не было дома.

— Понятия не имею. О каком бархате ты вообще говоришь?

— Не могу разыскать отрез. А мне его только вчера дала домой одна заказчица.

— Ты искала повсюду?

— Повсюду. И шкаф перерыла.

— Может быть, ты оставила его дома у матери?

— Да нет же. Я точно знаю.

Комната, которую мы снимали, была очень маленькая — два метра на три. Но в ней еще был небольшой стеной шкаф. Неужели А.?.. Нет, это невозможно.

У Токи-тян возникло то же подозрение. Она была очень обеспокоена и в конце концов вышла из себя.

— Я не знаю, что сказать казначнице. Вообще я не понимаю, на каком я свете. Мне надоело быть у вас кухаркой. Хватит, с меня довольно! Я отправляюсь к своим!

Позже Токиэ объяснила мне, почему она убежала тогда от Итиро.

— Не могла я спокойно смотреть, как Кавамото всегда заступался за этого воришку. Конечно, его великодушие трогало меня. Но я говорила себе: такая доброта мне не под силу.

Когда А. явился домой, Кавамото попытался поговорить с ним. Но не успел он осторожно опросить, не знает ли тот, куда исчез отрез черного бархата, как А. разгорячился и перешел с обычного хиросимского диалекта на тюремный жаргон.

— Вы хотите сказать, что я стибрил ваше барахло?

На следующий день Итиро под каким-то предлогом не пошел на работу. Вместо этого он обыскал всю комнату. И что же! Кавамото действительно нашел бархат в сундучке, которым вот уже много лет никто не пользовался. Сундучок этот был единственным достоянием, унаследованным Итиро от его матери. Здесь он хранил сотни писем, полученных от Томиэ.

С сундучком в руках Итиро бросился к дому своей невесты. Толкнув шаткую дверь, он остановился на пороге. Его лицо было искажено гневом; резким тоном, каким он никогда раньше не разговаривал, Итиро крикнул:

— Эй! Где Токи-тян?

Мать Токиэ, ее сестра и друг сестры господин Сугиура прибежали на крик. Не удостоив их даже взглядом, Кавамото раздвинул дверь в соседнюю комнату. В комнате сидела мертвенно-бледная Токиэ и, не поднимая глаз, шила.

Итиро поставил сундучок на пол, откинул крышку и сказал прерывающимся от ярости голосом:

— Смотри хорошенько. Гляди, что ты наделала. И все из-за того, что не удосужилась поискать как следует. Ты глубоко оскорбила А. Выбила его из колеи как раз сейчас, когда он наконец-то начал выбираться на

путь истины. Неужели ты не помнишь, что мы с тобой когда-то решили? Мы хотели тихо, без шума помогать людям, оказывать им маленькие услуги. А ты бросила меня и всех на произвол судьбы.

— Успокойтесь! Успокойтесь! — пытались вмешаться в разговор мать Токиэ и господин Сугиура. — Ошибки случаются с каждым. Вы должны ее простить.

Но Кавамото никак не мог утихомириться. Он вспоминает, что ему вдруг бросился в глаза котел с водой, стоявший в комнате.

«Котел, наполненный почти до краев водой, грелся на очаге. Я выхватил из сундучка охапку писем от Токиэ и начал распутывать бечевки, которыми были перевязаны аккуратно сложенные по датам пачки. Потом я разрывал каждое письмо на мелкие клочки и бросал его в огонь. Только сейчас я увидел, как много писем написала мне Токи-тян. Совершенно убитая, она молча стояла рядом со мной.

— Не хочу их больше хранить! — кричал я. — Не оставлю ни одного-единственного письма!

Минут через двадцать все кончилось. Вода в котле дико забурлила.

— А теперь прощай! — Я покинул дом с пустым сундучком в руках. Уходя, я слышал, как булькала вода в котле...»

На пороге своей комнаты Кавамото остановился: на втором этаже громко кричали. Там жила бездетная супружеская пара. Муж и жена жаловались хозяевам дома на то, что в их отсутствие кто-то взломал замок в их квартире. Таких историй в доме не случалось до той поры, пока там не поселился А.

Так у Кавамото возникло первое подозрение в честности своего питомца. Несколько дней спустя, когда Токиэ пришла к нему извиняться, он сразу же простил ее.

Подозрения Итиро и Токиэ полностью подтвердились. Через некоторое время после того, как они переехали в другой дом, оставив А. свою комнату, выяснилось, что у самых различных людей, которым Кавамото оказывал свои «маленькие услуги», появлялся неизвестный человек и запрашивал у них деньги и продукты для того якобы, чтобы отнести их «бедному, внезапно захворавшему Кавамото». Из описаний стало совершенно

ясно, что неизвестным вымогателем был не кто иной, как А.

Надо признать, что А. получил богатую добычу, так как каждый, к кому он обращался, был рад наконец-то отблагодарить отзывчивого Итиро.

3

Потерпев неудачу с первым питомцем, Итиро и Токио все же решили попытаться счастья с другими. Они продолжали брать в свою маленькую квартирку в квартале Сэндамати сирот, с которыми делились всем, что имели. Своим подопечным они предоставляли комнату, устланную циновками, а сами спали в кухне, на голом полу, где дуло из всех щелей. В конце концов у них оказалось так много приемных детей, что Итиро пришлось повесить на входной двери большой почтовый ящик с фамилиями всех своих жильцов.

Некоторые дети доставляли им радость. Например, С., наделенный талантом подражания, — его коронным номером было изображение женщины, играющей на самисэ (японская гитара). Или маленькая Яманда, которая была прямо-таки счастлива, что ее брат Горо, почти потерявший слух после «пикадона», взял ее из сиротского дома и привел в эту несколько странную семью. Зато сам Горо считал, что ему не повезло с приемными родителями.

— Дайте мне рису! — ворчал он каждый раз, когда на обед или на ужин подавалась пшеничная каша. — Этой паршивой кашей нас кормили и в сиротском доме. Я хочу есть «серебряное блюдо» (японское название риса) и ничего больше.

Немало разочарований пришлось пережить Итиро, и не только в узком «семейном» кругу. В движении за запрещение атомного оружия он также столкнулся с интригами, завистью, суетностью, черной неблагодарностью. Часто ему казалось, что служить посредником между различными группами жертв атомной бомбы — безнадежное дело. Друзья мира враждовали друг с другом с поистине воинственным пылом.

Время от времени его теперь начинали одолевать сомнения: быть может, протестовать против испытаний ядер-

ного оружия вообще бесполезно? Имеет ли смысл собирать подписи и устраивать демонстрации против ремилитаризации Японии? Производит ли это хоть малейшее впечатление на правительство? В 1954—1956 годах могло показаться, что вся борьба действительно идет впустую.

Но разве жертвы атомной бомбы не считали много лет подряд, что нельзя надеяться на помощь большим лучевой болезнью со стороны государства? А теперь в Хиросиме заложили здание больницы для таких больных. (Впрочем, ни одного «хибакуся» на эту церемонию так и не пригласили.) Говорили также, что на следующий год парламент в Токио издаст закон о бесплатном лечении людей, пострадавших от «пикадона». Значит, бороться за правое дело все-таки имело смысл! Рано или поздно наступит день, когда даже глухие обретут слух! Только не молчать, только не терять мужества!

До поздней ночи Итиро — иногда один, а иногда и с Токиэ — писал письма и рисовал плакаты; долгие часы просиживал он на собраниях, все чаще созываемых в Хиросиме, участвовал в нескончаемых прениях, вышагивал на демонстрациях и до изнеможения рассказывал подросткам и старикам, женщинам и мужчинам, поденщикам и нищим об угрожающей всему человечеству атомной опасности.

Каким бы Итиро ни был усталым, он черпал силы, глядя на маленькую «дарума». «Дарума» — это покрытая красным лаком кукла, наподобие ваньки-встаньки; ее можно часто увидеть в японских домах. Летом 1955 года, участвуя в большой кампании по сбору подписей против испытаний атомного оружия, Итиро познакомился с знаменитыми японскими борцами «сумо», выступавшими в то время в Хиросиме. Однажды он явился за кулисы, чтобы получить от «сумо» подписи. «Звезда» труппы борцов гигант и добряк Тотинисики подарил Кавамото ваньку-встаньку и согласно японскому обычаю написал на правом глазу куклы несколько слов, выражавших его самое сильное желание. Надпись гласила: «Пусть наконец наступит мир!»

О «дарума» в Японии существует поговорка: «Нана — короби-я-оки» («Даже если ты упадешь семь раз, то и на восьмой встанешь!»).

— Правда, теперь у меня нет ваньки-встаньки, — рассказывал мне Кавамото, — кто-то из ребят все же выклянчил ее у меня. Но эта игрушка и по сей день слу-

жит мне примером. Я поклялся себе: что бы ни случилось со мной, сколько бы раз меня ни сшибали с ног, я все равно вскочу опять.

4

Время от времени кто-либо из жертв атомной бомбы — старых знакомых, а то и подопечных Итиро и Токиэ — умирал от последствий лучевой болезни. Таких случаев становилось все больше, хотя со дня «пикадона» прошло уже много лет. И каждый раз Токиэ и Итиро казалось, что от них ушел близкий человек. Но ни одна смерть не потрясла их так сильно, как смерть Садако Сасаки — двенадцатилетней девочки, которую Кавамото знал уже очень давно, так как маленькая парикмахерская ее отца находилась рядом с домом «Союза христианских молодых людей» и Итиро встречал девочку чуть ли не каждый день. За несколько месяцев до своей внезапной болезни она также стала членом этого союза и приняла участие в велосипедной эстафете по маршруту Токио — Хиросима.

Японское поверье гласит, что, если человек, находящийся при смерти, вырежет из бумаги тысячу журавлей, он избежит опасности. Когда состояние Садако резко ухудшилось, она храбро взялась за работу и вскоре над ее больничной кроватью появилось что-то вроде балдахина из тонких шнурков, на которых покачивались маленькие бумажные журавлики. Но, когда больная принялась за шестисотого журавля, силы начали покидать ее. На шестьсот сорок четвертом журавле девочке пришлось прервать свою работу. Ее последние слова были: «Папа и мама, прошу вас, не плачьте!»

Смерть Садако произвела на хиросимцев особенно сильное впечатление еще и потому, что за день до этого, 24 октября 1955 года, от той же болезни скончался другой «атомный ребенок» — пятнадцатилетний мальчик Норие Хирота. Уже тот факт, что взрослые до сих пор страдали от последствий атомной бомбардировки, был достаточно ужасен. А теперь еще оказалось, что и дети, которым в конце войны едва исполнилось несколько лет или даже несколько месяцев, должны расплачиваться за вину предшествующего поколения — поколения своих ро-

дителей, участвовавшего в мировой войне. Разве это не было вершиной несправедливости?

После смерти маленькой приятельницы Садако Сасаки Кавамото пришла в голову мысль поставить в Хиросиме на деньги молодежи особый памятник — памятник детям, павшим жертвами атомной бомбы, и тем самым вновь воззвать к совести родителей во всем мире. Эта идея почти сразу же вызвала в Японии широкую поддержку. Школьники и школьницы во всей стране жертвовали по несколько иен из своих карманных денег. Вскоре была собрана весьма значительная сумма.

Впрочем, руководство этой компанией сразу же перешло из рук Кавамото в руки школьных учителей. Но Кавамото не испытывал никакой горечи: он безропотно продолжал участвовать в основанном им самим движении в роли добровольного помощника. Впоследствии это движение, получившее название «Тысячи журавлей», переросло свои первоначальные рамки и превратилось во внепартийное юношеское движение борьбы за мир.

И все же имена Итиро и Токиэ стали за это время известными не только узкому кругу людей, переживших атомный взрыв, но и многим тысячам японских граждан. Результаты этого не замедлили сказаться. В один прекрасный день в ветхий барак неподалеку от Атомного купола (памятника жертвам «пикадона»), где с недавнего времени жили Кавамото и его подруга, явился весьма странный посетитель.

«В начале марта или в конце февраля 1956 года, — вспоминает Кавамото, — к нам пришел совершенно незнакомый человек, не предупредив о своем визите заранее. Скоро я заметил, что он знал многих наших друзей. Незнакомцу было лет тридцать пять, это был приземистый человек с большими круглыми глазами и темным цветом кожи. «Асагуро-си» («темнокожий господин»), как мы с Токиэ его прозвали, держался чрезвычайно вежливо, даже льстиво, он всячески пытался доказать, что питает к нам самые дружеские чувства.

Наконец я спросил его в упор:

— Что вам, собственно говоря, от нас нужно?

— Мне хотелось бы узнать, что представляет собой движение за мир...

— Кто вы такой? И кто вас к нам послал?

В ответ незнакомец назвал какое-то имя и еще раз заверил, что хочет стать нашим другом. Уходя, он оставил нам подарок — пакетик конфет.

Дня через четыре гость появился снова. На этот раз он заговорил прямо:

— Я служу в полиции, и мне сказали, что вы являетесь пламенным сторонником движения за мир. Не расскажите ли вы мне что-нибудь об этом движении?

— Зря вы меня выспрашиваете! Думаю, что вы и сами очень много знаете о движении за мир.

— Представьте себе, я о нем почти ничего не знаю.

— Тогда приходите на наши митинги и демонстрации. Ведь от атомной бомбы погибло немало полицейских!

Отправляясь восвояси, он снова хотел оставить нам коробку конфет. Но на этот раз мы не приняли его подарка.

С тех пор странный гость повадился ходить к нам очень часто. Он был всегда вкрадчиво вежлив и почтителен. Говорил он на диалекте жителей Хиросимы. Больше всего интересовали его листовки и брошюры, которые лежали у нас повсюду. Он просто-таки жаждал их заполучить.

— Подарите мне, пожалуйста, эту листовку, — просил он.

— Но ведь она распространяется открыто!

Токи-тян и я предполагали, что листовки и брошюры он приносит своему начальству, чтобы доказать, как успешно продвигается его «работа» с нами. Наш гость пытался также разузнать имена членов совета борьбы против атомной и водородной бомб и имена руководителей профсоюза учителей. Он хотел выяснить, что мы говорим на своих собраниях и кто их проводит. Но он так ничего и не вытянул из нас.

Наконец «темнокожий господин» явился с «деловым» предложением: он-де видит, как нам тяжело живется, и решил нам помочь. Как бы мы отнеслись к перспективе получить хорошо оплачиваемое место? Он мог бы рекомендовать нас кое-каким людям. Например, устроить в префектуру, в отдел, ведающий воспитательной работой, или же подыскать нам какую-нибудь другую должность в государственном учреждении.

Но он напал не на таких людей...

До начала 1957 года во всем мире были собраны многие миллионы подписей под требованием прекратить испытания ядерного оружия. В одной только Японии число подписей достигло 33 миллионов. Особенно активно включились в эту кампанию жители Хиросимы. Миллион мужчин и женщин — люди всех направлений от крайне правых до крайне левых, — весьма редко приходившие к соглашению, на этот раз заняли единую позицию. Партийные раздоры смолкли: граждане Хиросимы лучше, чем кто бы то ни было на земном шаре, знали, чем грозит атомная война.

В плохую погоду газеты теперь регулярно сообщали, как высока радиоактивность осадков, и настоятельно рекомендовали не пить дождевую воду. Почти никто из японцев не решался выходить в сырую погоду на улицу без головного убора, ибо распространился слух — основывавшийся, впрочем, лишь на воспоминаниях жертв «пикадона», — будто «горячий дождь» вызывает выпадение волос. Даже рис — национальное блюдо японцев — жители Хиросимы не осмеливались употреблять в больших количествах, так как японские профессора обнаружили в нем повышенное содержание стронция-90, вызывающего рак костных тканей.

В начале 1957 года, когда англичане сообщили, что и они намерены провести испытания водородной бомбы в Тихом океане, по всей Японии прокатилась мощная волна протестов. Надо сказать, что в свое время, в период испытаний американского ядерного оружия, некоторые проамериканские элементы в Японии воздержались от демонстраций протеста. Теперь же появился противник, против которого поднял голос весь японский народ.

Поскольку сборы подписей, массовые манифестации и сидячие забастовки у иностранных посольств не производили желаемого впечатления на великие державы, японские сторонники мира выдвинули новый проект: они решили послать в запретную зону, где Великобритания предполагала испытывать свою водородную бомбу, корабль протеста. Этот проект встретил самое горячее сочувствие.

Правда, официальные лица тотчас же выступили против такого намерения, называя его «излишне крайним»,

особенно после того, как англичане заявили, что никакое «вторжение» в запретную зону не помешает им провести намеченное мероприятие. Однако у японской общественности проект вызвал всеобщее одобрение.

С той минуты, как впервые возникла идея послать в Тихий океан судно протеста, Кавамото ходил сам не свой. Даже товарищи по работе, прокладывавшие вместе с Итиро шоссе, — и те заметили, что с ним творится что-то неладное. Они посмеивались над Кавамото, считая его влюбленным по уши. Ведь Итиро сам рассказал им, что собирается сыграть свадьбу самое позднее на пасху.

На самом деле голова Кавамото была занята отнюдь не женитьбой.

«Я все время размышлял тогда, — вспоминает Итиро, — сколько добровольцев уже записалось на корабль протеста и как мне признаться Токи-тян в своем намерении. Что скажет Токиэ, если узнает, что я хочу отправиться в Тихий океан? И как отнесутся к этому все те люди, которых мы уже пригласили на свадьбу?»

Как-то вечером Кавамото завел разговор на волновавшую его тему. Он разъяснил Токи-тян все доводы «за» и «против» посылки корабля протеста. Лишь об одном умолчал он — о своем желании отправиться в запретную зону на этом самом корабле.

Он пишет:

«Я не осмеливался смотреть Токиэ в глаза. Теперь она и впрямь будет считать меня человеком ненадежным. Сперва я уговорил ее отложить свадьбу, потому что нам, мол, надо позаботиться о чужих детях; потом фигурировали «причины финансового характера», а сейчас, когда мы уже твердо решили вступить в брак, я придумал новую отговорку».

Но Токиэ, по-видимому, уже давно догадывалась о намерениях Итиро.

Отложив в сторону газету, она спросила:

— Итиро-сан, скажи, как бы ты поступил, если бы тебе не приходилось считаться со мной?

— Я бы... по правде говоря... как бы это получше выразить... думаю, если говорить начистоту... одним словом, с сегодняшнего дня я размышляю о том, не следует ли мне записаться на корабль.

— Мне кажется, ты задумал это уже довольно давно.

— Да... Правда... Конечно... — признался Итиро, запынаясь. — Но, Токиэ, я хочу поехать один. Пожалуйста, ста, забудь меня. Я просто неисправимый дурак.

— Ага, вот почему ты сегодня наконец-то заговорил со мной: ты решил сообщить мне, что намерен поехать один на корабле протеста.

— ...Да, ты права.

— А что станет со мной?

— Ты должна выйти замуж за другого человека, за человека, который будет считаться с тобой больше, чем я.

Токиэ опустила голову. («Даже при тусклом освещении в нашей комнате, — рассказывает Кавамото, — я заметил, что ее глаза блестят»).

Минуты через две-три она сказала:

— А почему ты, собственно говоря, не спросил меня, не записаться ли нам вместе на это судно?

— Чепуха! Я один-одинешенек. А у тебя есть мать и сестра...

— Значит, ты не любишь меня по-настоящему. Мать и сестра все поймут. Пожалуйста, позволь мне поехать с тобой.

— Нет-нет, исключено, ты не имеешь права. Токи-тян, ведь это даже хуже, чем война. Ты не представляешь, что с нами может случиться.

— И все же... я представляю. В 1945 году я была здесь. Разве ты уже забыл, что я выросла в Хиросиме?

Где-то наверху возились крысы, лампа отбрасывала дрожащие блики на стены комнаты. Токиэ показала Итиро газету, где было сказано, что писатель Эйти Ивата, пятидесяти одного года, выразил желание отправиться на корабле протеста. Он заявил: «Я делаю это не из «токко сэйсин», не из «воинственного духа», и не потому, что я коммунист. Я считая себя одиночкой, работающим на благо мира».

— Видишь, — сказала Токиэ, — на корабль записываются даже те люди, которые знают о трагедии Хиросимы только понаслышке или из газет. А ведь атомная бомба лишила меня отца. Неужели же я должна сидеть сложа руки? Ведь я дочь жертвы ядерного оружия.

Неожиданно Итиро оборвал спор и сказал:

— Хорошо. Давай вместе писать заявление. Протяни мне свою руку.

А затем он вдруг размахнулся, сделав вид, будто хочет ударить Токи-тян по руке, спокойно лежавшей на бумаге. Токи-тян мгновенно отдернула руку.

— Видишь! Каждый человек инстинктивно стремится избежать боли. А на нас, возможно, будет литься кипящая вода и сыпаться раскаленный песок. Корабль перевернется килем вверх... Ты все еще хочешь ехать вместе со мной?

Токиэ промолчала. Она молчала целую нескончаемо долгую минуту, а потом сказала очень твердо:

— Хочу! Непременно хочу! И вовсе не из желания настоять на своем. Наше предприятие, возможно, покажется кое-кому безумным. Но что иное нам остается делать? Хорошо, если бы люди во всем мире осознали, что мы находимся в здравом рассудке и твердой памяти. Почему жертвы, которые приносятся во время войны, кажутся вполне естественными, а когда речь заходит о том, чтобы совершить из ряда вон выходящий поступок во имя предотвращения войны, то все сразу же приходят в панику. Они, видите ли, не хотят быть смешными и боятся прослыть фанатиками. Ах, уж эти мне чувствительные души! Если бы они только захотели взять на себя сегодня хотя бы тысячную долю того, что им, возможно, предстоит пережить завтра!

ЭПИЛОГ

НАША ХИРОСИМА

1

Восьмого августа 1945 года доктор Хатия через окна третьего этажа больницы почтовых служащих в Хиросиме мог окинуть взором весь город, буквально сравненный с землей: вдали виднелся даже берег моря. А теперь в эти окна вновь вставлены двойные рамы. Повсюду, куда ни посмотришь, взгляд упирается в каменные стены. Это фасады недавно построенных домов с бесчисленными рядами окон. Кое-где зеленеют чахлые деревца, небо снова разделено на квадраты сетью проводов. Кулисы опять установлены, город отстроен заново.

Цены на земельные участки в «обиталище смерти» растут из года в год. Спекулянты процветают. В «сити» уже сносятся некоторые здания, заложенные вскоре после «пикадона». На их месте предполагается воздвигнуть четырехэтажные «билдингс». Земля в Хиросиме очень дорога, одноэтажные постройки считаются нерентабельными.

В Камия-тё, где некогда профессор Нагаока, окруженный великим безмолвием атомной пустыни, пек на костре сладкий картофель, сейчас построена большая автобусная станция. Ежедневно здесь курсируют более восьмисот автобусов, которые перевозят многие тысячи пассажиров. С утра до вечера улицы города топчет бесчисленное множество ботинок и деревянных сандалий, регулировщики гонят их через широкие мостовые то туда, то сюда. В Хиросиме все торопятся. Семьсот такси определяют темп уличного движения — это темп большо-

го города. За несколько последних лет число автомобилей в Хиросиме увеличилось в три раза.

Спустя четырнадцать лет после атомной катастрофы газета «Тюгоку симбун» подвела некоторые итоги: «В Хиросиме сейчас больше домов, чем перед «пикадоном». До 1945 года их было 76 300, а теперь около 90 тысяч. Жизненный уровень населения превзошел наивысший уровень, достигнутый им в годы войны. С 1956 года доходы граждан Хиросимы стали выше, чем в других городах Японии. Само собой разумеется, оснащённость стиральными машинами и телевизорами в Хиросиме больше, чем где бы то ни было в Японии...»

«Само собой разумеется...» — пишет газета. А как она гордится тем, что в «новой Хиросиме» улиц больше и они шире, чем в других японских городах. Даже парки стали объектами локально-патриотической гордости граждан. Считается, что на каждого жителя Хиросимы приходится в пять раз больше площадей парков, чем в Токио. Однако статистика умалчивает о том, что большинство хиросимских парков из-за недостаточного ухода сильно смахивают на громадные мусорные свалки, а на хвалёных улицах на каждом шагу натыкаешься на зияющие бреши, — коренные жители называют их «могилками Хиросимы».

После многолетних проволочек, обусловленных недостатком средств, наконец-то воздвигнуты гладкосерые, мертвенно-холодные помпезные сооружения в Парке мира. В атомном музее — длинной стеклянной коробке, поставленной на тонкие ножки, — профессор Нагаока, директор музея, охраняет законсервированные в витринах ужасы. Обгоревшие клочья одежды и черепки представлены здесь на всеобщее обозрение, подобно древним реликвиям из усыпальниц египетских фараонов. В том же музее открыта постоянная выставка изделий местной промышленности, на редкость казенная. За стеклом красуются резиновые изделия, консервы, текстильные товары, различные порошки для борьбы с насекомыми, деревянные игрушки. В целом, однако, экономический облик Хиросимы сейчас, так же как и до атомного взрыва, определяют три крупнейших предприятия: верфь Мицубиси, завод транспортного машиностроения «Тоё когё» и сталелитейный завод «Ниппон». Об этих предприятиях «Джапан таймс» сообщала 6 авгу-

ста 1958 года, что они «полностью обновили все свое оборудование и расширили производственные мощности главным образом с учетом новых заказов на производство оружия. Сейчас здесь переделывают американские орудия применительно к небольшому росту японских солдат. По ежемесячному выпуску оружия Хиросима стоит сейчас на втором месте в Японии...»

2

Многие жители Хиросимы могут сказать о себе, что у них «тепленькие карманы» от только что заработанных денег. Почти каждый вечер ярко вспыхивают бесчисленные юпитеры над новым бейсбольным стадионом, построенным в форме многоугольника. Даже при ночных играх билеты почти всегда бывают распроданы. В Хиросиме сейчас пятьдесят один кинотеатр. Это город со второй по величине киносетью в Японии.

Самые рьяные поклонники новой Хиросимы нередко спрашивают: «А не подвести ли нам черту под прошлым? Не попытаться ли изгладить из памяти «тот день»?» Эти люди с радостью уничтожили бы даже символ «пикадона» — голый остов Атомного купола (кстати сказать, этот памятник до сих пор не находится под охраной государства). По их мнению, вид атомных развалин понапрасну наводит на грустные мысли новых граждан Хиросимы — энергичных дельцов, с оптимизмом взирающих в будущее.

Но именно в Хиросиме такое «разрушение разрушенного» вряд ли успокоило бы людей. Во всем мире «поборники забвения», втихомолку строящие свои расчеты на планах новой войны, наверное, уже могут вести себя так, словно последняя война стала достоянием истории. Но здесь, в Хиросиме, прошлое еще слишком свежо, о нем беспрестанно напоминают все новые и новые вспышки лучевой болезни, напоминают люди, казалось, уже помилованные смертью, но через много лет вновь брошенные в пучину страданий. Хиросима зовет к миру не потому, что слово «хэйва» (мир) стало рекламной этикеткой, которую кстати и некстати налепляют на все, на что только можно, а потому, что она дает — пусть и весьма слабое — представление о том, как будет выглядеть наша планета в случае атомной

войны. Земля в результате такой войны, может, и не превратится в совершенно безлюдную пустыню, но она станет гигантским госпиталем, миром больных и калек. Целые десятилетия, а то и столетия после последнего ядерного взрыва люди, пережившие атомную катастрофу, будут погибать от болезней, причины которых они и их потомки уже, возможно, забудут.

Не казенные и помпезные здания напоминают в Хиросиме о прошедшей войне, а люди, в крови, тканях и зародышевых клетках которых навеки выжжен знак «того дня». Они стали первыми жертвами совершенно новой войны, войны, не прекращающейся в день подписания перемирия или заключения мирного договора, «войны без конца», войны, втягивающей в свою разрушительную орбиту не только настоящее, но и будущее.

3

Каждый человек, поживший некоторое время в Хиросиме, рано или поздно почувствует на себе леденящий «взгляд развалин». За белыми фасадами новых «билдингс» он вдруг явственно увидит погнутые железные прутья, а за сверкающими неоновыми лампами — кучу битого стекла и проводов; ему внезапно покажется, что свежая зелень деревьев засохла, а широкие улицы засыпаны щебнем и пеплом. Шум, поднятый патриотами новой Хиросимы, хвастающимися ее успехами, не может заглушить ужас и боль в сердцах людей. Повседневная жизнь города отравлена страхом и страданиями.

Не проходит дня, чтобы газеты не сообщили о какой-нибудь новой атомной трагедии. Правда, течение их уже заранее известно, и каждая новая жертва не возбуждает особого внимания. Но так бывает не всегда. Какой-нибудь особо ужасный случай вдруг потрясает даже самых равнодушных. Так произошло, в частности, когда стала известной трагедия тринадцатилетнего школьника Кэндзи Кадзиямо. Его мать 7 августа 1945 года, на следующий день после атомной катастрофы, покинула райски красивый уголок — остров Тоёсима, славящийся своими апельсиновыми рощами, — чтобы узнать, что случилось с ее теткой в Хиросиме. Роясь в развалинах, она, видимо, получила не очень высокую, но все же вредо-

носную для своего будущего ребенка (она была беременна на пятом месяце) дозу радиоактивности.

Четыре месяца спустя эта женщина родила здорового ребенка, а через тринадцать лет Кэндзи стал жертвой катастрофы, разыгравшейся до его рождения.

В последние годы значительно увеличилось число заболеваний людей, приехавших в Хиросиму уже после атомной бомбардировки. Однако эти поздние заболевания являются не единственной загадкой, которую атомный взрыв преподнес японским врачам. На съезде японских специалистов, состоявшемся в Хиросиме в середине июня 1959 года и посвященном последствиям радиоактивного облучения, доктор Масанори Накаидзуми из Токийского университета предупредил, что люди, пережившие атомную катастрофу, должны быть готовы к новой волне «до сих пор еще неизвестных заболеваний». В частности, он указал, что у жертв атомной бомбы резко подскочила кверху кривая опухолей (доброкачественных и злокачественных).

Только сейчас начали обнаруживаться в полной мере «вторичные» последствия радиации — нарушения деятельности головного мозга, сердца, органов дыхания и кровообращения и, наконец, преждевременное физическое и умственное одряхление. Большой статистический материал представил съезду доктор Гэнсаку Охо, практиковавший с 1938 года в Хиросиме. Почти все свое состояние этот врач потратил на изучение последствий атомной бомбардировки для здоровья людей. Изучив с помощью студентов все случаи рака со смертельным исходом с 1951 по 1958 год, Охо пришел к выводу, что число жертв этой болезни в Хиросиме значительно выше, чем в остальной Японии *.

Несмотря на то что число случаев лучевой болезни не уменьшается, а возрастает, в первый год после принятия закона о бесплатном лечении жертв «пикадона» в клиники, как ни удивительно, явились всего лишь двадцать три тысячи человек, то есть меньше одной трети всех больных. Чем это объяснялось? Этой

* В течение 1951—1958 годов в Хиросиме умирали от рака в среднем на каждые 100 тысяч мужчин 109,2 и на каждые 100 тысяч женщин — 89,6, в то время как на остальной территории Японии цифра смертности для мужчин составляла 90,9, а для женщин — 77,2 на 100 тысяч человек.

проблемой занялся доктор психологии Хиросимского университета Кубо. Опросив несколько сот человек, Кубо установил, что большинство больных лучевой болезнью не являлись на осмотры, считая, что им все равно уже нельзя ничем помочь. По их мнению, не имело смысла тратить время на бесполезное лечение. Для многих больных решающим являлись также соображения финансового порядка: большинство жертв «пикадона» не могли позволить себе роскошь лежать в клинике И подвергаться обследованиям, зная, что их семьи терпят жестокую нужду. Таким образом, как раз те люди, которые особенно нуждались в лечении, практически не были охвачены им.

4

Однако и в такой ситуации находились люди, считавшиеся больше с подлинными требованиями гуманности, нежели с буквой закона. Эти люди по-настоящему заботились о больных и тем самым показывали пример официальным инстанциям, которые вынуждены были в конце концов вплотную заняться «атомными париями». В настоящее время в Хиросиме существует более десятка всевозможных организаций, оказывающих помощь больным лучевой болезнью и их семьям. И все же страх этих организаций перед тем, как бы их не использовали несколько симулянтов, иногда берет верх над их готовностью помочь жертвам атомной бомбы. Кроме того, путь к получению пособий связан со столькими мытарствами, что зачастую бедняки так и не решаются вступить на него.

До сих пор никто еще не осмеливался решить, так сказать, коренным образом, вопрос о людях, переживших атомный взрыв. Несмотря на «просперити», у властей Хиросимы все еще недостает средств, чтобы переселить больных лучевой болезнью из трущоб в современные благоустроенные кварталы.

В одной из таких трущоб, в ветхом «бараку», и по сию пору живут Итиро и Токиэ. Корабль, на котором они собирались в 1957 году отплыть к острову Рождества в знак протеста против гонки ядерного вооружения, так и не вышел в океан. В последнюю минуту руководители японского движения против испытания ядерного

оружия побоялись подвергнуть атомной смерти горстку своих сторонников.

Итиро Кавамото и Токиэ Уэмацу, как они и намечали, поженились в пасхальное воскресенье 1957 года. По их словам, у них была веселая свадьба, в которой приняли участие многие друзья жениха, надевшего ради торжества свою единственную обувь — старые спортивные тапочки.

«А когда гости разошлись и мы остались одни, — вспоминает Кавамото, — я взял Токиэ за руку и мы вновь повторили нашу клятву: никогда не иметь детей. Нам было трудно решиться на это, но что поделаешь?»

Основная цель, которую по-прежнему ставят себе Итиро и Токиэ, — помогать людям, лишенным поддержки общества.

— Мы пришли к убеждению, — говорит Токиэ, — что бесчеловечность начинается с того, что общество с неуважением и пренебрежением относится к нуждам одиночек. Атомное оружие — конечный результат равнодушия к каждому человеку в отдельности, к его неповторимой индивидуальности и судьбе. Мы обязаны протестовать против гонки вооружений. Но это еще не все. Надо попытаться — пусть постепенно — изменить отношения между людьми. Если бы не «пикадон», я стала бы, наверное, посредственной учительницей танцев. Но никогда я, быть может, не почувствовала бы, как человек нуждается в участии себе подобных, как люди связаны между собой.

С некоторого времени в числе подопечных Итиро и Токиэ, среди их приемных «детей», находится также Кадзуо М. Мой помощник Каору Огура ознакомил Кавамото с письмами этого преступника; ни слова не говоря, Итиро немедленно взял под свое покровительство необычную жертву атомной катастрофы. Он начал писать письма одинокому юноше, посещал его вместе с Огура в тюрьме, приносил ему книги. Но этим Кавамото не ограничился: теперь он заботится и о семье М., которую со времени процесса над Кадзуо все избегают.

Недавно Кадзуо написал мне:

«Я выучил азбуку для слепых. Если меня амнистируют, я хочу работать в типографии. Кавамото-сан поможет мне устроиться, когда я снова окажусь за стенами тюрьмы».

И это пишет тот самый человек, который в августе 1945 года «расправился» со своей хрестоматией, решив, что слова — одна сплошная ложь. С тех пор слова помогли Кадзуо понять самого себя, подарили ему дружбу незнакомых людей и, наконец, вновь вдохнули в него мужество.

5

Работа над этой книгой дала возможность автору познакомиться читателя с двумя главными персонажами его записей. Но это еще не все. Автор признает, что его усилия понять послевоенную историю Хиросимы и рассказать о ней во всеуслышание придали его жизни новый смысл.

Явившись в Хиросиму с обычным журналистским заданием, я задумал написать как можно более интересную историю чужого города. Но, чем больше я углублялся в эту историю, тем яснее мне становилось, что я вовсе не сторонний наблюдатель событий, а один из их участников.

Ведь и я принадлежу к тем, кто «остался в живых»; по чистой случайности судьба моя сложилась так, а не иначе; я мог бы погибнуть в одном из лагерей массового уничтожения в гитлеровском рейхе. Очутившись на противоположном конце света, в Восточной Азии, я искал ответа на вопрос, поставленный самой жизнью.

Вопрос этот гласит:

Что сделали мы, люди, пережившие вторую мировую войну, для того чтобы оправдать свое спасение? Долгие годы я, так же как и многие другие мои современники, совершенно бездумно воспринимал этот факт; мне казалось само собой разумеющимся, что меня пощадила судьба. В Хиросиме я познакомился с жертвами атомной бомбы. И тут я начал понимать, какое новое несчастье надвигается на человечество. С этих пор я знаю, что мы, поколение тех, кому «и на этот раз удалось избежать объятий костлявой», должны приложить все силы, для того чтобы спасение наших детей не было такой же чистой случайностью, как наше собственное спасение.

Пусть каждый найдет свой путь для борьбы за сохранение жизни на земле.

И пусть он относится к этому очень серьезно.

ОГЛАВЛЕНИЕ

От Издательства	5
<i>Часть первая. Пустота и хаос (1945)</i>	9
Книга	9
Атомная пустыня	19
После потопа	49
Сироты и гангстеры	63
Доска усопших	74
<i>Часть вторая. Начало (1946—1948)</i>	83
Мечтатель	83
Жизнь «за счет побегов бамбука»	101
«Атом-бой»	126
Девушка с палочкой	137
<i>Часть третья. Город мира (1948—1952)</i>	148
Одиночки	148
Марагума-гуми	171
Убийство	179
Шестое августа	192
Соломенные сандалии	204
<i>Часть четвертая. Оставшиеся в живых (1952—1957)</i>	213
«Замок рыбного паштета»	213
Помощники	233
Холодные сердца	250
Вдвоем против гибели	267
<i>Эпилог</i>	283
Наша Хиросима	283

Роберт Юнг
ЛУЧИ ИЗ ПЕПЛА

Художник *Ф. Л. Лейн*
Технический редактор *С. В. Приданцева*
Корректор *Е. А. Цыпенюк*

Сдано в производство 13/1—1962 г.
Подписано к печати 11/У—1962 г.
Бумага 84 X 108¹/₃₂ 4,6 бум. л.
15 печ. л. Уч.-изд. л. 14,9
Изд. № 7926 Цена 55 к. Зак. 217

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

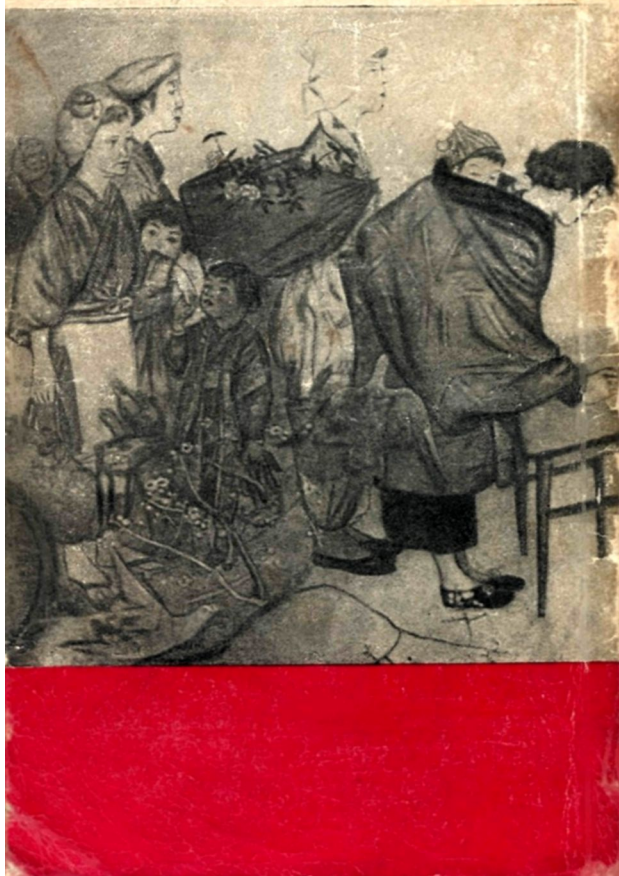
Москва, 1-й Рижский пер., 2
Производственно-издательский
комбинат ВИНТИ. Люберцы,
Октябрьский просп., 403

РОБЕРТ ЮНГ

The central illustration is a dark, monochromatic drawing in a style reminiscent of ancient cave art or primitive art. It depicts a complex scene with several figures. On the left, a large, stylized face with prominent, branching features resembling roots or tentacles is visible. In the center and right, there are more human-like figures, some appearing to be in a state of distress or conflict. The overall atmosphere is somber and mysterious. The text 'ЛУЧИ ИЗ ПЕПЛА' is superimposed over this illustration in large, bold, black letters.

**ЛУЧИ
ИЗ
ПЕПЛА**

55 коп.



На обложке воспроизведены фрагменты из серии панно «Хиросима», созданной японскими художниками Ири и Тосико Маруки и удостоенной в 1953 году Международной премии мира.

«Так и лежат они беспорядочными грудями... погибшие юноши и девушки и совсем еще дети», — гласит авторский комментарий к панно, из которого взят первый фрагмент.

Тема панно, из которого заимствован второй фрагмент, — сбор подписей под Воззванием за запрещение атомного оружия.